Виталий Вольф
Одна отдельно счастливая жизнь
РЕДАКЦИЯ ЕЛЕНЫ ШУБИНОЙ
Записки художника

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Виталий Вольф (р. 1933) – живописец, график, плакатист, книжный дизайнер. Автор серии плакатов Марселя Марсо, театра Жана-Луи Барро, к фильмам “Интервенция” и “Возвращение броненосца” Геннадия Полоки, “Скверный анекдот” и многих других. В этой книге – история московского мальчика, сына врагов народа, ставшего известным художником; семья, ушедшая в революцию – и сгинувшая в ней; случайные встречи (юный художник Коля Дмитриев, Лев Кассиль, Юрий Либединский, Наталия Сац, Валентин Катаев, Илья Кабаков, Владимир Высоцкий, Николай Чиндяйкин, Слава Зайцев) и незабываемые разговоры. Одна обычная и фантастическая, отдельно взятая счастливая жизнь.

- Виталий Евгеньевич Вольф
  -
  -
  - Вместо пролога
  - Детские годы
    - Адрес регистрации
    - Первый обыск
    - Письмо из лагеря
    - История родителей
    - Бабушка и Риббентроп
    - Последнее лето перед войной
    - Матрос Петр Кошка
    - Игра в лапту, или “Враги народа”
    - 1941 год
    - На чужой печке
    - Один в городе
    - Московская паника
    - Детдом. Первая кровь
    - Наша Метростроевская
    - Кино и танцы
    - Воспитательницы
    - Рядом с Буденным
    - Песни на батареях
    - Пирожки и сырники
    - В детской больнице
    - Загадочный санаторий
    - По соседству с крематорием
    - 9 мая. Victoria!

- Будни военных лет
- СССР или ПНР?
- Парад Победы

- Постижение азов
  - Нехорошая квартира
  - Чудеса на экзаменах
  - Приключения на берегах Оки
  - Плотников переулок, дом 10
  - Мистические совпадения
  - Ресторан “Кама”
  - Алиса Коонен
  - Отмените визу!
  - Розы для Сталина
  - Рядом с Дзержинским
  - Диалоги на Лубянке
  - Белеет парус
  - Человек искусства
  - В гостях у Льва Кассиля
  - Володя и Ванда
  - Речка Воря
  - Плещееве» озеро
  - Гоголь и декаденты
  - Могила Гайдара
  - На Арбате
  - Судьба антиквара
  - Последняя капля
  - Сумерки богов
  - Берия и его шоу
  - Загадка Аллилуевой
  - Кратово и Переделкино
  - “Проклятый” Троцкий
  - Год у станка
  - Почему растет трава?
- В горах Закавказья
  - Армейская одиссея
  - Страсти в предбаннике
  - Художник и Муза
  - Под маской стайера
  - Памяти Вячеслава Забелина
  - Полковник Брызгалов
  - Скорпионы и фаланги
  - Арменикенд, или Ночь в старом Баку
- Профессия – художник
  - В гостях у Юрия Либединского

- После армии, или Новые времена
- Концертомания
- Гордость и предубеждения
- Такси в “Асторию”
- Легендарная “Промграфика”
- Земля обетованная
- Улыбка Гагарина
- Советский Монмартр
- Неповторимые застолья эпохи застоя
- Три плаката для Марселя Марсо
- Деньги Пикассо
- Пол Скофилд и Миша Козаков
- После вернисажа – в кутузку
- “Масленица” и большой советский бизнес
- Дом моделей, пятый этаж
- Омские встречи
- Встречи с Наталией Сац
- Юрий Завадский и Театр им. Моссовета
- Ночная беседа
- Кондрашин, Рихтер и Володя Мороз
- Польские курьезы
- Сюжет для Михаила Шатрова
- Байки, услышанные в ожидании плова
- У нас на Остоженке
- Диверсанты поневоле
- Наказание для доктора Спока
- Любите ли вы Бергмана?
- О Володе Высоцком
- Командировка-триллер
- Поль Сезанн против Абрау-Дюрсо
- Ралли по Ставрополью
- Потери и находки. Семидесятые годы
- За туманом далекой Онеги
- VIP-круиз по-советски

○ Новые времена

- Злобик, Дробик и кот Пельмень
- Первый визит в Зальцбург
- Вторая встреча с Австрией
- Римма Казакова
- Трудно быть Виктором Попковым
- Приключения на Лазурном берегу
- Лихие девяностые
- Роман с онкологией
- Скромное обаяние юбилеев

- Серебряный Бор
- Иллюстрации

Виталий Евгеньевич Вольф
Одна отдельно счастливая жизнь. Записки художника

© Вольф В.Е., 2017.
© Бондаренко А.Л., художественное оформление, 2017.
© ООО “Издательство АСТ”, 2017.

* * *

Тане

Вместо пролога

Сегодня 1 февраля 2014 года, очередной день рождения. Сегодня мне исполняется – страшно сказать! – 81 год. Никогда не собирался доживать до таких лет, но на все воля Божья. Месяца полтора назад я выписался из отделения нейрохирургии больницы № 19.

Ждал улучшения, но оно все не наступает, и теперь вынужден проводить время в положении “полулежа”, как некогда Николай Островский.

Зная, что трудно сидеть без дела, добрые люди посоветовали занять себя писанием мемуаров, тем более что ничем другим в моем положении не займешься…

Утешаю себя тем, что если что-то вспомню, может быть, кого-нибудь и развлеку своей писаниной. Смешного в жизни было много, только вот никогда ничего не записывал, дневников не вел.

Но – попробую!

Детские годы
1933–1945

Адрес регистрации

Трудно найти в Москве более странный и унылый двор, чем двор дома № 15 по Мясницкой улице. Узкий каменный колодец глубиной в 7 этажей, куда даже летом редко заглядывает солнце. В свое время это был доходный дом, принадлежавший семье фарфорозаводчика Кузнецова. В советское время дом был известен из-за двух магазинов: слева – “Инструменты”, справа – “Динамо”, у входа в который стоял на задних лапах громадный и пыльный бурый медведь с синей буквой “Д” на груди и теннисной ракеткой в черных когтистых лапах.

В этом доме до 1917 года снимали квартиры состоятельные москвичи: врачи, инженеры, профессора, чиновники. На лестницах – ковры, в огромных лифтах – зеркала, карельская береза, дуб, красное дерево. Вся техника, ванны, туалеты – от компании “Мюр и Мерилиз”. Все это великолепие венчал помпезный фасад в духе русского модерна: стильные кариатиды, скульптура геральдического льва со щитом. Бабушка жила в доме с 1917 года, в комнате с окнами на улицу Кирова.

В одной из коммунальных квартир этого мрачного дома (от былого величия которого оставался только фасад) холодной зимней ночью 1 февраля 1933 года мне суждено было родиться и прожить все свое детство.

Первый обыск

Первое четко сохранившееся воспоминание детства – обыск у нас в комнате и арест матери 17 ноября 1937 года. Проснувшись среди ночи и выглянув из-за огромного славянского шкафа, которым была отгорожена моя детская от остальной комнаты, я увидел нечто настолько странное, что буквально оцепенел на некоторое время. Я отчетливо помню, как довольно долго внимательно и молча разглядывал происходящее. Посреди комнаты, под светом большого оранжевого абажура, на полу были свалены в кучу книги, журналы, газеты, которые всегда лежали на полках, теперь совсем пустых. Слева на стуле сидел какой-то незнакомый человек в фуражке и очках; еще один был виден из-за горы бумаг, он что-то внимательно читал. Лицо было в тени, и мне хотелось, помню, получше его разглядеть, но не получалось. Сзади стоял наш дворник дядя Левон, которого я узнал сразу по белому фартуку и большой бороде. Мама сидела на диване, на том же самом месте, где перед сном читала мне большую зеленую книгу “Доктор Айболит”, в которой была буря на море и собака Авва кричала всем: “Спасайся кто может!”

Мама сидела согнувшись, застыв, обхватив себя руками, глядя как бы в одну точку мокрыми глазами; из глаз сами по себе текли слезы. Мне, помню, показалось, что она ничего не видит.

Вдруг человек в фуражке, который сидел напротив меня, поднял голову и стал смотреть прямо на меня. Я еще не понимал, что происходит, и не испугался. Я тоже его рассматривал: худое лицо, почерневшее какое-то, болезненное, – мне стало даже жалко этого человека. Но все-таки не так, конечно, как маму. Человек сказал что-то дворнику, и тот боком, осторожно прошел вдоль стены ко мне, завернул меня в одеяло и понес в маленькую комнату бабушки, соседнюю по коридору. Бабушка лежала, закрыв глаза, рядом сидела соседка, тетя Катя, чем-то противно пахло.

Меня куда-то уложили, и я, видимо, снова заснул, так как очнулся в темноте. Мама держала меня на руках, а в светлом пространстве двери стояли два темных силуэта в фуражках. Только тут я ощутил, что происходит что-то очень, очень плохое. Стало страшно, нахлынул какой-то ужас. И конечно, слезы, слезы. Помню, мама стала меня весело и громко спрашивать: “Скажи, что тебе привезти – велосипед, мишку, паровоз?” Я видел, что она изо всех сил старается держаться и казаться спокойной, хотя на самом деле ей, видимо, очень плохо и ее трясет. Чтобы поддержать ее игру, я стал просить маму: “Привези велосипед,

велосипед!” И тут раздался голос: “Всё, хватит! Идите!” – и она пошла по коридору, а за ней, как-то тяжело и понуро, эти двое в фуражках и дворник с огромным мешком на спине. Несмотря на охвативший меня ужас, я помню свое впечатление, что всем участникам этой сцены было тяжело и неприятно. И две темные фигуры в фуражках сами были подневольные. И всё происходящее – какой-то бессмысленный, никому не нужный ужас. Что было дальше – не знаю. Кажется, жил с бабушкой в ее каморке. Все это время наша комната была опечатана, а потом приехали и заняли ее муж и жена с девочкой. И соседи говорили шепотом про них: “НКВД, НКВД”. И боязливо оглядывались.

Письмо из лагеря

После тяжелых и ярких в своей отчетливости воспоминаний об обыске и уводе матери в памяти – долгий черный провал. Абсолютно ничего не помню, как будто я умер на какое-то время. Может быть, почти так и было на самом деле. Я остался с бабушкой в ее комнатке (9,5 кв. м) – совершенно пустой, без шкафов, без книг, без занавесок. На окне – кастрюли, на шнурке – лампочка без абажура. Помню только постоянно говорящий черный круглый репродуктор. Возможно, я даже не выходил во двор гулять, но что делал – не помню. Игрушек ведь тогда не было, книжек – тоже. Бабушке было под семьдесят лет, она после ареста мамы почти не вставала с постели. Никто к нам не приходил – видимо, боялись. Зато помню, как уже летом, в жаркий день, получили от мамы первое письмо из ее лагеря. Помню, как бабушка плакала все время и повторяла: “Она жива! Она жива! Твоя мама не умерла, она жива!” После этого письма бабушка чуть-чуть ожила, стала выходить из дома и брала меня с собой. Мы сразу же пошли на почтамт, который был рядом, и там, во дворе, долго стояли в очереди, чтобы купить ящик для посылки в лагерь. После этого я, кажется, стал понемногу выходить гулять в наш двор, но никаких воспоминаний об этом времени не осталось. Помню только, что с этого лета у нас в комнате постоянно стояли ящики для посылок и постоянно бабушка ломала голову над тем, где купить что-то для посылки. Помню, как подолгу стояли в очередях во дворе Почтамта. Это был особый, страшный мир отверженных, несчастных людей, обреченно и молчаливо стоявших в этом темном, узком дворе под черной табличкой “Прием посылок”.

Сейчас трудно вспомнить, как часто мы посылали эти фанерные послания с адресом “Коми АССР, г. Ухта”, как часто (или вернее – как редко) получали “оттуда” карандашом написанные письма. С началом войны и эта ниточка оборвалась.

История родителей

Отец – Фокин Евгений Лаврентьевич. Родился 20.01.1897 в городе Коврове Ивановской области. С пятнадцати лет работал слесарем, как и его отец.

В 1915–1917 годах был на фронтах Первой мировой войны, сначала – рядовой, затем – прапорщик.

В марте 1917-го вступил в РСДРП. Делегат I съезда РКСМ.

1917–1922 – в Красной армии. Командир полка. Потерял ногу в боях под Киевом.

В 1929–1933 годах работал ответственным секретарем газеты "Известия", где и познакомился с моей матерью, журналисткой. В апреле 1933 года, когда мне было два месяца, решением ЦК ВКП(б) направлен в Ленинград зав. отделом печати Ленинградского обкома ВКП(б). Мать не поехала, не хотела оставлять Москву и старую бабушку. Думала, что это ненадолго.

1936–1938 – организатор и первый директор Ленинградского музея В. И. Ленина.

Арестован по доносу 2 августа 1938 года, ст. 58-8, 58–10, 58–11 и ст. 182 за "Подрывную деятельность по дезорганизации книжного рынка". Осужден на 5 лет ссылки в Казахстан. 9 декабря 1941 года осужден еще на 10 лет лишения свободы "без права переписки" – т. е. расстрел. Реабилитирован в 1958-м и 1990-м.

Мать – Вольф Елена Давыдовна. Родилась в 1897 году в Варшаве (Польша). Родной язык – польский. Окончила русскую гимназию и знала язык и грамматику настолько хорошо, что, приехав в Москву в 1916 году, могла сразу же работать корректором в газете. В марте 1918-го вступила в ряды РСДРП (б). Затем все годы, до ареста в 1937-м, работала в журналистике. Последнее место работы – заведующая отделом культуры "Учительской газеты". Арестована и осуждена на 5 лет ИТЛ по постановлению "несудебного органа без вменения конкретных статей". Затем срок продлен еще на 5 лет, все тем же "несудебным органом". Вернулась в Москву в конце 1945 года в числе нескольких тысяч "польских патриотов", освобожденных из ГУЛАГа по личному распоряжению Сталина для отправки в Польскую Народную Республику и последующего использования их на руководящих постах новой власти.

Однако моя мать, единственная, отказалась уехать из СССР. Три года она добивалась при помощи бесконечных писем в ЦК ВКП(б) лично Сталину, Ворошилову и др. разрешения остаться. В итоге ей разрешили, но не ближе 101 км от Москвы. В 1949 году

она вновь была арестована и просидела полгода в Бутырке. Только в 1958 году мать была, наконец, полностью реабилитирована, избавилась от “101-го километра”, получила статус “персонального пенсионера”, партбилет и московскую прописку. До своей кончины в 1985 году состояла в Литературном обществе старых большевиков. Участвовала как автор очерков в двух изданиях “Политиздата”: “Сквозь бурю времени” и “Без них мы не победили бы”.

Бабушка и Риббентроп

Девочку звали Валя, тетю – Паня, Прасковья, дядю – Гаврил Саныч. Они стали сразу же приглашать меня к себе в гости. Было так странно приходить в свою комнату, где я так недавно жил с мамой, где еще оставались ее письменный стол, чернильный прибор с рогатым оленем, наш абажур, пустые полки для книг. Этим людям, может быть, не сказали, что раньше я здесь жил. Работали они на Лубянке, совсем рядом. Молодые и веселые, они звали меня к себе за стол, поили чаем или киселем. У них вечерами играл патефон, который я видел впервые и просил всё тетю Паню разрешить “покрутить ручку”. Здесь часто звучали имена Руслановой, Сметанкиной, Козина. Они очень любили слушать пластинки “Тучи над городом встали”, “Шар голубой”, “Будьте здоровы, живите богато”. Тетя Паня говорила особым, деревенским голосом, а когда выходила на кухню, все соседи прятались, боялись ее.

Иногда они привозили “из родных мест” грибы, яйца, картошку, самогон. Они и меня угощали, даже однажды налили в стакан чуть-чуть самогона – “попробуй, попробуй, ты ж мужик”. Но меня, к несчастью, рвало, а что такое “мужик”, я еще не знал. И все смеялись, называя свою Валю моей невестой. Мы с ней подружились, так как были абсолютно одногодки, с разницей в две недели. Из-за этой дружбы произошел смешной случай, который мог кончиться совсем плохо. (Все тексты я помню слово в слово.) 23 августа 1939 года был заключен какой-то договор с Германией. Газета “Правда” вышла с большой фотографией во весь подвал, где были Молотов, Сталин и немцы. Вернувшись со двора, я увидел бабушку с этой газетой в руках, плачущей, как бы постаревшей и беспомощной. Она сидела на неубранной кровати и говорила: “Это конец, это конец. Теперь война неизбежна, теперь войны нам не избежать”. Она еще добавила через какое-то время: “Во всем мире теперь будет война. Везде – кроме Америки!!!” Ее слова меня поразили, особенно “Америка”, о которой я услышал впервые.

Бабушка никогда не говорила ни о политике, ни о газетах, ни о войне, ни со мной, ни с кем. Ее сын, польский коммунист, сидел в тюрьме у фашистов, старшая дочь, тоже коммунистка, – в советском лагере, а средняя дочь, “известная чекистка, подпольщица, резидент Коминтерна во Франции”, пропала без вести неизвестно где. От всего этого, как я понимал, бабушка чуть свихнулась. Она наглухо замкнулась в себе и старалась ни с кем ни в квартире, ни в доме не разговаривать, кроме нашего

дворника дяди Левона. Ее утешением была только музыка, которую тогда часто передавали по радио, особенно ее любимого Шопена, в связи с победами советских пианистов на международных конкурсах. В молодости, в Варшаве, она тоже была неплохой пианисткой. У нее даже был свой “салон”, где собиралась артистическая молодежь. Она обожала русскую культуру и поэзию. Благодаря ее стараниям я в свои шесть лет умел уже читать, наизусть знал “из Лермонтова”, “из Некрасова”: “Парадный подъезд”, “Несжатую полосу” и др. Однажды читал эти стихи на утреннике в нашем дворе. Главной бабушкиной гордостью было то, что я наизусть знал “Бородино” и “Парус” Лермонтова, мог отличать по радио игру Э. Гилельса от игры Я. Флиера на слух. Она придавала этому большое значение, непонятное мне. Жили мы в страшной нищете. Бабушка получала крохотную пенсию от МОПРа. Питались мы кашей, картошкой и хлебом. Тем не менее она считала своим долгом ко всякому празднику делать дворнику и его жене хотя бы скромные подарки: открытки, конфеты. Она мне часто говорила: “Я должна сохранять свое достоинство”. А еще надо было посылать маме в лагерь посылки с чесноком, луком, мылом.

Тем более удивительна была для меня ее реакция на какой-то пакт. Я думал: “Ведь там же в правительстве такие умные люди все, вожди, все на портретах – неужели бабушка умнее их?” Короче говоря, я был в полной растерянности от услышанного.

“Теперь от войны спасется только Америка”. Я не представлял себе, где эта Америка. Но это, наверное, знал Гаврил Саныч, служивший во всемогущем НКВД. И тут же я бросился к соседке Вале, чтобы спасти ей жизнь, сообщив бабушкины слова. Валя, польщенная моим вниманием, бросается к телефону и звонит папе на работу: “Пап, давай, если будет война, уедем в Америку! Там никогда войны не будет!” Здание НКВД рядом, через двор от нас. И через десять минут Гаврил Саныч в форме и фуражке, как был, влетает в квартиру, высокий, бледный, трясущийся от страха. “Что? Где? Кто сказал? Где вы это услышали?” Валя говорит: “Витя сказал”. Он ко мне, схватил: “Кто тебе это сказал? Где ты это услышал?”, стал сильно меня трясти. “Говори, говори!” – “Да вот, утром бабушка газету читала, и мне сказала, наверное, это в газете прочитала!” – “А никому ты это не говорил?” – “Нет, никому, только Вале”. – “Ну слава Богу”. И он сел, помню, и стал отирать пот со лба. “Бабушка – дура. Так и скажи ей. Никакой войны не будет. Вообще никогда! Товарищ Сталин не допустит!” На этом дело и кончилось, но меня еще долго попрекали за глупость и не давали играть с Валей. Летом 1941-го Гаврил Саныч погиб на фронте. Я узнал об этом, когда

вернулся из эвакуации.

Последнее лето перед войной

Кроме этой, простой, в нашей коммуналке было еще четыре “интеллигентных” семьи, ничуть не пострадавших в 37-м году. “НКВД” они, по-моему, остерегались, но держались с ними очень дружески. В одной семье были зубные врачи, в другой преподаватели английского, в третьей – муж и жена из торговли, четвертую не помню: две сестры, кажется, бухгалтеры. Обычно бабушка была занята на кухне, за мной она не следила. И я до позднего вечера торчал во дворе, где шла бурная веселая жизнь. Ее устраивали две дочери дворника дяди Левона, Нина и Тоня. У них была в нашем подъезде большая квартира на первом этаже. Они выносили во двор патефон, пластинки, угощенье и ситро, которые доставлял их брат, Володя, местный оголец-мафиози, и в углу двора устраивали танцы “до упаду”. Народу собиралось много, все веселились как-то, по-моему, преувеличенно шумно. У меня была своя табуретка, я сидел возле патефона, слушал и смотрел во все глаза, как “дворничихи” – завитые, напудренные и накрашенные – флиртовали со старшими ребятами или военными из военкомата. У нас во дворе был Ростокинский военкомат, а на улице из репродукторов неслись последние новости: “Наши самолеты разбомбили Лондон” или “Наши войска в Париже”. Иногда мы не понимали: чьи “наши”? Советские, что ли?

Летом 1940 года бабушкина двоюродная сестра, тетя Женя, собрала трех девочек-безотцовщин и меня (естественно, все жертвы 37-го года) и вывезла нас на месяц в деревню. Я впервые попал на природу и совершенно обалдел от обилия солнца, неба, цветов и чистого воздуха, носился как угорелый, совсем не зная деревенских опасностей. Однажды вышел на крыльцо с куском хлеба, намазанного вареньем. Открыл было рот в предвкушении счастья, как на мое варенье села пчела, и я откусил кусок вместе с ней. Рев стоял на всю деревню! Язык распух, рот не закрывался, я ревел, а три девицы дружно надо мной смеялись, пока меня везли все вместе на телеге в больницу. Хорошее было лето!

Матрос Петр Кошка

Письма от мамы приходили очень редко. Я часто раздумывал, что такое “лагерь”, и не мог его себе представить. Бабушка твердила, что это просто далекая командировка. Но я помнил, как мы стояли у окошка НКВД в огромной очереди, чтобы передать маме посылку, и там шептались о лагерях, об арестах. Во дворе у нас тоже были дети “врагов народа”, у которых кто-то “сидел в лагерях”. Но об этом вслух никто не говорил, тем более со мной.

Почему у одних были мамы и папы, а у других нет – никто не хотел объяснить. Говорили просто: “тебе, Петр Кошка, не повезло”. (Я забыл сказать, что перед войной у меня было во дворе прозвище Петр Кошка, из-за того что я когда-то носил морскую бескозырку.) От того, что “не повезло”, я страдал только ночью, а днем весело носился, как все.

В сентябре 1940 года я пошел в первый класс 286 школы на улице Мархлевского. Эта улица шла параллельно улице Кирова к Сретенским воротам. На ней находились два польских костела. В одном из них, Святого Людовика, бабушка меня тайно крестила. А возле второго, ближе к бульвару, я чуть не погиб, когда в июле 1941-го собирал металлом в составе тимуровской команды Дворца пионеров. Прямо в этот костел, пробив крышу, угодила фугасная бомба и внутри взорвалась. Это было днем, даже тревогу не объявляли. Впоследствии на обломках костела построили дворец “Трудовые резервы”.

Я очень мечтал пойти в первый класс, но оказалось скучно: я всё уже знал, и чтение, и арифметику, и потому часто спал на уроках. В мае 1941 года мне за итоги года вручили книжку “Первый удар” в красивом переплете (из серии “Библиотека приключений”). Автор – Ник. Шпанов. Там увлекательно рассказывалось о будущей войне, как советские летчики и танкисты быстро, за две недели, побеждают Германию. Я прочел и очень удивился: ведь по радио я каждый день слышал, что Германия – наш друг и союзник. Видимо, кто-то ошибся с подарком.

Совсем незадолго до этого я принес из школы новые тетради, которые нам выдали перед летними каникулами 1941 года. На задней обложке тетрадей была карта Польши. Но слова “Польша” там не было, вместо него было написано: слева – “зона государственных интересов Германии”, справа – “зона государственных интересов СССР”, а посередине – условная, из точек и тире, линия раздела. Когда бабушка увидела эти карты, она плакала весь день, ничего не готовила, на кухню не выходила.

Я ругал себя, что опять какая-то глупость получилась, не надо было ей показывать. Но вечером, когда мы пошли гулять на Сретенский бульвар, бабушка как-то загадочно сказала: “Они о себе много возомнили. Вот посмотришь – они сожрут друг друга, и тогда Польша опять возродится”. Я даже не стал спрашивать, кто эти “они”. Я чувствовал, что мы с бабушкой попали под какие-то огромные железные колеса, что *они* должны неминуемо раздавить нас, и ничего с этим не поделать. Не было страшно – но было очень грустно, что кончается наша тихая жизнь. Стояла весна 1941-го, я окончил первый класс, до войны оставалось полтора месяца.

Игра в лапту, или “Враги народа”

В последние предвоенные годы в нашем дворе как-то вдруг очень популярна стала игра в лапту. До этого были прятки, казаки-разбойники, городки. Но для всех этих игр наш двор не очень подходил: прятаться было негде, битье городков кончилось битьем стекол в окнах первых этажей. А для лапты двор был приспособлен идеально: длинный прямоугольник, со всех сторон огороженный стенами дома. Машин в то время во дворе ни одной не было. Стояла одна телега в углу, и та без лошади. Разметили асфальт мелом, сделали биты из дощечек и каждый день начали играть, командами по три-четыре человека. Компания наша была разновозрастная, от 7 до 12 лет, но это никого не смущало. Приходили играть и ребята из соседних дворов, например из дома 24, напротив нашего. У них там двор был большой, открытый, но весь занятый садиком, скамеечками и решетками, к тому же пропахший вином и коньяком от находившихся там складов (под землей) старого завода купца Шустова. А рядом, в доме № 13, было даже три двора, но все маленькие, как проходные закоулки. Так что у нас желающих поиграть было всегда много, даже очередь стояла. Главное – мячик никуда улететь не мог, пространство было замкнутое. Я, помню, играл с ребятами по прозвищу Тыбурций, Кожа, Жираф. А я был – Петр Кошка. Я бегал и ловил мячик неплохо, а вот бил битой не очень, часто не попадал. Но уж если попадал, то бил далеко. Играли как-то очень шумно. В нашем дворе было сильное эхо, все громкие голоса еще усиливались, а в острые моменты кричали все разом. Так что из окон бабушки высовывались с ужасом, не случилось ли чего. Половину игрового времени тратили на споры, поймал – не поймал, попал – не попал.

Была еще команда из разных дворов, случайно собранная. Их, помню, звали Клим, Марат и Владлен, эти имена тогда считались “идейными”, и команду их стали звать “Враги народа”, так как родители, давшие такие имена детям, в то время обычно были в лагерях. Сами дети никакого особого смысла в эти слова не вкладывали. Я помню, как мальчик Кира из третьего подъезда, сидя на подоконнике, вопил: “Давай, давай, «Враги народа!»” Но сам я очень не любил, когда так говорили, чувствовал в этих словах какую-то ложь.

Двор был асфальтовый; бегая, мы спотыкались, падали, разбивали коленки и локти. Кто-то придумал отрезать рукава от старых рубашек и делать из них наколенники – это было особым шиком.

Играли в очередь, кто проиграл – вылетал. Но чаще обе команды так уставали, что уходили по домам и освобождали площадку другим. Подробностей ссор и споров, конечно, не помню, но они были в каждой игре. Особенным спорщиком был парень по прозвищу Ваня Курский. Против него всегда выступал сын зубного врача Гарик Мазо. Его все уважали, потому что на дверях их квартиры была медная табличка с надписью “Мазо”. Они были постарше и употребляли много слов, смысл которых я не понимал. К сожалению, после этого лета я игру в лапту никогда нигде не встречал. Так она и осталась в далекой предвоенной поре – голодной и беспечной, веселой и бестолковой.

1941 год

После окончания первого класса дальние родственники взяли меня на лето с собой в деревню Лайково, где-то рядом с Барвихой. 22 июня в 12 часов дня мы все слушали в оцепенении речь Молотова по радио. Тут же собрались и на следующий день были в Москве, так и не отдохнув. Я помню состояние растерянности, которое было в нашей квартире и во дворе, где каждый день собирались соседи, уже без патефона, и обсуждали сообщения с фронтов. Из школы приходили какие-то пионеры и записали меня в тимуровскую команду. Мы собирались в Доме пионеров на улице Стопани, а потом шли гурьбой десять-пятнадцать человек собирать металлолом. Собирали какую-то ерунду и на тачках везли на Чистые пруды, где был сбор. Это длилось с неделю, а потом бабушку вызвали в школу и объявили, что вышло постановление об эвакуации детей из Москвы, временно, на три-четыре недели, на период возможных бомбежек Москвы. Нас, 70 человек детей, собрали во дворе школы, посадили в грузовики и куда-то повезли. Родители остались во дворе, стояли кучей и плакали. Было 21 июля, если не ошибаюсь.

Наша “эвакуация” протекала как-то странно. Нас без конца то высаживали где-то, то снова сажали в грузовики. Как нам объясняли вожатые в красных галстуках, которые за нас отвечали, – никто не хотел принимать детей. Я не помню названий всех мест, которые мы проехали. За два месяца скитаний по Подмосковью были: Одинцово, Внуково, Истра, Лобня, что-то еще. Постепенно вожатые исчезали, часть детей тоже.

Вещи, которые я взял с собой, куда-то пропали. У ребят тоже всё украли, еды не было, кормили чем попало, хорошо если раз в день. Везде была неразбериха, толкотня, паника. В конце августа мы застряли под Яхромой, в здании местной деревенской школы. Нас осталось человек двадцать и двое вожатых. С утра мы разбредались по окрестностям в поисках чего бы поесть.

На чужой печке

Помещение, где мы жили в Яхроме, было когда-то спортзалом. Но была ли это именно часть школы – я не уверен. Помню только большое полутемное пространство и большую дыру в стене. Весь пол был застелен матрацами, спали вповалку. Девочек было мало, с самого начала не более десяти. А к концу нашей эвакуации осталась одна, по имени Кима. На нее никто не обращал внимания, она всегда была последней, когда нам что-нибудь раздавали вожатые или мы сами делили между собой: хлеб, молоко, яблоки.

И однажды, как-то вдруг, мне стало эту девочку жалко, очень уж она была безропотная. А я, как себя помню, в этой Яхроме был тогда как бы хулиган: курчавый, щекастый и задиристый. Я боялся только наших строгих пионервожатых, они мне казались уже “взрослыми”. А к таким же как сам, малолеткам, я относился довольно нахально. У кого-то что-то отнимал, вечно лез драться. Подробности не помню. Помню пейзажи вокруг – с холма видно было далеко, как рядами идут облака, на которые мог долго смотреть, не отрываясь, следя за тем, как они меняют форму. После нашего двора-колодца у меня было ощущение как бы свободного полета над поселком, над домами-бараками. В этих поселках не было ничего интересного, не было даже церковки. Красив был только лес и синие темные дали во весь горизонт.

Смутные воспоминания оставили у меня ночи в нашем убежище. Один угол зала был разрушен бомбой, стены в торце не было. И ночью, а я лежал как раз с краю, было видно звездное небо, изредка освещаемое прожекторами и взрывами зенитных снарядов. Холода почему-то не помню. То ли тепло было, то ли, когда нас осталось мало, каждому давали по три одеяла. И вот как раз из-за этих одеял я стал с Кимой знакомиться, разговаривать. Она всегда мерзла, и я притащил ей несколько одеял, чтобы согрелась. Она потом рассказала, что в Москве тоже жила с бабушкой, а где папа и мама – не знает, ей не говорят. Я спросил, посылают ли они посылки, но она ничего не знала. Я тогда подумал, что у нее та же история, что и у меня.

Утром я посмотрел – Кима бледная, худая, глаза большие, испуганные, вся какая-то сжатая, настороженная, как маленький котенок. Я удивился, что за все время наших скитаний ее не замечал. И тут же решил, что надо ее взять с собой в очередной поход, чтобы хоть как-то ободрилась и поела.

Пошли по большой дороге, через мост, через речку. Кима все говорила о школе танцев, где училась до войны. Шли-шли и

набрели на полуразрушенный монастырь. Огромные башни, толстые стены, но всё запущено, на крышах кусты и трава. Зашли внутрь – во дворе монастыря стоит на пьедестале Ленин с протянутой рукой, большой и серебряный. В одном углу сидела кучка пожилых солдат, у них полевая кухня и несколько лошадей. Мы сказали, что в эвакуации здесь, и попросили поесть. Когда солдаты нас накормили, пошли обратно, но не смогли найти дорогу и заблудились. Стало темнеть, пошел дождь, мы промокли до нитки и, стуча зубами, попросились к какой-то женщине, которая убирала под навес сено, нельзя ли у нее обсушиться. (Собственно, все эти разговоры вел я один, Кима только дрожала рядом.) Тетка как-то очень жалостно на нас посмотрела, я опять заныл, что мы здесь в эвакуации из Москвы, что потерялись. Вдруг она подошла, обняла нас и говорит: “Да вы оставайтесь, переночуйте, а утром пойдете. И вещи высохнут”. Мы настолько были рады, что когда она нам сказала: “Полезайте на печку!” – мы вмиг все мокрое с себя сняли, залезли под одеяло и тут же уснули, как Адам и Ева, прижавшись друг к другу. Никогда я так сладко не спал, как в эту ночь на чужой печке! Не помню, как мы вернулись и нашли нашу школу. Тетка нас все целовала на прощанье и говорила, что у нее были такие же дети, когда-то. Очень жаль, что имя ее не запомнилось. Помню только глаза, светлые, как бы выцветшие, грустные и добрые.

Фронт уже приближался, людей было в поселке мало. Мы копали картошку, пекли на костре. В огородах была репа, морковь, лук. В садах – яблоки. Иногда даже угощали нас парным молоком, но редко, так как скот весь угнали. Становилось прохладно. Мы встречали группы солдат, которые рыли окопы или зарывали в землю зенитки против танков. Солдаты тоже нас подкармливали кашей, если была рядом полевая кухня. А мы все, кто остался, помогали им рыть окопы и траншеи.

В какой-то день нам говорят: “Всё, собирайтесь, завтра плывем в Москву”. – “Как плывем, на чем?” – “На барже”. Мы заорали: “Ура! Плывем!!!” Встали затемно, сели на грузовики и поехали. Но по дороге что-то сломалось, долго чинили. Рядом было сельпо, во дворе ящики ситро и лимонада. Облились до одури, пока чинились.

Наконец приехали на канал Москва – Волга. Выходим на высокий берег над пристанью и видим внизу черный дым. Сбегаем вниз, навстречу какие-то тетки, кричат: “Детки дорогие, вы в рубашках родились – вашу баржу только что разбомбили!” (Да, мы следили за небом, видели “юнкерсы”.) Выходит, наша поломка и ситро спасли нам жизнь! Вот чудо! В этот момент я впервые подумал, что есть какая-то Судьба, что не все так плохо,

что мне что-то еще суждено. В общем, привезли нас в Москву на телегах с ранеными. Шел пешком от Сокола вместе с Кимой, Москву было не узнать: все окна заклеены полосками, на улицах везде рядами стояли ежи, укрепления из мешков, кое-где за ними видно зенитки.

Один в городе

Пришел домой, ключ от комнаты нашел – а бабушки нет. Она оставила записку, что ее “эвакуировала” тетя Женя в деревню Гремячево до конца сентября. В квартире живут все новые люди, какие-то молодые тетки. Они мне обрадовались, когда я сказал, что здесь тоже живу. “Вот, хоть один мужчина завелся!” Это были мобилизованные из деревни девушки, они работали в военных не то столовых, не то госпиталях. А соседи по квартире все удрали, никого не осталось, некоторые комнаты были даже опечатаны.

Помню свои ощущения в тот момент: сначала стало очень страшно – совсем один, но быстро сообразил, что ведь это полная свобода. Делай что хочешь! Мне такое состояние очень понравилось за время скитаний по холмам Яхромы. Голод ведь не самое страшное – зато можно всюду ходить, смотреть. После затворничества в нашем каменном дворе-колодце под бабушкиным присмотром, когда тебе постоянно что-то кричат, какое счастье остаться одному, как взрослый! “Новые тети” чем-то накормили, напоили чаем. На кухне газ не работал, стояли примусы, керосинки, ведра с водой. Когда-то здесь у каждой хозяйки был свой столик под своей белой скатертью, было чистенько и красиво. А теперь воняло керосином.

Во дворе оказалось таких как я, ребят без присмотра, еще несколько. Правда, я был самый младший. Первый вопрос, помню, был: “Ты где будешь: в бомбоубежище или на крыше?” – “А зачем на крыше, чего там делать?” – “Дурак, там так интересно, когда тревога! Мы всегда на крыше!”

И в эту же первую ночь, когда завыли сирены, мы по черному ходу выбрались на чердак, а оттуда через окно – на крышу. Впечатление действительно было прекрасное и страшное одновременно. По небу в темноте метались лучи прожекторов, ловя немецкие самолеты. Грохотали зенитки, осколки шипели и стучали по крыше где-то рядом. Видно было очень далеко, до самого Кремля. Наша крыша была выше всех в округе. Только один высокий черный дом с башенками, позади нас, был такой же высоты. Это старая телефонная станция на улице Мархлевского, возле моей школы. После начала войны там был Центральный военный узел связи. Немцы каждую ночь стараются его разбомбить, но не попадают. Действительно, днем я увидел, что дома вокруг этого Узла были разрушены. В один из домов, стоящих рядом, бомба попала даже второй раз, а в Узел – ни одной. Интересно, что эти руины после войны стояли еще очень долго, и их не убирали – возможно, специально, чтобы сохранить

память о 41-м годе.

Тревоги на крыше повторялись часто. Там были и взрослые с лопатами и с песком, гасили зажигалки. На нашу крышу упало 16 или 17 таких бомб, в основном карбидных. Их нельзя было гасить водой, только песком. Нас к ним не подпускали, хотя мы и рвались помочь. Мы только подносили песок, ходили по крышам, собирали осколки. И кричали “Ура!”, когда наши зенитки сбивали очередного немца.

Другим развлечением была постоянная война с такими же беспризорниками из дома № 13. У них там было целых три двора, и ребят больше, чем у нас. Утром или днем мы собирались все вместе и на трамвае, кажется № 17, ехали в Останкино, в парк, где разделялись и играли в казаки-разбойники. Хорошо помню дубовую осеннюю рощу цвета темной охры, опавшие листья, черные корявые стволы. Все это принадлежало только нам, никого вокруг.

Однажды я зачем-то залез на такой могучий дуб. Это было очень легко. Вдруг внизу оказались наши враги, стали бросать в меня камешки. Один камень попал по руке, пальцы разжались от боли, и я полетел вниз. Помню, как в глазах завертелись земля и пустое шоссе с мотоциклистом. Но видимо, меня охранял какой-то ангел. До земли я не долетел, застрял в толстых, разлапистых ветках дуба. Ребята внизу разбежались, а я еще долго боялся шелохнуться, не понимая – жив или нет? Отделался ушибами да, видимо, легким сотрясением. С тех пор иногда болела голова и появилась боязнь высоты.

Во дворе у нас образовалась странная компания во главе с пятнадцатилетним Виктором. Спустя много лет я его встретил в Одессе – он стал тренером по боксу. Он придумал, что нам надо готовиться в партизаны, что немцы возьмут Москву, а нас заберут в гестапо. И вот мы должны подвергать себя испытаниям, даже пыткам, чтобы потом не выдавать своих. Например, один висел над бездонной лифтовой шахтой, а другой держал его за руки и кричал: “Не бойся, я тебя не выдам”. Потом мы менялись местами. Втыкали друг в друга иголки, били по пяткам бамбуковой палкой и т. д. Главное было – усвоить закон товарищества: своих не выдавать. Однажды этот Виктор принес настоящий браунинг с патронами, и в закоулке двора ребята пробовали стрелять в цель. Мне дали выстрелить один раз – не помню, попал ли. Еще мы заготавливали ножи, фонарики, фляги, соль, спички – для войны “в тылу врага”.

Я очень любил ходить в одиночку по Москве. Тетя Женя жила на улице Воровского, 20. Одна дальняя родственница жила на Ленинградском шоссе, 16. Еще кто-то жил на площади М.

Расковой. По всем этим адресам я ходил пешком. Иногда днем можно было увидеть, как в небе кружит немецкий самолет-разведчик. По нему били зенитки, а тревоги даже не объявляли. На улицах были военные патрули, но меня ни разу не останавливали. В витринах магазинов еще стояли старые консервы и разные продукты. Однажды осколок разбил у нас на улице стекло витрины, и посыпалась целая гора белых банок с надписью “CHATRA” – камчатские крабы. Я набрал целую сумку этих крабов, но мои соседки-кормилицы даже не стали их есть. Они приносили из столовой картофельные очистки и пекли из них оладушки. Я эти оладушки очень любил, казалось, ничего нет вкуснее на свете.

Во дворе у нас сделали какую-то военную овощную базу. Машины приезжали и разгружались по ночам. Мы, дети, помогали втроем-вчетвером таскать тяжелые мешки. За это нам давали картошку, лук, капусту, турнепс. Но главное, самое ценное – сухофрукты. Кое-что, конечно, мы припрятывали сами, по карманам. Я с гордостью, помню, приносил соседкам свой “вклад” в общий котел.

Соседки приглашали меня к себе, когда к ним приходили в гости военные дяди. Заводили патефон, ужинали, что-то выпивали, если у кого была гитара, пели песни. Когда электричество не работало, сидели при коптилке – керосиновой лампе; было весело, тепло, уютно, очень трогательно, как в кино. Девушки были всегда красивы: накрашены, причесаны. Военные были не простые, а командиры с “кубиками”. Сидели обычно в углу большой комнаты, где до войны жила женщина по имени Ася Семеновна. Но ничего в этой комнате трогать было нельзя, всё оставалось на своих местах. Девушки говорили, что война скоро кончится и хозяева вернутся. Когда начинались танцы, я уходил к себе, ложился на раскладушку и начинал размышлять обо всем увиденном за день. Меня очень радовало, что никто не спрашивал, где мои родители, кто они. Я все равно не знал что сказать, но боялся этого вопроса. Бабушка никогда не говорила со мной ни о маме, ни о папе. Только когда собирала маме посылку; всегда долго плакала. Мне казалось, что она за что-то очень обижена на маму. (За что именно, я узнал только сорок лет спустя.) Дети “врагов народа” в нашем дворе тоже молчали о своих родителях. Те, у кого всё было в порядке, ни о чем не спрашивали, только как бы слегка сторонились нас. Мне казалось – все понимали, что никто ни в чем не виноват, что в Москве всё может случиться с каждым, тем более во время войны. Между прочим, ставка Сталина была совсем рядом с нами, у метро “Кировская”, в подземелье Демидовского особняка на улице

Стопани. У нас во дворе все это знали. Снаружи не было заметно особых укреплений или охраны. На площади Тургенева рядом со всеми любимой Тургеневской читальней, куда я еще ходил в первом классе, среди мешков с песком стояли две зенитки. Такие же зенитки стояли во дворе Дома пионеров. Я, помню, никак не мог себе представить, что немцы будут в Москве, тем более – на нашей улице Кирова. Поэтому не было страшно. А может быть, просто после 37-го года для тех, кто его пережил, всё самое страшное уже случилось.

Московская паника

Вообще-то, вспоминая Москву 1941 года, я думаю, что рядовые люди не очень понимали положение на фронтах. Во всяком случае, до 16 октября, до знаменитой московской паники. Сводки с фронтов по радио были очень короткие и непонятные. Было много музыки, какие-то детские передачи – всё как до войны. На улице было много театральных афиш разных спектаклей, оперетт, концертов. Как будто всё в порядке. К затемнению, тревогам, ежам давно привыкли.

И вдруг в ночь на 16 октября я проснулся от запаха дыма. Что-то горело, я испугался, что пожар. Выглянув в окно, увидел костер во дворе, стоят грузовики, двери военкомата распахнуты и военные быстро бегают туда-сюда. Включил радио – ничего. Выбежал во двор – вижу, военные ставят ящики в грузовики, садятся сами, и машины выезжают на улицу через нашу низкую арку, едва не задевая ее. А посреди двора остаются гореть кучки военкоматовских документов.

Во дворе было уже много соседей, вскоре всех охватил страх – военкомат был пуст. Дворник прошептал мне: “Что-то случилось на фронте, они узнали раньше всех и смылись”.

Время было еще очень раннее, но мы с соседом Михой бросились на улицу. Там поток людей уже шел к Красным воротам, в сторону трех вокзалов. Мы тоже пошли. Когда дошли до Садового, все было забито людьми, машинами, даже подводами. На обочинах люди просто стояли толпой и смотрели на тех, кто уезжал из Москвы с чемоданами и узлами. Кто-то рядом сказал как бы про себя: “Вот умные все драпают, а мы, дураки, стоим и ничего не знаем”. Я это запомнил, но что значит быть умным – тогда не знал. (И не знаю, кажется, до сих пор!)

После нескольких дней паники в Москве стало очень хорошо – совсем пусто, тихо, безлюдно. Машин не было совсем. Зато стояли длинные очереди в магазины и булочные. У меня-то все равно не было ни денег, ни карточек. Дома по вечерам на кухне говорили о каких-то грабежах и волнениях на заводах. Но до меня все это не доходило. Я уже очень скучал по бабушке, и она вскоре приехала и очень расстроилась, какой я худой. “Что мне делать, мне нечем тебя кормить. Хочешь, я тебя в детдом определю?” Я, конечно, совсем не представлял, что это такое. Но бабушку было жалко, я видел, что она очень плоха и слаба. Так что в конце ноября при помощи РОНО я попал в детский дом № 16/64 на Крымской площади, 5. Двухэтажный особнячок во дворе с надписью на фасаде: “Дом Купца Сабашникова”. Там я пробыл до

конца лета 1945 года, т. е. всю войну.

В детдом меня привезли две моих соседки по квартире. Они были в своей военной форме, и принимавший меня директор никак не мог понять, кем они мне приходятся. Они очень смеялись и сказали, что просто соседки, что бабушка заболела и они ей помогают. Я был очень горд. Внутрь дома вела широкая лестница, наверху стоял большой бюст Ленина на фоне красных знамен.

Детдом. Первая кровь

В детдоме спальня мальчиков была огромная и светлая, на 120 человек, но мест там не было. В первый день меня положили спать в коридоре. Поставили три кровати – для меня и еще двоих новеньких. Когда все улеглись, мои соседи по койкам стали говорить, что здесь есть обычай всем новеньким устраивать “темную”. Ребята (у одного, толстого и добродушного, фамилия была Батов, другого не помню) очень боялись этой “темной” и не знали, когда ее ждать. Я понял, что они оба слишком домашние и мне нужно их “возглавить”. Стал оглядывать место боя и сообразил, что надо укрепить тыл. Чтобы нас не били поодиночке, мы подвинули кровати в угол и сдвинули их вместе.

В эту ночь ничего не случилось, хотя мы ждали и не спали. На вторую ночь кто-то пришел нас предупредить, и мы спешно стали готовиться. Я говорю: “Давайте в подушки положим что-то потяжелее, чтобы уж вдарить так вдарить!” Положили в подушки наши ботинки, еще туда же, для плотности, шапки-ушанки и всё это узлом завязали, попробовали друг на друге.

Ощутив в руках оружие, мы повеселели и стали ждать, сидя в темноте. Вскоре в конце коридора что-то зашевелилось, и смотрим – человек пять-шесть крадутся, согнувшись, бесшумно, в нашу сторону, в руках – растянутое одеяло. Мы вскочили на ноги, схватили свои подушки и, как только враги приблизились, осторожно вглядываясь, – обрушились на них сверху, с двух сторон. Нападавшие были смяты в две минуты. От неожиданности они попадали на пол, и мы их же одеяло на них набросили, соскочили со своих кроватей и стали лупить подушками изо всех сил, чтобы добить окончательно. Те стали орать из-под одеяла: “Вы чего, вы чего! Оборзели, что ли! Больно же!” В конце коридора появился директор, Алексей Семенович, зажегся свет. Директор, видимо, ситуацию сразу понял, закричал в спальню: “Зарубин, Фролов, ко мне!” и загородил собой пути отступления. Прибежали еще трое здоровых ребят – как я потом понял, это были главные “блатные”. Директор сказал: “Всех в карцер; новенькие, останьтесь, сядьте, успокойтесь”. Мы сели на свои кровати. Алексей Семенович говорит: “Ну, Зарубин, разберись по-своему”. И ушел. Зарубин, высокий парень с темными волосами, говорит: “Не растерялись, молодцы. Но драться надо было простыми подушками, а башмаки класть – не по правилам. Но на первый раз прощаю”. Тут он увидел, что Батов прокусил себе губу и кровь течет по лицу, говорит: “Фрол, возьми у девок аптечку”. Тот ушел и вернулся с заспанной девчонкой, которая стала мыть

Батову лицо и мазать зеленкой. Зарубин сказал: “Всё, ребята, больше вас никто не тронет. Но завтра все трое отдаете свой ужин. Пока, спокойной ночи”.

Конечно, первые дни было очень тоскливо. Я с грустью вспоминал оладьи из картофельных очисток и гороховые супы своих “кормилиц”. К тому же нас сразу предупредили, что директор бьет детей.

Всего в детдоме было две сотни человек, половина – девочки. Учились все в 588-й школе в Теплом переулке. Рядом был большой военный госпиталь, за ним – фабрика “Красная роза”. В школу все детдомовские шли большой гурьбой, так как надо было проходить через узкие ворота, где всегда нас поджидали “домашние”, чтобы подраться. И эти стычки были почти каждый день. Дрались жестоко, но были и свои правила: лежачего не бить, двое дерутся, третий не лезь! После очередной драки все мирно шли в школу. Кроме вечных драк с “домашними” за эту голодную зиму вспомнить и нечего, кроме разве того, что мне дали прозвище Булка. Оно так прилипло ко мне (на все годы), что даже учителя иногда вызывали меня не по фамилии, а просто: “Булка, к доске”.

Наша Метростроевская

Однажды, где-то в 1942 году, глубокой заснеженной зимой, когда вся наша Крымская площадь утопала в сугробах, меня из детдома послали в какую-то поликлинику или диспансер сдать кровь. Поскольку я был еще мал, отправили вместе с мальчиком постарше, по фамилии Байбеков. Он мне сказал, что “туда” обычно идут втроем-вчетвером, для безопасности, потому что надо пройти целую улицу, а диспансер только в конце, у метро “Дворец Советов”. Я удивился: чего бояться? Байбеков сказал, на этой улице живут одни “огольцы” и запросто могут побить, или раздеть, или бритвой “пописать”. Чтобы ничего не случилось, надо знать “правила”, а улица – Метростроевская, так ее зовут. Правда, наша воспитательница Евгения Васильевна говорит по-своему: “Остоженка”.

Ну ладно, оделись теплее, идем, вышли на Садовую по тропиночке среди сугробов. Во всю ее ширину, как и в 41-м, ряды противотанковых ежей. Перешли, входим на узкую незнакомую улочку. Слева – мощные белые дома без окон. Байбеков говорит: “Арсенал”. Справа – как он сказал – “Мутро”. Идем. По правой стороне. По левой – нельзя, там не ходят. Слева – ряд низких серых домов в два-три этажа. В каждом доме – подворотня. И в каждой подворотне – кучка мрачных “пацанов”, плюющих семечки. Все они одеты в какое-то темное тряпье. Мы-то детдомовские – аккуратные, чистенькие, гордые. Мы тоже считаемся шпана, но “безобидная”. А здесь сразу видно – “щипачи”. Среди них обязательно есть “оголец”: он постарше, он стоит позади. Я вижу сразу их схему. Вот сейчас подойдет пацан-“малолетка”, станет чего-нибудь просить, приставать. А не дашь – заорет: “Чего ты тянешь на мололеток?” И тут из тени выйдет оголец и скажет: “Папа-мама есть? Папу-маму хочешь видеть? Давай деньги сколько есть, а то больше не увидишь!” И лезвие в двух пальцах будет быстро крутить перед глазами! Короче, мы молча идем, а эта Метростроевская все не кончается. И почти из каждой подворотни глядят блатные и плюются. Людей – никого. Только сугробы. Они-то нас и спасают, за них прячемся.

Дошли до Обыденской церкви, напротив – наш диспансер, на спуске. И тут сзади нас возникает какой-то парень в черном тулупе: “Пацаны, деньги есть?” – и хватает сразу за шкирку! Тут Байбеков набычился, покраснел, глазки засверкали – и на этого парня: “Какой тебе деньги! Кто тебе маза держит! Ты Карим знаешь? Я ему скажу – ты сам деньги давать будешь!” Тот оторопел: “Это кто такой Карим?” – “Карим, который всю

Шаболовку держал!” – “Новый, что ли? Так и говори, я тока откинулся, всех не волоку, гуляй пока! Спрошу за Карима!” И он исчез так же быстро, как появился. Байбеков повернул ко мне свое широкое, плоское лицо и заулыбался: “Как я его!” – “Высший класс, Байбек! Приду – всем расскажу!”

Так вот я понял силу слова: правильно поговорили – и без драки обошлось!

Кино и танцы

Когда пришла весна 1942 года, у нас начались “страшные” события. На нашего всемогущего директора кто-то куда-то пожаловался. Из московского комитета ВЛКСМ приехала энергичная черноволосая женщина, инструктор по детдомам, Елена Николаевна Мурашова. Она стала ребят спрашивать, как им живется, как они одеты, как их кормят. Сначала все боялись, но потом ее облепили, заговорили все разом: что всё плохо, что всегда голодные, что скучно, кино нет, библиотеки нет, заняться нечем. А главное, что блатные (которых было человек десять) всех запугали и даже еду отнимают. Мурашова мрачнела, мрачнела, потом встала (дело было в спальне) и говорит: “Ребята, я перед вами очень виновата. Я вас как-то упустила. Но я исправлюсь. Беру вас под свой контроль”.

И началась у нас новая эра. Через три дня директора сняли. Пришло новое руководство, которое очень быстро все изменило. Как это удалось – не знаю. Поменяли половину воспитателей. Всех блатных отправили в колонию. Елена Николаевна Мурашова приезжала чуть не каждую неделю. Стали привозить кино, на втором этаже сделали торжественный зал для пионерских сборов и концертов самодеятельности. Открыли красный уголок с библиотекой и большой картой всех фронтов, чтобы с флажками следить за сводками каждый день. Вся пионерская жизнь приобрела какой-то романтический оттенок. Во главе пионерской дружины встала Рэна Кордес – испанка, участница гражданской войны, очень красивая девочка, в которую все старшие мальчики были влюблены. Она обладала режиссерским талантом и стала ставить на сцене капустники, шарады, народные танцы.

Летом для лагеря сняли целый дом на станции Зеленоградская Ярославской дороги, где мы работали в колхозе без выходных на прополках и окучивании и т. п.

Конечно, работать было трудно: грядки по 100 метров, колючие сорняки по пояс, жара, руки все были исколоты… Но зато на воздухе, на природе. Девочки иногда даже падали в обморок, так как некоторые не переносили жару, были очень слабенькие. А работать в колхозе приходилось с 8 утра до 3 дня. Только после этого мы шли строем на обед. Потом – мертвый час и политинформация.

В это время на кухню стали поступать первые американские продукты, которые резко изменили все питание. Появились какие-то шестигранные американские сосиски, яичный порошок в огромных пакетах – из него нам делали каждое утро омлеты,

сухое молоко, сухие сливки, какие-то смеси в ярких коробках – для киселей – и огромные баки ананасового сока. Каждая партия таких продуктов сопровождалась синими листовками, где были два флага и странная надпись русскими буквами: “Через рашен уорд релиф”. Позднее стали поступать желтые банки с кукурузой, а зимой 1943 года – свитера, теплые ботинки и даже невиданной красоты шубы! Снизу был белый кроличий мех, а сверху – олений, разных коричневых оттенков. (Одно плохо: драться в них нельзя было – сразу рвались.)

Но мало этого – нам даже стали привозить и показывать американские фильмы. Перед фильмами еще кто-нибудь, заранее подготовившись, рассказывал минут десять об Америке, о Голливуде, о неграх. Особенно я запомнил фильм “Ураган”, после которого у нас была целая дискуссия. Там вступали в противоречие служебный долг и личная совесть – нечто для нас совсем новое. Если не ошибаюсь, главную роль играл Спенсер Трейси. Спорили о фильме очень возбужденно и очень долго, еще и на следующий день.

Конечно, “Чапаев”, “Пархоменко”, “Котовский” мы смотрели по нескольку раз, знали наизусть. А также “Юность Максима”, “Ленин в Октябре”, “Путевка в жизнь” – это была обязательная программа. И вдруг – “Бемби”, “Три поросенка”, “Сестра его дворецкого” с Диной Дурбин. За время нашей “новой эры” исчезли и злость, и агрессивность беспризорной шпаны. Мы все как-то размякли. Стало модно без конца говорить “спасибо”, “здравствуйте”, “пожалуйста”, участвовать в самодеятельности, разных кружках и даже (для меня это было как измена всей предыдущей жизни) – учиться танцам. Я считал эту моду на танцы недостойной сурового мужчины, каким я хотел быть в будущем.

Поначалу я был горд собой, но вдруг увидел, что остаюсь в одиночестве, что со мной друзья перестают общаться и даже сторонятся. Оказывается, меня за глаза уже называют диким и неотесанным. А самые некогда крутые парни Рэм Быков и Тимофей Лаптев освоили уже и вальс, и мазурку. Просто стал у нас не детдом, а кадетский корпус.

Здесь, наверное, к месту сказать о тех трех женщинах, которые вдруг изменили наши “понятия”.

Воспитательницы

Прежде всего – наша новая директорша, Карпекина Евдокия Филипповна. Несомненно, эта суровая и немногословная женщина с твердым взглядом была душой и автором всех перемен, хотя бы потому, что она лично за всё отвечала. Война только недавно началась, еще далеко до Сталинграда, а она уже думала о нашем послевоенном будущем. И мы интуитивно это понимали, видели, как она за нас переживает.

Наш воспитатель – Евгения Васильевна – высокая, седая, худощавая, очень резкая, ее все называли “принципиальной”. Я это слово не знал, но сразу проникся к ней уважением. Она мне напоминала мою бабушку: с первого взгляда стало ясно, что она из “бывших” и много чего повидала в своей жизни. Она жила прямо в нашем здании, одна в комнатке за кухней, в полуподвале, и ходили слухи, что она дочь бывшего хозяина дома. Но сама она никогда не говорила ни с кем на эти темы. Ко мне она очень хорошо относилась. Я еще ничего не рисовал, но она как-то угадала, что во мне созревает, и принесла из дома несколько красивых открыток. Это были “После побоища Игоря” В. Васнецова, его же “Аленушка” и “Три царевны”. Впервые в жизни я увидел серьезное искусство. Ведь ни у бабушки моей, ни у соседей ничего не было такого. Может, что-то было у матери, но после обыска вывезли всё до листочка, остались только голые полки. Так что это был настоящий подарок, заставивший меня задуматься о том, как мало я еще знаю о мире взрослых. Несколько вечеров внимательно, в деталях, рассматривал открытки. Я помню очень странное чувство, как будто я из своей детдомовской реальности улетал в какой-то иной мир. И от сознания, что этот мир красоты и сказочности где-то существует, мне как-то легче было переносить свои неприятности. А Евгения Васильевна мне объяснила, что искусство для того и существует, “чтобы облегчать людям тяготы жизни и всякие затруднения”.

У моей бабушки вообще ничего не осталось от прошлого – только две огромные вычурные пуговицы с перламутром. Зачем она их хранила? Так мне захотелось увидеть “ту” жизнь своими глазами! Я стал иногда, при случае, спрашивать Евгению Васильевну: как было? Вначале она отделывалась шутками, но постепенно стала мне доверять и рассказывать о Большом театре, об операх, о Шаляпине, о Третьяковской галерее. О Петербурге, Зимнем дворце, Летнем саде. Но о себе самой – ничего. Из ее рассказов я запомнил одну важную для себя фразу: “Ты, когда вырастешь, должен научиться делать что-то такое, чего никто,

кроме тебя, не сделает. Тогда ты будешь людям интересен” (или “…с тобой будет интересно”, не помню точно).

И наконец, наша старшая пионервожатая Мария Артамоновна. Она появлялась в 7 часов утра, с первыми звуками горна, трубящего подъем. Голубоглазая, с ироничной улыбкой, в постоянной клетчатой ковбойке, всегда бодрая, быстрая, упругая, как маленький мячик. До сих пор помню ее звонкий голос: “Бегом! На зарядку! Ноги на ширине плеч! Руки! Вверх! Три! Четыре! Булка, проснись! Три! Четыре!” Она всегда была в прекрасном настроении и заряжала им нас на целый день. Ей было, я думаю, лет восемнадцать, не более. Она знала всех нас поименно, а также все наши прозвища, клички и слабые места. Ее спонтанные реплики повторялись как присказки: “Без детдома как без дома”. Или “У Лаптева вся жизнь – борьба. До обеда с голодом, после обеда – со сном”. Или: “Опоздаешь на обед – получи физкультпривет!” Маша, как ее звали в народе, придумывала все кружки, концерты, привозила кино, книги, газеты. А главное – следила за положением на фронтах и заставляла нас флажками отмечать всё на карте.

Она все успевала и никого не боялась. Она умудрялась где-то наверху договориться, чтобы к нам приезжали прямо с фронта “шефы” – летчики, танкисты. Героические, опаленные, настоящие, в своих кожаных куртках и шлемофонах. Они рассказывали за общим чаепитием про войну, а “наши” показывали эстрадные номера и пели песни. Не верилось, что завтра – они опять на фронте.

Как-то выяснилось, что многие дети курят. Маша вот что придумала: попросила одного из шефов – бравого, в орденах летчика – разыграть сценку. Собрали курильщиков на встречу с шефами. Этот летчик спрашивает, доставая одновременно красивый серебряный портсигар: “Ребята, а вы не курите случайно?” Все засмущались: “Нет, нет!” – “Вот и правильно, и я не курю”. – “А портсигар?” – “Да так, держу для слабаков”. – “Каких таких?” – “Да знаете, бывают такие, боятся, трусят и от страха курят. Вот держу для них, но сам – никогда”. Мальчишки задумались – и на самом деле почти все бросили курить, застыдили друг друга. Потом этот случай превратился в легенду, и спустя годы у нас всё еще спрашивали: правда ли это было?

Рядом с Буденным

Летом 1942 года в Москве проводили большой пионерский слет, от нашего детдома послали группу – пять человек. Мы сели в электричку с огромными букетами полевых цветов. При въезде в Москву был строгий патруль военных: “Кто такие? Куда?” Приехали к саду “Эрмитаж”. Слет был в помещении какого-то театра. Я удостоился большой чести – стоять рядом с маршалом Буденным на подиуме (в холле) и принимать бесконечные рапорты делегаций. Это были рулоны листов с текстами и рисунками пионеров. Я стоял справа от маршала, касаясь его левым локтем, и видел его смуглую щеку и правый ус. Стояли довольно долго, рапортов было много. Слева от Буденного стояла девочка, как и я, держа в руках эти рапорты, но ее каждые десять минут меняли, а я все стоял, думал – упаду. Но, конечно, был горд и не падал. Затем нас посадили в первые ряды и вручили по яблоку. Народу в зале было много, все в красных галстуках и белых рубашках, как и я. За столом на сцене сидел маршал артиллерии Воронов, маршал Шапошников и маршал Буденный. Сбоку штук пять генералов и какие-то красивые женщины – артистки. Говорили много, но неразборчиво. Я помню, что было очень жарко, и я все думал, почему генералы не на фронте. Окончился слет пением военных и пионерских песен. Мы все получили подарки в виде пачки печенья и шоколадки “Красный Октябрь”.

Песни на батареях

Зимой 1943 года в нашем детдоме часто отключали электричество. Вечерами, когда не было света, мы рассаживались на втором этаже вдоль стен, у ряда чугунных батарей – и начинались различные истории из мирной жизни. Одна девочка читала на память рецепты из поваренной книги, описания всяких вкусных блюд и закусок. До войны она жила в деревне и по этой книге училась читать, других не было. У нас слюнки текли, когда она описывала макароны по-флотски или биточки с гречневой кашей и жареным луком. В темноте все как-то оживлялись, и самые молчуны вдруг начинали болтать, что-то о себе откровенничать. Вроде того что вот, “была у нас собака, стояла на задних лапах”. Или: “Я лежал в больнице со скарлатиной и ночью описался”. Или: “Папа на заводе работал и каждый день полный карман гаек приносил”. Были две сестры, которые хорошо пели, собирались поступать в консерваторию. Они всегда пели уже в самом конце, на прощанье, когда народ расходился спать, и всегда одно и то же: “Всё васильки, васильки, сколько мелькает их в поле” и “Меж высоких хлебов затерялося небогатое наше село”. Был такой по фамилии Карцев, а по кличке Карцер, так как сидел полгода в колонии. Он знал одну блатную песню и пел ее так жалостливо, с таким выражением, что даже наша суровая испанка Рэна Кордес однажды расплакалась. Оказалось, у нее в Испании расстреляли отца при побеге из тюрьмы. Рэна пришла как-то наводить порядок, но когда услыхала песню Карцера, не могла уйти и слушала до конца.

Далеко да в Сибирском крае
Между двух да высоких скал
Окружен стеною стальною
Александровский централ.

Там сидел да красивый парень,
Сидел преступник да молодой,
Он сидел и думу думал,
Из тюрьмы бежать хотел.

Дверь ключами да загремела,
Ключник в камеру да вошел:
Ты вставай-ка, брат, с постели,
Смертный час тебе пришел.

Девятнадцать да пролетело,
С визгом взмылись да в облака,
А двадцатая злодейка
Близко к сердцу прилегла.

Пирожки и сырники

Следующим летом мы жили на станции Правда той же Ярославской дороги и так же целыми днями, без выходных работали в колхозе XVII партсъезда. За все лето один раз ходили в поход на Пироговское водохранилище. Это были незабываемые двое суток во главе с Машей. Впервые провели всю ночь у костра и даже не спали. Варили уху из ершей, которых нам наловили солдаты здешней воинской части, рассказывали всякие истории. После этого со мной произошел случай: я наступил в поле на разбитую стеклянную банку, кровь текла рекой. Меня отвезли на чем-то в больницу и вкололи укол от столбняка. На следующий день от работы освободили и оставили дома.

Это было впервые, и я не знал, чем заняться, сидел на терраске с большим листом бумаги.

Вошла Маша: “Булка, я слышала ты любишь рисовать?” – “Да нет, Мария Артамоновна, я только пробовал”. – “Раз пробовал, значит, что-то умеешь. Вот нужно стенгазету оформить, а тебе делать все равно нечего. Попробуй нарисовать здесь костер наш, а здесь пионеров. Ну еще елки, березки какие-нибудь, чтобы видно было, что лето. Справишься?” Я снова говорю: “Попробую”.

Принесли коробку красок “Пеликан”, и я со страху начал сразу с людей, первый раз в жизни. Через два часа Маша приходит посмотреть, и ей все нравится. Потом куда-то уходит и возвращается с тарелкой горячих румяных сырников: “Поешь, подкрепись”. Вот так подарок! Радость была двойная: во-первых, очень вкусные сырники, а во-вторых, во внеурочное время! До обеда было еще очень далеко! Я сразу ощутил свою значимость и подумал: “Как хорошо, оказывается, быть художником! Может, стоит когда-нибудь этим заняться!” Стенгазету я растянул на два дня. Получилось вроде даже неплохо для первого раза. Назавтра Мария Артамоновна принесла еще и пирожки собственного изготовления. Тут я окончательно принял решение о своем будущем. Но оказалось, впереди меня ждали большие испытания, совсем неожиданные.

В детской больнице

Зимой я заболел экссудативным плевритом. Поехал в воскресенье к бабушке в гости, был в валенках без галош, в центре мокро, простудился, высокая температура. Бабушка в панике звонит в детдом, и оттуда приезжает за мной с санками и одеялом воспитательница Надя Осипова. (Я ей на всю жизнь остался благодарен.) Она меня волокла на этих санках, на себе тащила через весь город. С улицы Кирова (Мясницкой) до Крымской площади!!! Чем это не подвиг? Она тем более мне была никто, педагог даже не моей группы, просто была в тот день выходная и вызвалась помочь. Такие тогда были люди. Способен ли сейчас кто-нибудь на такое? В детдоме тут же вызвали “скорую” и отвезли меня в детскую больницу на Погодинку. Там положили в отдельный бокс с температурой 40. Сколько времени прошло – я не помню. Температура не падала, я, говорят, был в бреду; тогда решились на операцию и сделали ее успешно. Температура упала, я лежал еще в боксе. Потом около месяца в палате. Помню, что в больнице, среди множества обычных московских детей, было несколько человек, переживших оккупацию и рассказывающих о войне всякие истории и небылицы.

Уже начался новый, 1944 год. Мне говорят: “Поедешь в туберкулезный санаторий, тебе необходимо лечиться”. Что ж делать, плакаться некому, да и бесполезно. Придется ехать. Но везти меня не на чем. Жду еще несколько дней. И тут говорят: “Вот есть один лейтенант, он везет туда же свою дочку. С ним и поедешь”. Укутали нас в одеяла и посадили в открытый “виллис”. Крещение, страшные морозы. Мы выехали часа в три дня, плутали до темноты, но санатория этого так и не нашли. (По пути много раз еще останавливали патрули, проверяли документы.) Вернулись в больницу к полуночи. Там все пришли в ужас, сразу бросились нас кормить гороховым супом. Поехали снова через день и наконец нашли санаторий. Просто чудо, что мы снова, во второй раз чем-то не заболели на таком морозе.

Загадочный санаторий

Как назывался этот санаторий, не знаю до сих пор. Знаю только, что где-то в районе Мытищ. Кто-то говорил, что “Дубки”, но не уверен.

Заведение это было настолько странное, что приходится о нем рассказать подробно. Пребывание в этом “санатории”, среди взрослых людей, больных туберкулезом, могло, несомненно, кончиться плачевно. Всегда вспоминаю четыре месяца, прожитые там, как некий сюрреалистический триллер.

Итак, я очнулся утром в большой палате на 6 коек. Все кругом взрослые. Одеты кто в костюм, кто в телогрейку, кто во что. За окнами – зимний лес. С другой стороны комнаты – тоже окна, выходят во двор. Там стена, к ней прислонены дрова и какие-то доски. Пригляделся – оказалось, крышки гробов. Посреди комнаты – стол, посреди стола – керосинка, на ней чайник. За столом сидят угрюмые дяди, заросшие щетиной. Все курят. Лежат игральные карты, но никто не играет. Сидят, курят и молчат. Кто-то смотрит на часы и говорит: “Пора”. Потом мне: “Ну, шкет, пошли в столовую”. На завтрак дают какую-то бурду, несколько кусков черного хлеба и сахар. Кто-то мне говорит: “Учти, это хлеб на весь день. Сразу не ешь. Сахар тоже на целый день (з куска) и чай. На ужин будет только кипяток”. Я спрашиваю: “А на обед?” – “На обед только первое. Второе все сами покупают, у кого есть деньги”. Я говорю: “Как же так, мне сказали, что посылают в санаторий”. – “Он и есть санаторий, только всё украли. Молчат все потому, что на фронт не хотят. Ведь здесь как что-то вякнешь, изменят тебе диагноз и сразу выписывают. Ты еще маленький, тебе все это не надо знать. А твои-то где родители?” Я говорю: “У меня никого нет, я детдомовский”. – “Ну, позвони своим начальникам, может, тебе чего привезут поесть, здесь телефон есть, в конторе”. Думаю, куда звонить, ведь я телефона не знаю, да и просить не буду! В детской больнице мне дали с собой какой-то узел, сказали, что из детдома прислали рубашку, штаны, полотенце, варежки. Остальное было на мне. В детдоме, наверно, думают, что я в настоящем санатории, а здесь какой-то шалман, корпуса одноэтажные, длинные, как бараки. Только один дом, отдельный, в три этажа. Видно, что там женщины ходят. Вдалеке еще какой-то странный дом с высокой трубой. (Потом узнал, что это крематорий.) Вернулся в свою палату. Дядьки в карты играют, на меня ноль внимания; нашел на окне книжку – “Борьба за огонь”, лег и стал читать. Так прошло дня два. В обед – горох, на ужин – кипяток.

Приходила сестра, измерила мне температуру, сказала: “Все хорошо, через неделю сделаем рентген”. И я как-то перестал за все переживать, успокоился. В своем узелке нашел еще сухари и плитку шоколада. Вспомнил, как шефы-летчики рассказывали, что с одной плиткой шоколада можно прожить три дня, буду так рассчитывать. Думать вперед я еще не умел, но к таким внезапным переменам в своей жизни уже привык и ничему не удивлялся. Я думал, что маме, наверно, еще хуже.

Про папу я ничего вообще не знал, не помнил его. Все говорили, что он расстрелян. А вот о родном брате матери, дяде Лешеке, который в Польше “работал коммунистом”, бабушка рассказывала, что он девять лет сидел в тюрьме у польских фашистов. Я помню, у нас лежал на столе журнал “Красная новь”, где было напечатано его “письмо” ко мне с картинкой, где рука с красным флагом торчит из тюремной решетки. Я представлял себя на его месте, как ему было там плохо, и старался все терпеть.

По соседству с крематорием

В палате нашей было спокойно. Говорили все вполголоса, и то редко. Больше молчали и целыми днями играли в карты и курили. Каждый человек жил как бы отдельной жизнью, думал о чем-то своем. Никто ко мне не приставал с вопросами, даже не интересовались, как меня зовут. “Шкет” – и всё. Место у меня было хорошее, у окна. Почувствовав общую обстановку, я старался тоже молчать, быть незаметным. В шкафу я нашел еще несколько пыльных книг. Очень обрадовался – есть занятие надолго. “Тайна профессора Бураго”, “Голова профессора Доуэля”, “Щорс”, “Декамерон”, “Краткий курс истории ВКП(б)”. Потом еще что-то читал, уже не помню что. Вокруг хоть и мороз стоял сильный, но было очень хорошо: красивый лес, за ним большое поле, деревня вдали, всё под снегом – и голубое яркое небо. Никаких заборов, иди куда хочешь. Но гуляющих было немного, и те все тетки. А мужчины сидели у своих корпусов и грелись на солнышке. Встретил ребят, таких же как я, лет по десять. Они рассказали, что рядом с ними два корпуса “доходяг” – людей, умирающих от туберкулеза. И каждый день кто-то умирает, его кладут в гроб и тут же сжигают в крематории. Или держат в морге, пока родственники не заберут. Но случается это очень редко. Ребята оказались весьма наблюдательными и вели споры, сколько было гробов вчера, сколько позавчера. Я понял, что дядя, который говорил со мной в первый день, Иван Палыч, был не совсем прав, что здесь “все только от фронта прячутся”. Умирают-то по-настоящему. Помню свои ощущения того времени. Все это “триллерное”, ужасное окружение я воспринимал как-то отдельно от себя, как будто кругом происходит какое-то кино. Ни разу не пришло в голову, что я легко мог бы оказаться на месте доходяг.

В палате постепенно ко мне привыкли. Иногда я за весь день не говорил ни слова, специально молчал. Лежал, читал и наблюдал за соседями. Это оказалось очень интересно – ведь я вырос без папы и не знал, как ведут себя взрослые мужчины. Как они разговаривают, курят, бреются и т. д.

Из разговоров я понял, что трое из нашей палаты сидели в тюрьмах. Один дядя, бородатый и седой, держал на своей тумбочке икону и про себя все время молился. Был еще Николай Николаевич, которого все звали просто Колей. Он от всех отличался. Все молчаливые, замкнутые, а Коля все время шутил. Он был сравнительно хорошо одет: белая рубашка, галстук, черный костюм; он даже подпиливал свои ногти (специальной

штучкой) и потом еще полировал. Он лучше всех играл в карты, особенно в “очко” – и всегда выигрывал. Он делал зарядку, и у него были свои лыжи. У него всегда стояла американская свиная тушенка, свой чай, сахар, хлеб. Конечно, соседи мне нашептали, что он раньше был вор и карточный шулер, впоследствии оказалось, что еще и “медвежатник”. Несмотря на то что все сидели, за все месяцы жизни в этой палате я не помню ни драк, ни мордобоя. Если кто-то на кого-то начинал обижаться или кричать, их сразу гнали на улицу: “Идите на волю, там базарьте”. Помню одного молодого парня на костыле, который приходил к нам с гитарой и пел разные тюремные песни. Из своей палаты его выгоняли, он говорил, что все там доходяги и ни о чем не могут думать, кроме как о своих “кавернах” и “очагах” или у кого какой “рентген”.

Вечерами лампы горели вполнакала: ни читать, ни в карты играть. Вот сидели и слушали гитарные переборы. Приходили и соседи, палата у нас была самая большая, в середине, где стоял стол, было совсем пусто, там была как бы сцена. Наш гитарист сидел на стуле с высокой спинкой из какого-то музея. Он пел особым, блатным голосом, с надрывом, с хрипами, с каким-то упоением: то закидывая назад голову, то, наоборот, склоняясь до пола. Многие его песни я уже знал, их пели у нас в детдоме. Сейчас это называется шансон. Через какое-то время он привел из первого корпуса девушку, которая тоже была хромая, и они стали устраивать настоящие концерты.

Что меня очень удивляло во всей этой странной компании – о фронте, о войне редко вспоминали. Я ходил в контору, слушал там радио, а потом рассказывал соседям сводки. Был уже март 1944 года, везде мы наступали. Но мужики все повторяли одно: “Мы до конца войны не доживем”. Или: “Пусть их там воюют, нам-то что с этого, мы зэки”, и я стал тоже думать – доживу ли я до конца? И вообще – сколько проживу? Да и зачем?

Спасла меня весна: снег растаял, везде лужи, тепло стало, гуляли без шапок. Кто-то научил меня, как добывать березовый сок, а Коля подарил мне свой ножик. Мы с ребятами подрезали кору берез, подвязывали стаканчики, и по соломинке сок стекал быстро. Мы стали пить его с утра до вечера и сразу почувствовали себя лучше. Потом стали добывать и сосновый сок – полужидкую сладкую прослойку под корой молодых сосенок. Тоже вроде бы очень полезную. Когда совсем не осталось снега – копали картошку прошлогоднюю и пекли на костре, точно так же, как три года назад под Яхромой. Кругом стоял рев лягушек, солнце хорошо уже грело, жизнь становилась прекрасна. Мы были как маленькие Маугли – тощие, почерневшие, абсолютно

безбашенные. Уходили по полям далеко и голода не замечали, привыкли. Жаль, рисовать было нечем и не на чем. Но весну я очень полюбил, ее свежий ветерок, облака, голубой струящийся, мерцающий воздух. В тот год было очень сильное половодье, все деревья стояли в воде. По полям плавали на лодках. Под натиском новых впечатлений я совсем забыл и детдом, и свой двор, и дом, и бабушку. Мне казалось, что я всегда жил здесь, среди этого половодья, березок и дубов, в царстве квакающих лягушек, грачей и сорок. Всего несколько теплых весенних дней – и забываешь ужасную холодную зиму, операции, болезни…

“Мой друг Колька” научил меня игре в карты. В основном играли в “петуха” и в “очко”, на деньги, конечно, и довольно большие. Я, помню, один раз выиграл 800 рублей. Много было это тогда или мало – не помню. Но где-то с апреля Николай стал меня брать с собой перед обедом на кухню, где за деньги можно было заказать на второе котлеты или зразы. Там же, за кухней, сидел дядька, который продавал папиросы, табак, шоколад, монпансье, немецкий шпик, американские сигареты (синие пачки с самолетом), спички. Так что стало немного полегче. Одно было плохо – я ничего не понимал в деньгах, путался, не знал, что надо просить сдачу. К тому же я их терял, иногда кто-то находил рубли у меня под кроватью и кричал: “На, малахольный, последний раз!” А я отвечал: “Виноват, исправлюсь”.

В конце мая пришел главврач и сказал, что обо мне спрашивали из детдома, потому что мне пора возвращаться по моим документам. Но смогу ли я сам доехать до своего детдома? Санаторий может меня довезти только до Мытищ, а там я должен сесть на электричку. Ездил ли я один когда-нибудь? Конечно, я с важностью пообещал, что спокойно доеду. Мне выдали большой конверт с рентгенами, направлениями, справками, и я уехал в Москву.

9 мая. Victoria!

В детдоме мне обрадовались, но я видел, что меня подзабыли, Булкой уже никто не называл. В остальном все было по-старому. Мы все снова были за городом, в летнем лагере, опять на той же Зеленоградской, только с правой стороны. И снова стали зарабатывать трудодни в колхозе XVII партсъезда. Мне еще надо было осенью сдать экстерн за IV класс, так как я с января все уроки пропустил. Пришлось с Евгенией Васильевной сидеть после обеда. Для меня это была только радость, поскольку иногда она приносила мне такие же замечательные открытки, как и раньше. У нее, видимо, была большая коллекция. Были виды городов – Владимир, Новгород, Париж, Венеция, Рим. Были “Гербы губернских городов Российской империи”, балерины, актеры.

В колхозе после нудных и противных бесконечных прополок нас вдруг послали на сбор клубники – в виде премии. Конечно, мы постарались ее поесть побольше, “на всю жизнь”. Открыли волейбольную площадку, повесили сетку. По вечерам играли до самой темноты, потом шли на речку.

Следующая зима пролетела как-то незаметно, без происшествий. Постоянно ходили смотреть салюты. И весной – яркая вспышка: День Победы. Я с утра отпросился в город и помчался в центр пешком, бегом, на Манежную и на Красную площади. Весь центр был забит народом, все орали от радости, целовались, военных подбрасывали вверх. Помню иностранных военных на балконе “Интуриста”, которые пальцами показывали ликующей толпе знак “V”, Victoria, Победа, а наши не понимали и кричали им “Ура! Ура!”. После ужина все наши помчались на Красную площадь смотреть салют. Передать то ощущение счастья и всеобщей любви друг к другу – невозможно. Народ на Красной площади во время салюта пришел в состояние невероятного возбуждения, люди не знали, как еще выразить абсолютное счастье: прыгали, пели, обнимались, бросали цветы, кричали “Ура!” из последних сил. И после салюта долго еще не расходились. В эту ночь у нас в детдоме никто не спал, сидели в зале, мечтали о будущем.

Будни военных лет

После Дня Победы в детдоме все стали вспоминать будни военных лет. Я тоже стал вспоминать, как в 41-м ходил по Москве без всякой цели. Ходили с кем-то из ребят смотреть, как разбомбили дома за Красной площадью, в Зарядье, и рядом с нами, на улице Мархлевского или на Трубной. Надо сказать, что руины обычно убирали очень быстро. Но у нас, на улице Кирова, половина пятиэтажного дома очень долго, всю зиму, стояла как была. Две стены рухнули, комнаты были наружу, но с внутренней стороны закрыты на замок. С улицы все это выглядело как пять театральных декораций, стоящих одна на другой.

Мои соседки-девочки приходили поздно, усталые, в гимнастерках и серых телогрейках, казались совсем измученными. Я работал во дворе, на овощной базе, где мы с ребятами таскали мешки допоздна, приносил какие-то “трофеи”. В нашей квартире была большая ванная комната с душем. В ней стояло и висело множество корыт, тазов и шаек. Девочки кипятили на примусах воду, разбавляли, делали теплую, ставили меня в корыто и мыли мочалкой с мылом все втроем. Мне, помню, и в голову не приходило, что их надо стесняться. Я к ним так привык, что считал их сестрами. Сколько лет им было – не знаю, но вроде двое кончали школу, а третья, темноволосая Люся, выглядела немного старше.

Тревоги в Москве продолжались; однажды взрывной волной от фугасной бомбы меня буквально выбросило, и я летел через весь наш коридор, метров пять. Второй раз я испытал такой удар на крыше, но, по счастью, упал в окно чердака и легко отделался ушибами и синяками.

Это было, когда бомбы попали в главный почтамт, но больше не повторялось. А мы тогда, помню, так хотели еще и еще приключений.

Из наших ребят никто с фронтом близко не соприкасался. Поэтому, когда я в спальне рассказал об эвакуации и всех “переживаниях”, мне очень завидовали. Ребята были московские, обычные.

Мы очень любили кино. Его показывали частями, конечно, с перерывами, но зато каждую неделю. Из военных фильмов помню киносборники про Швейка с Гитлером, “Секретарь райкома”, “Нашествие” с Жаковым, который мне очень нравился. Но любимым фильмом у всех, и детей, и воспитателей, были “Два бойца”. Смотрели их раз десять и просили еще. Песню “Темная ночь” знали наизусть, со всеми ее вариантами. Помню забытые

ныне “Она защищает Родину”, “Машенька”, “Жди меня”. Помню, как плакали на этих фильмах. От каждой картины в речи детдомовцев оставались какие-то новые фразы, которые употребляли как поговорки, где надо и не надо. В детдоме у нас почему-то любили стихи Константина Симонова. Рассказывали о его романе с Валентиной Серовой. О том, как Сталин сказал на приеме о его стихах: “Я бы печатал такие стихи только в двух экземплярах – вам и ей. Другим людям, по-моему, это совсем не интересно”. Я, конечно, не мог еще спорить со Сталиным, но помню, был с ним совершенно не согласен. Мне, помню, нравился стих о В. Серовой: “Тринадцать лет, кино в Рязани, тапер с измученной душой…” Ну и, конечно, “Жди меня, и я вернусь…” – у нас многие его знали наизусть. И даже однажды кто-то из шефов-летчиков с фронта читал нам эти стихи на вечере в зале.

Я помню, как во время Сталинградской эпопеи переживали за дивизию Родимцева, защищавшую город и принявшую на себя главный натиск немцев. Тогда по радио каждый день говорили о боях за “Красный Октябрь”, о доме Павлова. Наконец объявили о победе в Сталинградской битве. У нас был праздник, воспитатели обнимали и целовали детей, на ужин дали настоящие американские шоколадки. Только тут я вспомнил, что накануне, 1 февраля, мне исполнилось десять лет.

Рядом с нами, в Теплом переулке, всю войну был военный госпиталь. Напротив входа в наш особняк находились какие-то одноэтажные бараки, где летом сидели и курили раненые со своими костылями – почти все были одноногими. В этот вечер там тоже было ликование, даже запускали ракеты. Затемнение уже плохо соблюдалось везде. Наши девочки выступали в госпитале со своими песнями и танцами. В другие дни госпиталь представлял страшную картину. Я был там всего раза два, не мог смотреть на все эти ужасы. Это было так страшно: столько людей без ног; раненых было так много, негде было пройти. Один рассказал, что у них лежал Герой Союза летчик Маресьев.

Осенью 1944 года и весной 1945-го, когда меня отпускали изредка по воскресеньям повидать бабушку, я стал встречать в нашем дворе, а затем и в своем подъезде ребят, вернувшихся из эвакуации. Кто-то был в Средней Азии, кто-то на Урале, кто-то в Алма-Ате. Рассказывали, что там пережили, как скитались, голодали. Потом появились две девочки, пережившие оккупацию, оставшиеся без родителей. Детдом наш стал называться “для детей фронтовиков”. И я стал постепенно осознавать, что войну-то провел в тепличных условиях. Может быть, исключая только четыре месяца в “санатории”. О нас все это время заботились, кормили, одевали, развлекали, учили. В сущности, никаких забот

мы не знали, разве что летом работали без выходных на ненавистной прополке.

Для нас тогда все добро мира воплощалось в наших воспитательницах, а они за войну только постарели, измучились и почернели. Никто из них, видимо, ни копеечки на нас не заработал. Не могу себе простить, что после войны потерял их следы. Знаю только, что наша любимая Маша – Мария Артамонова Медведева – еще долго была директором какого-то детского дома.

Но самым ярким воспоминанием последних лет в детдоме было неожиданное появление дяди Лешека. Того самого брата мамы, который до войны сидел в Польше в тюрьме и посылал письма ко мне в журнал “Красная новь”. В 1941 году он ушел на фронт и воевал в составе Первой дивизии Войска Польского на Втором Белорусском фронте. Он появился в красивой польской форме, с орденами, переполошив наших скромных воспитательниц. Они, конечно, отпустили меня на один день, и мы поехали – мечта сбылась! – прямо в Третьяковку. Дядюшка, оказывается, тоже об этом давно мечтал. Однако все шедевры уехали в эвакуацию. Залы были полупусты, заполнены рисунками и акварелями. Только один зал был полностью занят огромными картинами. Как нам сказали – его не стали трогать, оставили, как до войны, ибо этот художник “не представляет особой ценности”. Но мы с дядюшкой просто обалдели и провели в этом зале почти все время. Это был зал Врубеля. С этого часа любовь и преклонение перед Врубелем сопровождала меня всю жизнь. Вечером успели еще в Театр миниатюр, где в первом отделении был Аркадий Райкин, а во втором – Леонид Утесов. Сейчас в этом здании театр им. М. Н. Ермоловой.

СССР или ПНР?

После невероятного эмоционального взрыва в День Победы остальные события той весны, вроде окончания 5 класса, как-то мельчают и меркнут. Но меня ждало нечто совсем невероятное. Летом вдруг вернулась с Севера мать, пришла сразу в наш детдом, без предупреждения. На счастье, ее встретила Евдокия Филипповна, наш директор. После обеда меня вдруг вызвали к начальству. Ничего не ожидая, я вбежал в кабинет на первом этаже, захватив свой школьный дневник. В кабинете сидели наши воспитатели вокруг какой-то смуглой женщины и со вниманием молча слушали ее рассказ. Помню, меня что-то будто ударило! Я вгляделся – и вдруг узнал маму. Я помнил ее очень смутно, как кадр из кино, в момент обыска и ареста, но она как будто была все та же. Я бросился к ней, все передо мной расступились, но мама оставалась очень спокойной, без эмоций, и как бы только позволила себя обнять. Я понял, что она не хочет раскрываться перед посторонними людьми, она всегда была сдержанна в своих чувствах. Зато кругом все бурно радовались нашей встрече, говорили: “Вот счастье!” Позвали в столовую пить чай, и там мама опять что-то интересное рассказывала, но о чем, я не слышал, так как смотрел на нее, не веря, что все это правда.

Я представлял себе встречу с мамой в духе книжного рисунка “Анна Каренина с сыном” и ждал чего-то необыкновенного. Только через месяц мама приехала снова, когда мы уже были в летнем лагере, и рассказала, что ее выпустили досрочно, с условием выезда в ПНР, в числе нескольких тысяч поляков, которых “лично товарищ Сталин” освободил для строительства “народной Польши”. Я тогда не совсем понимал, что это значит, “отъезд в ПНР”, о чем она говорит. Я просто не знал, как к этому относиться.

Но, сказала мама, она все равно туда не поедет, так как она “советский человек”, а Польша никогда не сделается советской, всегда будет “буржуазной”. Между тем еще как бы вскользь упомянула, что ее брат, а мой дядя Лешек, который вернулся в Польшу сразу после войны, назначен начальником военной канцелярии президента Берута, получил большую “правительственную” квартиру и забирает на днях бабушку к себе в Варшаву. Мы сидели на завалинке деревенского дома, на берегу пруда, рядом наши ребята играли в футбол. Все рассказанное казалось мне нереальным и сказочным. Президенты, квартиры – откуда это? Если “там” всё так хорошо, почему бы и не поехать, не посмотреть? Я уже не мог дождаться, когда меня заберут

домой: мне исполнилось 12 лет, и я не мог больше оставаться в детдоме, в августе уже должен был уехать в Нижний Тагил, в ремесленное училище. Уж лучше бы в Варшаву! Вечером я, улучив момент, подошел к нашей директорше Евдокии Филипповне посоветоваться. Она долго молчала, глядя в окно, спиной ко мне, потом повернулась, обняла меня и сказала: “Твоя мама – идеалистка. Из тех мест, где она была, никого в Москве не оставляют. Вы будете страдать и мучиться всю жизнь. Но решать за нее я не могу”. В общем, какой-то тупик. Мне показалось, что опять я попадаю в мясорубку. Никто меня не спрашивает, что мне было бы лучше, чего я хотел бы. И выбора никакого нет.

Парад Победы

В конце июня за мной на машине заехал дядя Лешек и “выпросил” меня у директора, чтобы посмотреть Парад Победы. Он стал очень важный, в польской красивой военной форме и конфедератке, ездил с водителем на “виллисе”. Он жил тогда в гостинице “Москва”, и я, конечно, был удивлен великолепием и простором ее интерьеров. Мрамор, ковры, картины – все это я видел впервые в жизни, тем более в таком изобилии, на всех этажах, в огромных холлах.

Парад Победы мы смотрели с площадки ресторана на седьмом этаже гостиницы “Москва”, стояли в большой толпе под зонтиком, так как шел довольно сильный дождь.

Перед нами была вся Манежная площадь с войсками для парада, а Красную площадь мы видели только частично, без Мавзолея. Все присутствующие были этим очень расстроены, но в полевые бинокли мы видели и Жукова, и Рокоссовского на конях, объезжающих войска. После Парада мы поехали на Пушечную улицу, где помещался Союз польских патриотов. Там тетушка Зося, жена дяди, была ответственным секретарем. Был большой прием, играла музыка, и я впервые попробовал вкус “Советского шампанского”. Было много красивых женщин, много цветов, много польских военных и наших военных, целовали руки, улыбались, кланялись, танцевали. А я совершенно потерялся, не знал, что делать, как себя держать. К тому же я не знал польского языка, а здесь все объяснялись по-польски. Но надо было привыкать к новой жизни. В конце вечера тетя Зося повела меня на склад американских подарков, которых была целая гора, и предложила выбрать себе одежду, чтобы, как она сказала: “С тобой можно было куда-нибудь пойти”. Я набрал чего-то, но самым удачным приобретением была черная широкая куртка с большими футбольными пуговицами. Я носил ее потом лет десять, уже после детдома, откуда меня все-таки забрали в конце лета.

Постижение азов
1946–1955

Нехорошая квартира

Первые послевоенные годы – годы расцвета нашей коммунальной кухни. Несмотря на ее большие “дореволюционные” размеры, все-таки шесть-восемь человек, толкущихся одновременно возле газовой плиты, – тяжкое испытание для нервов любой женщины. От скандалов спасало только то, что иерархия очередности давно установилась, причем как-то сама собой. Безусловным преимуществом пользовались две дамы, Прасковья НКВД, у которой муж погиб на фронте, и Юлия Михайловна, желчная и циничная старая интеллектуалка, не боящаяся ни НКВД, ни кого бы то ни было. У нее на фронте погиб единственный сын, красавец и умница Эдик, математик, доброволец. Когда они с полуграмотной Прасковьей оставались вдвоем у плиты – они вдруг как-то теплели друг к другу, осознавая, что они здесь единственные настоящие жертвы войны. И вдвоем незаметно терроризировали тещу нашего бравого смершевца, безропотную добрейшую Халю “с Полтавы”. Она никак не могла взять в толк, за что эти москвички ее теснят, за что “невзначай” занимают ее маленький столик, зажатый между их владениями. “Не отсиживайся в тылу, за спинами наших” – был ясный подтекст этих тычков. Действительно, этот смершевец, майор, сын милейшей пары зубных врачей, вернулся из Германии с целым грузовиком трофейного добра. В ожидании отдельной квартиры он половину своей большой комнаты (родители уже умерли) отвел под склад тюков, чемоданов и ящиков в тщательной немецкой упаковке. Но квартиру они получали так долго, что ковры сгнили, а фарфор под тяжестью потрескался. В семидесятые годы я встретил своего соседа уже совсем седого, на каком-то концерте. Он работал в Вене – и вдруг прослезился, стал вспоминать нашу “юность”, родителей и т. п. Самые благополучные в нашей квартире были сестры Кессины, которые за все годы ни от кого не пострадали и, сколько я их помню, бегали на лыжах и занимались спортом. Они были вежливы, холодны и замкнуты.

Когда мою мать реабилитировали (после XX съезда) и она получила прописку в этой квартире на бывших бабушкиных 10 метрах, она оказалась, как сама рассказывала, в некой изоляции. Причем, как ни странно, ее стали сторониться как раз наши интеллигентные дамы, которые раньше ей сочувствовали. В результате ее новой “подругой” оказалась полтавская теща смершевца, которой были глубоко чужды всякие исторические катаклизмы. Грустно было смотреть, как мать металась между

вдруг обретенной возможностью “мещанского быта” – всех этих салфеточек, вазочек, тарелочек – и своей идеологической непримиримостью времен первых пятилеток, когда она работала в газете “Правда”. Она очень стеснялась, что так позорно врастает в быт, но всеобщая оттепельная волна “вещизма” не давала ей пути к отступлению, так много красивых мелочей было вокруг. Она как бы заново полюбила жизнь и в результате дожила до 86 лет. Правда, до последних дней считала себя “счастливым винтиком первой пятилетки”.

Чудеса на экзаменах

По совету знакомых вдруг мама решила, что я должен поступать в МСХШ (Московскую среднюю художественную школу), так как там давали ученикам рабочие карточки. Экзамены через две недели. Но я совсем не умел писать акварелью, никогда не рисовал с натуры. Как же я сдам экзамен? Среди друзей тоже не было ни одного художника, который мог бы хоть что-то посоветовать. Мать со всеми встречными делилась этой проблемой, и однажды в электричке на Петушки какой-то тип сказал, что до войны что-то рисовал. Она его уговорила помочь сыну советом. Он посмотрел мой альбом и пришел в ужас. Я даже не знал, что акварель надо разводить водой, мазал всухую. Он показал мне, как надо делать прозрачность, как набирать тон. Потом пошли в Третьяковку, в которую уже из эвакуации вернулись все картины. Этот дядя (не помню его имени) был поклонник Ф. Васильева и Саврасова. С этим багажом я пошел на приемные экзамены, в Орлово-Давыдовский переулок. Поступающих пришло очень много, многие с родителями.

Мне стало страшно. Я ведь ничего еще не умел, никогда не рисовал с натуры. А здесь – и натюрморт, и композиция. Я и слов таких не знал. Взял тему “Бородино”.

Не знаю, как за короткое время экзамена мне удалось заполнить огромный лист ватмана десятками солдат, всадников, лошадей. Никогда ничего подобного я не делал. И главное – русские побеждали, французы убегали. Я гордо оглянулся кругом – ничего даже близкого не было по размерам и патриотичности! Но получил я всего 4 балла. А у кого же 5?! У мальчика, который чуть ли не на тетрадном листке нарисовал рабочего с лопатой, у девочки, которая нарисовала старушку с авоськой, и еще одной девочки, нарисовавшей сельский базар. Было над чем подумать. Оказывается, здесь ценились наблюдения и реальная жизнь. Меня просто пожалели! Так что спасибо и за “4”, могло быть совсем плохо. Итак, я все-таки поступил в МСХШ и получил рабочие карточки.

Наша учительница с “дореволюционной” прической, Антонина Петровна, была ученицей самого Валентина Серова. Ей пришлось много со мной возиться, многое растолковывать, чтобы я, самоучка, начав учиться на двойки, окончил год на “5”. Она приучила меня к тому, что когда садишься за работу, надо забыть обо всем на свете, ибо ничего важнее работы не бывает. Она вспоминала трофейный фильм “Рембрандт”, где он рядом с умирающей Саскией пишет очередную картину, забыв обо всем.

“Ты пойми, Витенька, художник – это не такой человек, как все, у него другие правила жизни, он – голос Природы”. Она же посоветовала мне поближе познакомиться с Колей Дмитриевым, нашим лучшим учеником, сыном художников и вообще мальчиком из очень “хорошей, старинной семьи”. Я впервые услышал это выражение, и оно мне понравилось. Мне очень захотелось увидеть своими глазами, что такое “хорошая семья”. Для меня это был детдом № 16/64.

Поэтому летом, когда мы все выехали на практику, я постарался быть поближе к этому Коле. Он как-то тоже проникся доверием ко мне. Мы часто вместе ходили на этюды и в конце лета стали просто неразлучны. Впоследствии об этом периоде я, по просьбе Льва Кассиля, написал много воспоминаний, которые писатель использовал в своей книге “Ранний восход”. Мы выведены там под своими именами, но романтическая тургеневская сложность наших отношений у него исчезла. Лев Кассиль был слишком советским писателем. Искал пионерские, простые решения.

Приключения на берегах Оки

Деревня Подмоклово на правом берегу Оки, чуть выше Серпухова. Точнее сказать – село (там есть церковь начала XIX века), но убогость кучки серых домов и на деревню не тянет. Зато места вокруг очень живописные. Поэтому художественная школа здесь почти в полном составе на летней практике, в том числе и наш, теперь уже второй класс. Из-за войны у нас разброс по годам: кому-то двенадцать лет, кому-то уже четырнадцать. Живем, конечно, в старой школе, по двенадцать-пятнадцать человек в комнате, ходим с акварелью к Оке на этюды. Главный предмет всех разговоров – соседнее с нами поселение пленных немцев, их конюшни, их сытые, лоснящиеся лошади, каких “сроду на Оке не видывали”, их “старший” по имени Август, всегда вскидывающий руку, входя в конюшню, – “Хайль!”. Правда, никто его не поддерживает. Немцы живут совсем рядом – и совсем неплохо. Часто устраивают для нас концерты, играют на губных гармошках, чем вызывают возмущение нашего педагога Михайлова – своей примитивностью и сытым самодовольством. Всё это очень странно, тем более что у нас настоящая голодуха, из-за чего происходит много смешных историй. Однажды после обеда вынесли котлы из кухни – “облизывать”, т. е. доедать со стен остатки. Голодных оказалось так много, что образовалась целая свалка над котлами, в основном из старшеклассников. Старый пол затрещал, доски разъехались, и все рухнули в подвал, кто-то – головой в котел.

Устраивали даже тайные боксерские поединки (в школе бокс был официально запрещен) – победитель получал обед побежденного. Сережа решил организовать набег на немецкие огороды, которые тянулись по берегам Оки за колючей проволокой. Это было начало августа, созрели огурцы, а охраны не было никакой. Сами немцы жили в землянках, врытых в склоны прибрежных холмов. Ходили слухи, что весь урожай они отправляли прямо в Кремль. Немцы устроили здесь даже плантации помидоров, выращивали их без теплиц, всем на удивление. Так что в одну темную ночь небольшая банда будущих художников проползла под проволокой и набросилась на кремлевские огурцы. Набили полные наволочки и, благополучно вернувшись, раздавали огурцы всем желающим. На следующий день немецкие начальники пришли жаловаться, как-то вычислив нас. Началось следствие. Тем не менее набеги продолжались, особенно когда пошли помидоры. Немцы пытались их охранять, но не помогало.

Со мной же приключилась история куда более серьезная. Рядом с нами был большой пруд, на котором плавала стайка уток. Старшеклассники в поисках, чего бы поесть, подбили одну утку из рогатки. Хотели зажарить на костре, но не знали, как ее достать с середины пруда, который зарос корягами – не доплывешь. Увидели меня, рисовавшего на берегу, и стали просить, чтобы я доплыл до этой утки на плотике, так как я худой и легкий. Я ничего плохого не подозревал, взял шест и, отталкиваясь от дна, легко привез эту несчастную утку, которую тут же ощипали, зажарили и съели. Но вдруг откуда-то объявился хозяин этих уток, местный мужик, он уже вызвал милицию и показывал пальцем на меня как на преступника. Милиция составила протокол, опросила кучу свидетелей, которые видели, что я был на этом плотике с уткой в руках. Хотели уже забрать в отделение; насилуя смог доказать, что утка была уже подбитая. А кто потом съел – не знаю, я не ел. Потом долго нервно смеялись. Еще однажды залезли мы с Колей Дмитриевым в соседнюю заколоченную церковь и на стене обнаружили фреску с портретом Лермонтова в гусарском мундире, горевшего в аду вместе с грешниками. Это нас очень озадачило, и в Москве специалисты снарядили целую экспедицию, которая подтвердила: это единственное в своем роде изображение Лермонтова.

Другой раз мы с Колей поднялись затемно с навязчивой идеей увидеть восход солнца над Окой. Залезли даже на дерево, чтобы увидеть получше, кажется, на сосну. Потом долго и с трудом слезали. Зато внизу встретили немцев, которые пасли стреноженных своих лошадей и дали нам даже на них покататься – без седла, конечно. Это были, к счастью, не скакуны, а спокойные сельские тяжеловесы. Немцы с интересом разглядывали наши наброски и восторженно поднимали большой палец – дескать, понравилось. Потом пригласили нас к себе в блиндаж на “утренний кофе”. Мы с большим удивлением смотрели, как они у нас в плену обжились: чистота, всё прибрано, солидно устроено, живут по четыре человека, на стенах картинки, фотографии – и русские иконы! Мы не решились сказать им все, что думали о фашистах. Когда вернулись к себе, обнаружили, что до завтрака ждать еще целый час. Все еще спали, а нам казалось, что прошел целый день – так много было впечатлений.

Плотников переулок, дом 10

Весь следующий учебный год я почти каждый день после школы приходил в большую гостеприимную квартиру Дмитриевых в Плотниковом переулке на Старом Арбате. Приходил уже не только к Коле, но и к его замечательным родителям – Наталье Николаевне и Федору Николаевичу. Необыкновенные они были (для меня!) своей доброжелательностью, радушием, открытостью и своей особенной теплотой в отношении ко мне. Кстати, интересно, что они были родственниками С. И. Мамонтова, в роду были известные купцы, художники, ученые, искусствоведы. Но не видел я в них ни высокомерия, ни амбициозности. Много часов проводили той зимой мы с Колькой в его библиотеке в спорах о художниках, о школах, о мастерстве. Для меня это были незаменимые университеты. Колька, воспитанный своим окружением, очень принципиально относился ко всему в искусстве, четко определял свое отношение к любым, даже великим именам. При всей своей “лиричности” как в работах, так и во внешнем облике, он бывал иногда очень жестким. Он твердо охранял свое “Я” (в отличие от меня). Его трагическая смерть в пятнадцать с половиной лет потрясла тогда не только школу, не только его семью, но всю художническую Москву, особенно после посмертной выставки в 1949 году. Все увидели, что ушел гениальный мальчик, огромный талант.

Мистические совпадения

Летом 1948 года Коля Дмитриев жил с сестрой в деревне. Мы ранее договаривались вместе ехать в Абрамцево, я очень ждал этой поездки и как-то вечером позвонил его маме, чтобы она дала ему телеграмму: вернуться в Москву. И в этот самый день, именно и августа, он пишет мне большое письмо, которое не успел отправить. Это письмо нашли на столе уже после его смерти, следующим утром. Телеграмма пришла в деревню, опоздав на те самые два дня, когда он ушел на охоту и погиб.

Вот это письмо.

11 августа 1948 года

Наконец-то, Витька, получил от тебя открытку. Почему ты так долго не писал? Ведь у тебя был мой адрес. Я живу здесь в такой глуши, что любая весточка – праздник. Деревушка, в которой я обитаю, стоит посреди поля, с четырех сторон окруженная лесом. От нас до железной дороги около 20 километров. Вокруг нас довольно живописно.

Лес тут смешанный. В полутора километрах от деревни – река. Правда, нет здесь особенных крутых обрывов или красивых склонов. По берегам, да и вообще по всей местности разбросаны невысокие холмы, курганы. Местные жители говорили, что в эти места приезжала экспедиция и делала раскопки, довольно удачные. Некоторые курганы оказались монгольскими могилами. В этом отношении тут довольно интересно.

Сама деревня очень странная. Здесь совсем не чувствуется двадцатого века. В колхозе ни одной машины. Жнут серпом. Молотят цепами. Почти все население неграмотное. Большая часть жителей – карелы. Кроме меня в деревушке живет еще одна семья дачников. Двое парней-ленинградцев. Ребята довольно скучные, но все же лучше, чем никого. Работаю в последнее время довольно вяло. Все поднадоело. Все хорошие места уже давно нарисованы. Среди населения встречаются типы очень интересные, особенно хороши дети. Просто тургеневские (Федюши и Павлуши). В общем, натуры хватает, только рисуй! Но я, как ни странно, во всей этой зажигающей обстановке работаю с прохладцей. Основной упор делаю на живопись. Пишу пейзажи. Придаю огромное значение небу. Мне кажется,

что основное в пейзаже – правильно решить, угадать небо. Внимательно прописать, добиться чистоты и прозрачности. В последнее время я часто вспоминаю Ф. Васильева. В живописи я почти совсем перешел с полуватманской бумаги на тонкую шершавую. Эта шершавая бумага дает возможность лить акварель, делать ее прозрачной и чистой. Заметил на практике, что большое значение в технике имеет бумага. Как ни странно, рисунков у меня значительно меньше, чем живописи. Это меня сильно смущает. Больше тянет к цвету.

Мне бы очень хотелось узнать, как работаешь ты. Ведь ты, Витька, мне так мало написал, всего лишь открыточку. Моя глушь, я думаю, поглуше твоей. Ты жалуешься, что нет электричества, газет и магазинов! Какое там! У нас здесь, кроме своих, деревенских, и люд ей-то больше не встретишь. Живу как в ссылке. Одно утешение – это книги. Сейчас наслаждаюсь Копперфильдом.

Ну, пиши мне больше и чаще, а то я тут совсем зачахну от скуки.

Колька

На следующий день я узнал о смерти Кольки. Было лето, все на дачах, не с кем было поделиться горем. Не в силах оставаться один, я пошел в город, куда глаза глядят. Бродил без цели. Как-то незаметно очутился на Берсеневской набережной, на спуске к Москве-реке, напротив Кремля. Был полдень, жара, солнечный день.

На ступеньках у воды художница с большим холстом писала реку и Кремль. Я сидел рядом и думал о судьбе своего друга. Вдруг у воды появился молодой морячок в бескозырке с надписью “Погранвойска”, грустный, с рюкзаком на плечах. Он постоял немного, взошел на нос лодочки, привязанной тут же, и вдруг, нырнув в воду, мгновенно исчез. Проходит две-три минуты, мы оцепенело смотрим на воду – всплывает бескозырка. И тут художница вскочила и стала кричать: “Утонул, утонул!” Прибежал милиционер, какой-то народ. Кто-то разделся, нырнул. И тут появляется дворник и рассказывает, что этот моряк только что набил рюкзак кирпичами. Дворник еще подумал: зачем? Вызвали катер, водолазов, час искали – не нашли. Я сидел и думал – вот знаки Судьбы: один гений погибает от пули в расцвете таланта, а другой уходит сам, не дорожа своей, видимо пустой, жизнью. Что мне хотела этой смертью сказать Судьба – не

знаю. Может быть, что не надо замыкаться в своем горе? Что смерть – банальность?

Ресторан “Кама”

В раннем довоенном детстве я очень любил зеленый и тенистый Сретенский бульвар. Помню шумные оравы детей, игры в прятки, в казаков-разбойников, ряды скамеек, заполненные мамами и бабушками с колясками, длинные клумбы высоких цветов белого табака, который теплыми летними вечерами источал сладкий одуряющий аромат, как бы усыпляющий всех после веселого дня. Вековые липы, главная гордость Бульварного кольца, которые почему-то все были вырублены перед войной. Зимой – ослепительное сияние белого снега, который никогда не таял на горах по левую сторону бульвара, где дети с утра до вечера катались на санках. На углу бульвара и улицы Сретенки находился популярный у местных жителей кинотеатр “Хроника”, где я видел первый в жизни фильм про Иванушку и Бабу-ягу, очень меня напугавшую. В следующий раз я попал туда только после войны. По счастью, был цирк. От Сретенки множество переулков спускается к Трубному бульвару. В послевоенные годы это был очень многолюдный район, сердцем которого был Центральный рынок. Вокруг него было несколько барахолок, самая большая – на Трубном бульваре. Здесь шныряли сотни мелких воришек, жуликов и торгашей всякими трофейными мелочами: предлагали немецкие замки, ножики, фонарики, зажигалки, отмычки и т. п. На углу бульвара и Садового кольца несколько лет продержался небольшой колоритный ресторан “Кама”, пользовавшийся в этих местах дурной славой. И вот, в очень трудные для меня времена, в конце сороковых годов, я стал случайно частым гостем этого заведения.

После войны в нашей коммунальной квартире появилась странная молодая женщина по имени Лина, т. е. Акулина. Она работала нянькой у соседей, которые брали ее с собой в эвакуацию. Поэтому я ее раньше не видел. После войны она жила за занавеской, на большом сундуке в холле нашей квартиры: у нее не было своей комнаты. Она была одинока, набожна и очень молчалива. Но у нее была подруга из той же деревни под Рязанью, откуда обе приехали в Москву. У той судьба сложилась лучше: во время войны она вышла замуж за милиционера из нашего 61-го отделения милиции, у них была комната где-то рядом. Звали ее Тася, она работала буфетчицей в том самом ресторане “Кама”. Тася была быстрая, шустрая, веселая. Она любила всякие картинки, коврики, вышивки. Я ей дарил репродукции картин, и однажды она выпросила у меня большую акварель “Кувшинки”. Мне все равно хранить работы было негде,

и я их дарил всем, не жалея. Однажды Тася привела меня в “Каму” попить чайку с бубликами, посадила за столик возле буфета, и я просидел там целый вечер. На столе стоял самовар, чаю было много, денег с меня не брали. Тася всем объявила: “Будущий художник” – и сказала, что я ее племянник. В школе я никому не рассказывал о себе, о своих бедах, да никого бы это и не интересовало. Все были благополучные, нормальные. Коля Дмитриев погиб, и дружба с его семьей оборвалась. У нас в МСХШ были в моде беспечность и легкомыслие, никто ни к чему всерьез не относился. Популярны были дети “одаренных родителей”: Вася Ливанов, сын великого артиста; Женя Дунаевский, сын великого композитора; Дима Шурпин и Леша Гапоненко, сыновья сталинских лауреатов; Витя Селиванов, сын председателя Моссовета; Лева Солодовников, сын председателя Комитета по делам искусства.

Здесь же, в “Каме”, все были такие же лишенцы, как и я, с теми же проблемами лагерей, 101-го километра, паспортов, прописок, электричек и дырявых ботинок. Никто не выпендривался, никто ничем не кичился. Понимали друг друга с полуслова, с первого взгляда. Я выглядел, наверное, очень плохо, так как довольно часто случайные мужики, подсевшие за мой столик выпить рюмку водки, начинали вдруг расспрашивать меня о жизни и давать мне всякие полезные советы. Надо сказать, что в этом ресторане женщины бывали очень редко. Основные посетители – сосредоточенные деловые мужчины мрачного и таинственного вида. Мне казалось, они обсуждали здесь какие-то сделки, покупки-продажи. Пили много, все курили. Зимой сидели не раздеваясь, громко спорили, стоял шум, гомон. Компании часто менялись, подолгу не задерживаясь. Иногда играл оркестрик, выходил петь один и тот же певец с микрофоном. Чаще всего просили спеть “Журавлей”. Нигде официально, по радио эту жалостную песню не пели, но в любом дворе ее крутили тогда постоянно. А в “Каме” я видел, как мужики плакали. Начало песни было с надрывом: “Здесь под небом чужим я как гость нежеланный, слышу крик журавлей…” – очень в духе времени. Помню одного дядьку с наколками, который всё убеждал меня: “Перебей волну, перебей волну! Не плыви по волне, не плыви как все!” Трезвых не было, но добрых – много! Обстановка располагала к откровенности. Так я узнал много интересного и о войне, и о власти, и о всяких лихих делах в Москве. У меня в эти годы было постоянно подавленное состояние из-за матери, которая от безысходности сходила с ума, несколько раз была на грани самоубийства. И все равно она продолжала писать свои письма “любимому тов. Сталину” с

просьбой о московской прописке, о своем желании отдать все силы на благо Родины.

Поэтому искусство, учеба, рисование гипсов и натюрмортов были как бы в другом мире, очень далеко. Хотелось хоть изредка зайти в “Каму” и отвлечься от себя. Потом ресторан закрыли. Не помню уж, в каком году это было. Трубный бульвар стали называть Цветным, местная публика перекочевала в ресторан “Узбекистан” по другую сторону Трубной площади. Жизнь легче не стала, но стала, мне кажется, более бесцветной – по крайней мере, на Цветном. Однако через десять лет всё опять расцвело, уже по-другому. Ожил старый цирк рядом с рынком. Появился Юрий Никулин, великие дрессировщики, наездники. Появился новый кинотеатр “Мир”, во время кинофестивалей стояли огромные очереди. На другой стороне бульвара появилась “Литературная газета”, экспериментальная типография, где иногда печатали мои плакаты. Но проходя мимо, я всегда вспоминал бедный маленький притон, словно из фильма “Касабланка”.

Алиса Коонен

Моя школьная жизнь резко менялась в редкие и внезапные приезды моего польского дядюшки. Он всегда останавливался в гостинице “Москва” и сразу, на всю неделю, брал билеты в разные театры. Особенно любил оперетту и балет. Но как-то раз, не то в 47-м, не то в 48-м году, не вспомню, он повел меня в Камерный театр. Шла пьеса Ильи Оренбурга “Лев на площади”. Во время войны все читали его статьи против фашизма. Но сейчас его уже не печатали. И вдруг – пьеса! У кассы была толпа: комедия! Французский мэр против американцев. Они презирают Францию из-за клопов в гостинице, а те их – за то, что не знают Наполеона. Но в самом конце вдруг появляется на сцене “женщина из народа” с французским флагом – и всё меняется. Она, как фурия, заводит всех, глаза горят, красива как-то по-своему, странный голос, куда-то призывает. Зал взрывается овациями. Это Алиса Коонен. Через пару дней – “Оптимистическая трагедия”. Здесь она – Комиссар, главная роль. В черной кожанке с маузером, еще более красивая, утонченная, гибкая, стройная – ничего “бытового”. С первых минут приковывает взгляды – текст уже не важен. Женщина-мечта, уже не фурия, но сирена. Зовет матросов на смерть, а я чувствую, что готов бежать на сцену и спасать – настолько она была реальна. Чувствуется, что она как человек гораздо интереснее этой роли Комиссара. Хотя я знаю, что это образ Ларисы Рейснер, которая воевала вместе с теткой Ромой на Гражданской войне.

Имя Алисы Коонен я запомнил надолго.

Спустя год я уже сам взял в кассе билеты на “Адриенну Лекуврёр”. Мать три месяца как сидела в Бутырке после очередного ареста, настроение было ужасное, учеба не шла, хотелось отвлечься. У входа в театр – огромная толпа, какая-то нервозность, все о чем-то шепчутся. Я тогда был далек от театральной жизни, не знал о гонениях на Камерный театр.

Коонен снова была в ударе, играла с восторгом, вдохновенно, с явным волнением. Но весь спектакль, особенно эпизод “Федры” в античном костюме, казался мне тогда музейным памятником исчезнувшей цивилизации, осколком какой-то иной планеты. Рядом с событиями нашей жизни 1949 года страсти Федры казались наивны, странны. Но успех был бешеный, безумный. Цветы, аплодисменты, бесконечные вызовы. Только спустя время я понял, что попал на последний спектакль Коонен.

Отмените визу!

Летом 1949 года мать выпустили, но мало что изменилось. Мне, конечно, было очень жаль маму, измученную постоянными поездками на электричке на свой 101 км (а в то время электрички всегда были переполнены) – то в Петушки, то в Александров, то обратно, – да еще с сумками, с картошкой, капустой. Но переубедить ее было невозможно: она твердила, что хочет увидеть тот миг, когда ей вернут ее любимый партбилет. Мы бесконечно ходили в ОВИР, который в послевоенные годы помещался в одной маленькой комнате на Петровке и состоял из одного лейтенанта Рязанцева, по счастью, очень милого и вежливого человека, с бесконечным терпением принимавшего мамины прошения об отмене ее визы в Польшу, которая почему-то все еще действовала, с 1945 года.

В это время все ее польские друзья и знакомые, тоже бывшие лагерники, давно жили и работали в Варшаве, Лондоне, Париже – и очень неплохо работали: даже уговаривали мать отдать меня им временно на обучение в Сорбонне или в Кембридже, поскольку своих детей у этих революционерок не было. Более того – ее родной брат, мой дядюшка, в это время был уже замом министра обороны ПНР маршала К. С. Рокосовского. Он обещал сестре сделать из меня яхтсмена или горнолыжника – он был председателем этих армейских спортклубов.

Но мама не могла расстаться со своей Голгофой. Даже из Бутырок я получал от нее записки (кто-то пересылал): читаю ли я газету “Правда”? Читаю ли я Маяковского? И главное – чтобы я никогда “не сомневался в партии”, “ибо партия – это самое святое, что есть на свете”. Некоторые родственники считали, что это вбитый лагерями животный страх, но я так не думал, зная ее искреннюю одержимость коммунизмом, Лениным и всякими наивными утопиями. Ничто не повлияло на нее: ни собственные страдания, ни смерть любимой сестры, ни судьбы товарищей по партии!

Розы для Сталина

Мать рассказывала, что в 1937 году, когда ее после всех допросов и истязаний на Лубянке перевели, ничего не добившись, в общую камеру, первым человеком, которого она увидела, очнувшись от пыток, была Евгения Весник. (Мать известного актера Весника.) Мама рассказывала мне, что незадолго до ареста была в качестве корреспондента “Правды” на съезде жен командиров тяжелой промышленности, где Евгения Весник была председателем. И вот мать видит, сидя в ложе прессы, как Евгения, после выступления на трибуне, поворачивается лицом к президиуму, который был позади трибуны и чуть выше, – и вручает самому Иосифу Виссарионовичу огромный букет цветов! А “великий Сталин”, нагнувшись к ней, поднимает ее и на глазах всего съезда долго и с удовольствием целует! (Евгения Весник, по словам матери, была очень красива.) Мать видит все это вблизи и говорит себе, что отдала бы полжизни, чтобы быть на месте этой счастливицы! И вдруг эта Весник здесь, на Лубянке, в тюрьме! Дальше мать вспоминает такой диалог, произошедший между ними.

– Простите, Вы ведь Евгения Весник?

– Да, Вы правы, это я. А как Ваше имя? Кто Вы?

– А Вы ведь были председателем Съезда жен командиров тяжелой промышленности?

– Да, была! А теперь я староста этой камеры! А Вы были на съезде? Вы делегатка?

– Конечно! Сидела в ложе прессы, рядом с Вами, когда Вы дарили Хозяину потрясающе красивый букет алых роз! Как я Вам тогда завидовала! Как Он Вас целовал!

– Спасибо, что ж тут завидовать, а теперь мы вот вместе сидим в камере! Выпейте лучше воды, а то, я вижу, Вам совсем плохо. Но мы тут стараемся всем помочь и Вас не бросим! Не бойтесь! А что касается роз и поцелуев, то, может, из-за них мы и сидим здесь! Это такой стиль руководства у Хозяина. Забудьте об этом.

Мать потом говорила, что после этой встречи она вообще перестала понимать, что происходит, ей казалось, она сошла с ума: Евгения Весник и в этих условиях была все та же, организатор и душа коллектива. Они все еще надеялись, что кто-то разберется, что это ошибки. Потом их развели по разным концам ГУЛАГа, и больше мать ее не встречала.

Как после всего пережитого мать могла любить Сталина?

Вот и мамин брат-генерал после торжественного приема у

Сталина в составе делегации ПНР в 1947 году с трепетом и гордостью показывал нам сувениры с этого приема: коробку (пустую) от папирос “Герцеговина Флор” и коробок спичек, которые – вы не поверите! – Сталин держал в руках! А уж просмотр нового фильма с Вождем – незабываемо!!! Они смотрели “Сказание о земле Сибирской” рядом со Сталиным, ели пирожные, пили “Хванчкару”. Дядюшка, помню, как ребенок восхищался: “Как он прост, как он прост!”

Рядом с Дзержинским

У моей матери была младшая сестра Рома. В свое время Романа Езерская была довольно известным деятелем в Коминтерне, в Польской коммунистической партии и Коммунистической партии Франции. Сейчас все это так же далеко, как история Древнего Египта. В детстве я много слышал о ней рассказов и легенд, но меня никогда не увлекали эти истории из жизни революционной мясорубки. Все они были чем-то похожи одна на другую и все кончились 37-м годом, расстрелом, лагерями.

Тем не менее хотелось бы как-то о ней упомянуть, хотя бы в телеграфном стиле. Все сведения о ее биографии я получил в Госархиве в 2010 году. Привожу дословно.

Родилась в Варшаве, в 1899 году. Окончила гимназию, родной язык – польский, второй – русский.

1917. Чернигов – вступление в РСДРП.

1918. Гражданская война.

Секретарь Харьковского подпольного комитета комсомола.

Секретарь Белостоцкого подпольного комитета комсомола.

Секретарь Виленского подпольного комитета комсомола.

Секретарь Таганрогского подпольного комитета комсомола.

1919. Секретарь Ростовского подпольного комитета комсомола.

1919. Начальник политотдела 15 Инзенской стрелковой дивизии.

1920. Секретарь РВС Западного фронта.

1921–1924. Секретарь Президиума и коллегии ВЧК, уполномоченный следственного и юридического отделов.

26 января 1924. “Откомандирована в распоряжение Московского Комитета РПК”. На прощание Ф. Э. Дзержинский подарил Роме портрет Ленина. Я помню его уже сильно пожелтевшим, он долго сохранялся в нашей комнате: Ленин стоит, руки в карманах, во дворе Кремля. Скромная фотография в темной раме.

1924. Старший следователь Московского губернского суда (временно).

1924. Ответственный секретарь издательства “Молодая гвардия”.

1924. Кандидат в члены ЦК Компартии Польши.

1925. Секретарь подпольного комитета РКП Западной Белоруссии, г. Брест.

1926. Арест и тюрьма в “застенках Пилсудского”. Процесс ста тридцати трех.

1926–1932. Тюрьма в г. Лодзи, Польша.

1933. Москва. Аспирант Международной ленинской школы.

1935. Делегат VII Конгресса Коминтерна от Польши (мандат № 46).

1935. Отъезд во Францию на подпольную работу в качестве представителя Коминтерна. (Организация забастовок и демонстраций среди шахтеров Севера Франции.)

1936 июнь. Командировка в Москву.

1936. Франция. Представитель КПП при ЦК Компартии Франции.

1937. осень. Вызов в Москву, арест, Лубянка. (По свидетельству Я. Секерской – расстрел 26 декабря в коридоре Лубянки.)

1955, 23 ноября. (Справка) “Приговор Военной коллегии от и декабря 1937 года в отношении Езерской-Вольф Р. Д. по вновь открывшимся обстоятельствам отменен, и дело за отсутствием состава преступления прекращено”.

В 1975 году вышел сборник под пафосным названием: “Без них мы не победили бы” (Москва, “Политиздат”). Он посвящен женщинам в Революции и Гражданской войне. Там есть большой очерк о жизни пламенной революционерки Р. Езерской, написанный моей матерью.

В 2008 году в издательстве “Кучково поле” вышла очень содержательная и, как ни странно, даже красивая книга – фотоальбом “Чекисты, история в лицах”. В этой книге, построенной согласно иерархической схеме ВЧК – ГПУ, биография тетки Ромы (правда, с некоторыми ошибками) идет сразу за биографиями председателя ВЧК Ф.Э. Дзержинского и его заместителя И.С. Уншлихта. В течение трех лет она была их личным секретарем. Впрочем, сейчас все эти тонкости ни для кого не имеют значения. А в то время, для девушки двадцати трех лет, это было предметом невероятной гордости и счастья, о чем она не раз писала в своих письмах.

Для меня “тетка Рома” осталась в памяти веселой, коротко стриженной, на фоне какой-то узкой и тесной комнаты. Это был ее номер в гостинице Коминтерна “Люкс” на улице Горького. Мне было тогда почти четыре года и я любил пирожные эклер. Мама мне рассказывала, что тетя Рома прилетела из Парижа, что это очень красивый город, и я, помню, идя в гости, очень надеялся, что она привезла мне эти пирожные. Свое глубокое разочарование питанием революционеров я хорошо помню.

Кроме пустого бульона из кубиков, ничего не было.

Осталась от нее кучка выцветших мандатов, удостоверений, пропусков и две потертые фотографии.

Ни семьи, ни детей, ни своего угла. Всё отдано борьбе за освобождение рабочего класса – и в письмах, даже из польских тюрем, всегда сообщала, что “всем довольна и счастлива”.

Просто какая-то психологическая загадка. Вот строчки из записки, переданной на волю с Лубянки, в декабре 1937-го (на польском языке):

“…Главное, мои дорогие, чтобы у вас не было никогда никакой обиды на партию”.

Обиды как будто и не было. Только сама партия исчезла: “Утонула в реке истории, прихватив с собой несколько миллионов доверчивых молодых душ” (М. Кундера).

Диалоги на Лубянке

От пребывания на Лубянке у матери сохранились настолько страшные воспоминания, что она сама не хотела в них верить и тем более о них говорить. Лишь иногда, косвенно, и то уже после реабилитации мне удавалось что-то услышать. Всё это время, проведенное в одиночной камере, бесконечные допросы, изощренные пытки она считала страшным сном, который не надо даже вспоминать. Не надо в первую очередь потому, что опровергается вся ее вера в Человека, в добро, в те идеалы, на которых она воспитывалась в семье.

Это были идеалы романтической литературы XIX века, и русской, и польской, которые привели ее в Революцию, к Ленину, к советской власти как воплощению свободы, братства и добра. А следователи на Лубянке, молодые деревенские парни вдвое ее моложе, не читавшие ни Маркса, ни Ленина, ни вообще, похоже, ничего, кроме передовиц "Правды", – не верили ни в бескорыстность, ни в идеалы добра. Когда мать говорила, что вступила в партию под влиянием выступления Ильича на митинге, они смеялись ей в лицо: "Рассказывайте сказки! Лучше признайтесь сразу, в пользу какой разведки собирались шпионить? Какие цели преследовали? Сколько вам платили?" Пытаясь доказать свою преданность, мать упомянула о дружбе с Крупской. Этим навлекла на себя еще худшие пытки. "Тогда напишите заявление, что никакого «Завещания Ленина» не было!" – "Но я же не Ленин, только он сам мог бы это подтвердить". – "А вы не умничайте, а пишите, что это вам Крупская говорила". – "Мы с ней об этом не беседовали". Тогда следователь стал ломать ей пальцы. Просто, спокойно, с улыбкой глядя ей в глаза, брал своей рукой и ломал. (Так у нее и остались сломанные два пальца на всю жизнь.) Мать потрясло, что никакие заслуги перед партией и Революцией здесь ничего не значили, все ответы были заранее готовы и написаны, а от нее ждали только подписи под нелепым, фальшивым "признанием". Она сразу сказала себе: "Нет, никогда, лучше умереть".

Еще был такой "анекдотический" момент, который в числе других приоткрыл ей те бездны обычной человеческой подлости и глупости, о которых она никогда понятия не имела. (Мать ведь читала только "советскую" литературу и поэзию!) В своей одиночке она пыталась понять: за что же ее взяли? За мужа, за сестру, за Виталия Примакова – друга юности или за Уншлихта – друга сестры? Оказалось, поводом послужил донос в несколько строк, безграмотно написанный шестнадцатилетней девочкой

Олей Протопоповой, которую она, будучи завотделом “Учительской газеты”, взяла к себе на обучение. (Через сорок лет мать встретила эту Олю в качестве зав. отделом морали в “Комсомольской правде”.) Этот донос и послужил “поводом к аресту”, по словам всё того же следователя НКВД. Но ни она, ни ее сестра Романа никаких показаний ни на кого не дали, и в записи об осуждении у матери стояло: “Пять лет без предъявления обвинения”.

Белеет парус

Летом опять практика на Оке, на этот раз в Поленове. И наш тогдашний педагог А.Г. Сукиасян очень хвалил мои этюды. Но я, помню, совсем не мог сосредоточиться на работе – в голове всё проблемы бытовые, домашние. Не было Коли, чтобы меня организовать. Все спрашивали: что с тобой? Чего не работаешь? Сукиасян говорил: “Что ты все ходишь, как Евгений Онегин?”

К этому времени, к 48-му году, относится знакомство с писателем Валентином Катаевым. Получилось так, что мать написала ему письмо как нашему депутату с просьбой о помощи, и он пригласил меня к себе домой, в Лаврушинский. Катаева я запомнил как крупного, загадочного, очень “важного” и красивого мужчину. Я не совсем таким представлял себе автора книги “Белеет парус одинокий”. Принял он меня очень ласково, снисходительно, поил чаем, рядом – красивая женщина, с которой он обменялся фразой по-английски. Оказалось – его жена. Катаев много расспрашивал меня о художественной школе, о том, кто там учится, откуда эти дети, кто педагоги. Спрашивал, кто преподает литературу, хорошо ли. Я рассказал ему о своем споре с училкой, которая нас убеждала, что в стихах Маяковского “Багдадские небеса” – это город Багдад в Ираке, а я говорил, что это селение Багдади в Грузии, и меня за это выгнали из класса. Он стал спрашивать, знаю ли я раннего Маяковского. Я как-то замялся, и вдруг он откинулся в кресле, преобразился – и стал читать, рубя воздух рукой в ритм, низким глухим голосом: “Дым табачный воздух выел…” Читал он, конечно, очень хорошо, как бы для себя. В конце Валентин Петрович даже сказал, что мог бы меня усыновить. Я после этого бывал еще несколько раз у него, познакомился с его детьми. Потом он куда-то уехал и поручил меня своей секретарше, Елене Эрастовне Блок. Она жила в этом же доме, этажом ниже, и была замужем за братом Александра Блока, Георгием. Для меня это была как бы зримая связь времен, связь с “той” эпохой. Елена Эрастовна была у Валентина Петровича не только секретарем, но и редактором, как тонкий знаток русского языка. Очень было интересно с ней говорить на литературные темы. Она была гением беседы. Разговоры наши она выстраивала сложно и красиво. Когда у нее было время, мы сидели вдвоем, и я с восторгом слушал ее рассказы о литературных битвах. К сожалению, в силу каких-то внешних обстоятельств эти беседы прервались, и я не решился снова себя навязывать.

Человек искусства

В октябре 1949 года в ЦДРИ открылась первая выставка Коли Дмитриева. Она имела по тем временам огромный успех. В книге отзывов остались высказывания Игоря Грабаря, Сергея Конёнкова, Веры Мухиной, Бориса Пастернака, Павла Корина, Самуила Маршака. А с искусствоведом и директором ЦДРИ Н. В. Власовым я близко познакомился. Он пригласил меня к себе домой. У него было небольшое, но блестящее собрание работ русских художников: Брюллова, Ге, Сурикова, “Муза” Врубеля, потрясающие пастели Левитана. А сам Николай Васильевич был таким же скромным человеком, как все люди узкого круга истинных ценителей и подвижников культуры. Эти люди прекрасно понимали и “старое” искусство, и новое. Новым тогда были “Голубая роза” и “Бубновый валет”; советский авангард двадцатых стали ценить значительно позднее.

Когда Н. В. Власов показывал свою коллекцию, я обратил внимание, что рядом с великими именами, известными по Третьяковке, у него были художники, имен которых я никогда не слыхал. Он гордился ими так же, как и остальными. Я по глупости спросил его об этом. Он ответил неожиданно серьезно: “У нас, знаете ли, много художников было с очень трудной судьбой, особенно в нашем веке. Почти никому не удалось полностью раскрыть свой талант, по разным причинам. Родись Сапунов и Судейкин во Франции, у них бы была другая судьба. Они бы сделали гораздо больше. Их искусство было бы всем известно! А у нас они лежат в запасниках, и будут лежать! А уж какой-нибудь Уткин – и говорить нечего. У него всего-то мы знаем две-три картины. Или вот Филонов – знаете его? Так что если вдруг станете коллекционером – смотрите не на подпись, а на качество вещи, разговаривайте с автором – что он хотел вам сказать. Если услышите его голос (тут он постучал об пол своей тяжелой тростью), если картина вам что-то говорит – берите ее, она ваша, будет вас греть. Может быть, и автор когда-то зазвучит. Вот и вашего друга Дмитриева вчера еще никто не знал…”

Я слушал Николая Васильевича молча, стараясь все понять и запомнить. Это был первый искусствовед, который со мной так серьезно разговаривал.

В гостях у Льва Кассиля

После Колиной выставки появился в школе писатель Лев Кассиль. Он был в те годы очень популярен. Он решил создать книгу о Коле и попросил ребят нашего класса написать о нем воспоминания. Но поскольку Коля был в школе очень скромен и сдержан, никто ничего о нем не помнил, хотя все сходились, что “гений”. Только две девочки и я что-то написали. Заинтересовался он в основном моей писаниной. Он был женат на дочери великого певца Леонида Собинова, жил в мемориальной его квартире в Камергерском. Это была большая квартира, целый музей, все было гораздо шикарнее, чем у Н. В. Власова или В. П. Катаева (я уже мог сравнивать!). Одна большая комната была сплошь завешана огромными картинами, которые, как мне показалось, излучали свет. Я впервые увидел “театральную” живопись – искусство особого рода, искусство праздника, карнавала, феерии: это были эскизы декораций Анисфельда, Коровина, Бакста, Головина. Весь спектр великих художников этого жанра (подарки Л.В. Собинову). В столовой – коллекции фарфора, на стенах – декоративные тарелки, гобелены. Все это меня крайне удивило – как же живет с этим “модерном” столь советский писатель, как Кассиль?

Ну, это детали, конечно. Главное – он с интересом выспрашивал обо всем, что я помнил. Приходил я к нему несколько раз, всегда он приглашал на обед и был сама любезность. Затем он уехал в Крым, и через три недели привез готовую книгу. Я был очень разочарован – слишком многое он выдумал “для сюжета”: пионеры, девочки, романы, какие-то “плохие” дети. А то, что я, по своей наивности, хотел внушить классику детской литературы: скромность Коли, чуткость его родителей, историю семьи, влияние традиций “Мира искусства” на всех нас – оказалось ненужным. Тем не менее книга мгновенно стала бестселлером, выдержала 14 переизданий на многих языках. Лев Кассиль еще несколько лет таскал меня по всяким читательским конференциям, хоть я и не мог из себя выдавить особых комплиментов. А родители Коли эту книгу совсем не приняли.

Спустя несколько лет, когда меня “завалили” на вступительном экзамене в Полиграфический институт, Лев Абрамович очень благородно решил мне чем-то помочь. Его письмо тогдашнему министру высшего образования Кафтанову начиналось словами: “У нас, советских писателей, существуют обязательства не только перед своими читателями, но и перед

героями наших книг”. Я был очень горд, попав в герои, но, к сожалению, письмо не помогло.

Володя и Ванда

Если не считать “эстетических противостояний”, связанных исключительно с личными вкусами, во всем остальном учеба в МСХШ запомнилась как прекрасные годы жизни. Обо всех приключениях этих лет можно бы писать отдельно. А еще была практика в селе Ислaвском на Конном заводе №1, практика на Украине, под Каневом на Днепре.

Педагоги по всем предметам тоже были яркие, своеобразные, все личности. По специальности были педагоги замечательные, но, к сожалению, все прошли мимо меня. Запомнилась преподаватель истории Ванда Исааковна Бейлина по прозвищу Ванда. Она вела себя очень по тем временам свободно, давала нам намного больше знаний, чем было в учебниках. (Из-за этого я впоследствии “сгорел” на экзаменах в Полиграф.) У нее был умнейший муж Володя, философ, профессор университета Западной группы войск в Берлине. Много лет спустя попалась поразившая меня его книга “Мышление как творчество”. Он был фанатик ЛЕФа, собирал все их издания, дружил с В. Шкловским и Лилей Брик. Ванда и Володя меня часто звали в гости, я им дарил свои работы, которые они называли “социалистический экспрессионизм”. Володя любил читать вслух стихи “левых” поэтов: Хлебникова, Крученых, Маяковского, пытаясь обратить меня в свою веру, оторвать от символистов, от Блока. Володя объяснял мне азы конструктивизма, поэзию абсурдистов, футуристов. Было сложно. Но дружба с этими людьми, их “левые” вкусы очень помогли мне, когда я начал работать самостоятельно.

Речка Воря

В школьные годы, летом и осенью, в свободные дни я старался уехать куда-нибудь из Москвы на электричке. Ездил один – для того, чтобы больше увидеть и запомнить, не отвлекаясь на пустую болтовню, на выпивки и не подвергаясь давлению чужого мнения. Я заметил за собой, что мне всегда как-то лень защищать свое мнение в спорах, тем более что я сам всегда в нем сомневался. Поэтому предпочитал одиночество.

Конечно, иногда получалось по-иному. Так, помню, мы ездили на этюды в Абрамцево, на речку Борю в октябре какого-то года с Олегом Целковым. Олег был очень в себе уверенный парень, но тут вдруг стал задавать вопросы: “Как это ты видишь так здорово колорит – черное, золотое! Точно, по настроению всё, но я это не вижу!” Я говорю (гордо!): “Олег, я выбираю из этой «каши» натурной только те цвета, которые содержат в себе «символику» сюжета. Это как раз черное (елки) и золото берез”.

Я сказал не думая, спонтанно. А Олег запомнил надолго и спустя 45 лет надписал на своем каталоге: “Старинному другу и в чем-то даже наставнику”. Я тогда удивился, спрашиваю его: “Олег, о чем ты?” И он напомнил мне этот разговор в Абрамцево.

С Олегом, которого я очень люблю, как и всех “наших”: Илью Кабакова, Эрика Булатова, Володю Янкилевского, Ваню Чуйкова, – был связан один смешной случай. Сидел я как-то в Министерстве культуры СССР на Неглинной в кабинете А.С. Халтурина, начальника тогдашнего Управления ИЗО. Вдруг с треском хлопает дверь и врывается Евгений Евтушенко, кричит прямо с порога: “Что это творится, моего друга Целкова не выпускают, требуют с него 20 тысяч за вывоз своих же работ, которых у него никто никогда не покупал! Копейки за них государство не давало! Вы меня знаете, я скандал устрою!” Халтурин стушевался и обещал разобраться. Жаль, тогда у Олега в его Орехово-Борисово не было даже телефона – хотел ему рассказать! Все-таки Евтушенко помог Олегу, его выпустили без денег, заставили только оставить для Министерства 40 штук графики. Он уехал по приглашению фонда “Maeght” в Париж и остался там навсегда.

Плещееве» озеро

Вернусь к поездкам. Еще где-то в 49-м году я был в Троице-Сергиевой лавре. Из нее на попутках поехал куда глаза глядят. Доехал до села Хомяково, там переночевал. И пошел утром пешком по какой-то узкой мокрой тропинке. Через овраги, через ручей – поднялся на высокий глинистый обрыв и вышел к крохотной деревне в 10–15 дворов. Она уместилась на вершине холма, с которого во все стороны открывались бесконечные синие лесные дали, просто лесное море. Мне всегда хотелось найти какую-то “свою” деревеньку, которую никто бы не знал, кроме меня. И я понял, что – вот она. С трех сторон овраги, дороги нет, просто затерянный мир. Тишина. Мужики говорят: “Это деревня Псарево! А ты не знал, что ль?” – “Не знал, спасибо”.

Ездил в эту бедную деревеньку года три подряд, всё как-то ненадолго, по нескольку дней, но ощущение этой красоты природы, какое-то щемящее от соседства с бедностью и безнадежностью людей, осталось на всю жизнь, как символ неразрешимого до сих пор противоречия под названием “любовь к Родине”. И еще эти вечные низкие облака во весь горизонт.

Следующее сильнейшее впечатление – Переславль-Залесский. До него от Загорска – только автобус, два раза в день, тихоходный и битком набитый. Там бывал чуть подольше, но голод был тот же. С огорода – только лук, а вместо деревенского молока – самогон. Пили буквально все! Весной, ночью с факелами ловили на озере корюшку – местную селедку. Это был праздник. Я жил всегда у тети Саши, в устье реки Трубеж, где на мысу, почти в воде, стояла церковь XVIII века, заколоченная. В старой избушке тети Саши копировал висевшие в углу иконы, еще не понимая их смысл.

Потом, спустя много лет, я написал большой пейзаж “Плещеево озеро”. Его купила одна серьезная дама. Вдруг через год она мне позвонила: “Я так полюбила ваше «Озеро», что мне захотелось на нем побывать. И вот теперь я купила там дом и счастлива! Спасибо за Плещеево озеро!”

Ездил в Боровск, Суздаль, Владимир. Знаменитые соборы возвышались среди толчеи старых черных домишек и бараков как белые парусники, облепленные грязным ракушечником. Казалось, эти города обречены на тихое угасание. Спас их туристический бум семидесятых.

Вспоминаю послевоенный Ленинград, куда я впервые приехал осенью 1948-го. Много было разрушений, но от этого то, что сохранилось, было еще прекраснее. Ездили в Териоки, в Репино –

от дачи Репина остался один фундамент. Война была еще совсем рядом. Были на Валааме – вместо скитов только груды камней. Но самое страшное впечатление производил Петергоф. Вместо вокзала – голый черный скелет искореженной арматуры, только дыры от снарядов и пуль. От фонтанов не осталось и следа. Ничего еще не начинали восстанавливать, горько было смотреть.

Гоголь и декаденты

Все великие события были еще впереди, а пока шел 1952 год. Москва отмечала юбилей Н. В. Гоголя на фоне дела врачей-убийц. У нас в школе был объявлен конкурс на лучшую иллюстрацию по его произведениям. Я спохватился, как всегда, в последний момент, взял в библиотеке “Вечера на хуторе близ Диканьки” и сразу же остановился на “Вечере накануне Ивана Купалы”. Атмосфера этого рассказа, его мрачная мистика показались мне очень созвучными тому, что происходило вокруг в это время. Мне совсем не хотелось рисовать общепринятые подсолнухи и шаровары. Хотелось наконец выскочить за рамки школьного благостного “чистописания” и выразить свое, ни на кого не похожее размышление о жизни.

Все делали на конкурс по одной картинке, а у меня получилось штук 8-ю, точно не вспомню. Они выстроились в целостную серию черной акварели, 15 × 20 см и напоминали некую “раскадровку” для фильма.

Начиналось с солнечных, светлых листов, где герои то стояли под облаками, то шли в цветущих вишнях. А затем в эту идиллию вторгается темное зло в виде черта – Басаврюка, разъедает светлое пространство и в конце концов занимает его целиком. Экспозиция конкурсных работ занимала весь наш длинный коридор. Но я висел в самом центре, на отдельном фоне.

Организаторы выставки все премии решили присуждать по книге отзывов. Согласно подавляющему большинству этих отзывов, присудили мне главный приз – первую премию. Все меня поздравляли, особенно с тем, что я получу новый этюдник с красками, что было у каждого ученика недостижимой мечтой.

Вручение премий должно было состояться в тот же день вечером, на общем собрании в актовом зале. Но за час до этого приехал наш шеф, академик Соколов-Скаля, один из столпов соцреализма. Мой тогдашний педагог, партийный секретарь и большой интриган, обратился к нему со слезной жалобой. Подведя его к моим работам, он стал говорить: “Смотрите, что в школе творится! Награждают такие упадочные, пессимистические гадости! Формализм и декадентство, увлечение Врубелем! И за это дают главный приз! Где же Гоголь – певец народной жизни, где украинский колорит! И ученик этот – сын врагов народа, так что все не так просто!” Я сзади стоял, невдалеке, и все это прекрасно слышал. Вечером, на общем собрании, академик гремел с трибуны: “Позор! Государство дает вам деньги! А вы? Занимаетесь декадентством, формализмом, обожаете Врубеля –

этого антисоветчика! Надо учиться у Репина, у Верещагина, с натуры работать! Позор!”

Короче, дали первый приз за какую-то скульптуру, второй приз еще кому-то, потом пошли третьи премии, штук пять, им давали книжки. В самом конце вызвали меня. Вручал наш завуч (Н. Башкатов) по кличке Бушприт (директора уже сняли), и вдруг – он выносит мне огромный тяжелый пакет, перевязанный веревкой, и шепчет на ухо: “Ты не расстраивайся, мы тебе твою первую премию сохранили. Всё тут! Только молчи!” А на следующий день все мои картинки были с выставки украдены учениками. У кого две, у кого пять осталось, а у меня – ни одной. Я даже сам осмыслить не успел, что я сделал, хорошо это или плохо.

Могила Гайдара

Летом 1952 года у нас была необычная летняя практика. Большая группа старшеклассников отправилась на Украину, за Днепр, в район города Канева. Днепр запомнился красивыми крутыми берегами, зелеными рощами дубов и каштанов на склонах.

Но мы направились мимо всей этой красоты в глухую плоскую степь, где в том году была страшная засуха, в селах стоял плач и стон: весь урожай пшеницы погиб, вместо золотых колхозных полей – бурая сухая стерня. А мы должны выдать патриотические картины с комбайнами, в духе Татьяны Яблонской. Что делать? Некоторые стали тему высасывать из пальца, по чужим образцам. Я хотел все же найти какой-то свой сюжет и по привычке побрел куда глаза глядят. Через пару часов блужданий по жаре вышел на высокий обрыв над Днепром. Увидел кирпичный дом, похожий на школу, подошел. Кругом пусто, все живое спряталось от солнца, но у крыльца школы сидит, как на картинке, седой старик в меховой телогрейке, курит длинную цигарку. Стали разговаривать, он оживился, я угостил его теплым армянским коньяком из фляжки, которую всегда носил в этюднике. Он мне насыпал жареных семечек. И так, слово за слово, вдруг он говорит: “А ведь здесь рядом погиб писатель Аркадий Гайдар. Я тогда, десять лет назад, уже сторожем был при школе, он у нас жил, потом ушел и погиб”. – “А как же погиб?” – “Да он из Киева к нам шел, когда немцы вошли и Крещатик взорвался. У него здесь был пулемет, ручной. Внизу у Днепра немцы днем купались голые, он разозлился и с обрыва их всех и положил из своего пулемета. Ну и его тут убили. Пойдем, покажу его могилу”. Пошли. На ровной площадке, в кругу пышных акаций, низкий холмик, весь в белых петуниях. В головах растет белая березка, и три девочки лет по десять-двенадцать что-то хлопочут вокруг, поливают, подметают. Уже завечерело, кусты темные, небо золотое. “Вот и сюжет!” – подумалось как-то сразу. Быстрей открыл этюдник и за полчаса намазал картонку – “схватил” колорит всей сценки. В общем, действовал по всем канонам реализма: от этюда – к картине. Мог ли я тогда подумать, что меня мой педагог обвинит в упадочности и что меня выгонят с живописи за абсолютно реалистическую картину?

В ноябре опять пришли с обыском, в связи с делом врачей. Очень удивились, что нашли одни газеты и журналы. Набрали два мешка “на изучение”. На этот раз были в штатском и ушли в 10 часов вечера. С ними был дворник, все тот же еще крепкий дядя

Левон, что и в 1937, и в 1949 году. Когда я его увидел, был уверен, что уже пришли “забирать”, и, помню, долго еще не мог отойти. Мать жила в Петушках, но у нее не было ни адреса, ни телефона. Мне надо было с кем-то поделиться, и я ничего лучше не придумал, как позвонить маминой хорошей знакомой, Лидии Августовне. Поистине, что Бог ни делает, всё к лучшему. Оказалось, это просто замечательная женщина, с ясным, уравновешенным и мудрым взглядом на жизнь. С ней можно было говорить на любую тему. Они с матерью были одного возраста, сидели в одном лагере, но насколько же они были разные по характерам и взглядам; тем не менее любили друг друга искренне: на категоричность одной накладывались уступчивость и ирония другой. Всё не случайно: Лидия Отмар-Штейн – дочь царского полковника, до революции – коменданта Харбина, из потомственных немецких баронов. Судьба свела ее в годы революции с Дмитрием Фурмановым, она описана в его романе “Мятеж” под именем Раечки, секретарши командира. Она обладала большим чувством юмора и меня убедила с юмором смотреть на происходящее. Она жила у Земляного Вала, в коммуналке и вела по-немецки строгий, спортивный образ жизни. В свои шестьдесят лет бегала на лыжах, плавала, не курила, делала гимнастику “по Мюллеру”. Я до сих пор часто вспоминаю наши беседы. Лида рассказывала о Фурманове, о наивности и романтизме своих юных лет. “Знаешь, Виталий, жизнь груба, потому что она живая. А всё идеальное – мертво, оно живет только в книгах. Не верь книгам!”

На Арбате

В конце сороковых годов на старом, уютном и многолюдном Арбате было одно заведение, которое кроме скучной вывески “Фотография” обладало еще и собственным, по-старорежимному звучащим именем – “Свищов-Паола”. В окне первого этажа были выставлены большие черно-белые фотопортреты томных роковых красавиц и загадочных жгучих брюнетов – глядя на них, моя мать сказала: “Гнездо недобитых буржуев”. Располагалась эта “Фотография” прямо напротив Плотникова переулка, в старом доме, где жил один странный ученик нашей МСХШ – Боря Пашков, обладавший пышной гривой иссиня-черных волос и вечно горящими черными глазами, недоверчиво и как-то испытующе смотрящими на мир.

Однажды он пригласил меня к себе в гости. Крохотная комнатка с высоким узким окном во двор была снизу доверху увешана репродукциями картин всех эпох и стилей начиная с фресок Древнего Египта и кончая рисунками Обри Бёрдслея и каких-то неизвестных мне авторов стиля модерн. Я всегда, если чего-то не знаю, не стесняюсь задавать вопросы “в лоб”. “Кто это?” – и на меня посыпались неизвестные имена. Я-то думал, что, изучив Серова, Врубеля, Нестерова, знаю всё об искусстве. Но видимо, океан искусства бесконечен. “Вот смотри – Ходлер, вот Бёклин, акварели Родена! Вот мой любимый Фелисьен Ропс – «Женщина со свиньей». Вот только что купил у букинистов: такая смешная дама, почти карикатура – но как остро увидено. Густав Климт, «Даная». Вот русский наш, Сапунов, никто его не знает. А это Норвегия, Мунк. Называется «Страх». Вроде и нарисовано плохо – а как выразительно! Я их всех обожаю. Это все художники искренние, индивидуальные! Они не ученики послушные. Они не торгуют своей выучкой, а какие-то мысли выражают, думать заставляют!” – “Борь, это всё там, в Европе, а у нас – какие мысли! Хлеб, чай, картошка! Да у меня в голове – 101 километр, мать, ее прописка, паспортный стол, полковник Козырев…

“Ну и что, наплевать! Смотри кругом – какие женщины! Надо только их видеть!” – “Это какие же – которые шпалы кладут, сваи забивают?” – “Да, ну и что – они тоже люди! Вот Дон Жуан ко всем относился одинаково – и к графиням, и к служанкам! Вот за что я люблю эпоху модерна – она ценит каждого человечка, каждую личность, а не только князей и богачей. В модерне все равны – каждая уродина может стать моделью художника. Модерн, который у нас называют упадком, декадентством, – великая эпоха! Модерн показывает, что человек – часть природы,

что он сродни и цветку, и дереву, и птице – потому что он часть органического, природного мира, а не только строчка в отделе кадров! У нас если ты директор или парторг – ты величина, человек. А если уборщица, продавщица – ты никто! А ведь каждая судьба – это только случайность. Вот ты сейчас – враг народа, а если бы твоя тетка-чекистка или твой отец-комиссар на Гражданской войне не отдали бы всю власть Сталину – где бы ты сейчас был? Наверное, меня бы в упор не видел! А по философии модерна все равны, и ни деньги, ни звания не важны для художника. Важно одно – талантлив ли ты, есть ли у тебя свой взгляд, свой почерк, свое лицо. Ненавижу я нашу скучную жизнь, хочу отсюда уехать куда-нибудь и тебе советую!”

Прошло лет тридцать. Мы с женой Таней были в Варшаве и однажды поехали в киноклуб где-то на окраине города. Поехали, чтобы увидеть новый фильм с Джеком Николсоном и нашей любимой актрисой Доминик Саида – “Поговорим о женщинах”, и вдруг вижу, в зале – Борис Пашков. Все такой же жгучий брюнет с густой шевелюрой. Разговорились: женат на польке, живет в Варшаве, счастлив. Про искусство не говорили. Мы обнялись и разошлись в разные стороны…

Судьба антиквара

Я уже два или три года проучился в художественной школе, когда в наш класс приняли нового ученика по имени Дима. Иногда делали такие исключения, когда директор не мог отказать влиятельным людям. Дима этот очень старался догнать класс, акварель давалась ему неплохо, а рисунок был совсем слабый. Как-то мы оказались на уроке рисунка рядом, рисовали натурщика. У него ничего не получалось, он очень нервничал и стал спрашивать у меня, как ему быть. Я уже прошел школу Н.К. Соломина и стал объяснять Диме, с чего начинать и т. п. Он, видимо, ко мне проникся доверием и через несколько дней стал приглашать меня к себе домой. Рассказал, что его отец очень любит искусство, коллекционирует японские гравюры и хорошие книги по современному искусству. Мы тогда еще понятия не имели, кто такие импрессионисты, Пикассо, Шагал. В Музее изобразительных искусств им. Пушкина вся история искусства кончалась на Курбе и Милле. А Дима обещал показать подборку книг издательства “Skira”, которые отец покупал в букинистических магазинах. Дима жил с отцом в новом сталинском доме на станции Новая в самом конце шоссе Энтузиастов, в отдельной квартире, что тогда было большой редкостью. Отец его был главным экономистом в каком-то министерстве. Это был пожилой (как мне казалось), грузный человек начальственного вида, с толстой нарядной тростью и громким барственным голосом. Имени его, каюсь, не помню. Он встретил меня настороженно, но когда выяснилось, что я тоже поклонник “японцев”, сразу подобрел. Но я видел только их репродукции в старых английских журналах “Studio”, и то в библиотеке им. Ленина. Поэтому когда у меня в руках оказался подлинный большой лист Хокусаи, знаменитая “Волна” – я чуть не задохнулся от восторга. Это было что-то божественное, совершенно фантастическое по мастерству и виртуозности исполнения. Я на всю жизнь проникся красотой настоящей графики, не уступающей по силе воздействия никаким другим искусствам. Потом пошли великие женские портреты Утамаро, пейзажи Куниёси и других японских мастеров. Загадочное и непостижимое искусство.

Всего в огромной папке было 150 листов, которые в конце XIX века привез из Японии еще дедушка Димы. Кроме гравюр, у них была уже большая коллекция японских нэцкэ, русский старый фарфор, много антикварных мелочей, большая библиотека книг по искусству, в основном итальянских. Я подумал, что, живя в

такой обстановке, просто нельзя не стать художником. Отец Димы пригласил меня пройтись как-нибудь по антикварным магазинам. “Мой сын в этом ничего не понимает, а мне одному скучно”, – объяснил он. И действительно, несколько раз мы с ним совершили такие походы. Начинали обычно с “Метрополя”, затем Арбат, затем лавки на улице Веснина, на Смоленке, на Тверской. Отец Димы любил щегольнуть перед продавщицами своей эрудицией и знанием старины.

“Девушка, что ж у вас на этикетке написано – «Репетир XVIII век»! Это же явно начало XIX века”. Или: “Девушка, покажите мне вон того Гарднера! Да что вы мне Попова даете, не отличаете, что ли?!” Все продавщицы его узнавали и, по-моему, – терпеть не могли. Он познакомил меня со знаменитой Анной Федоровной в отделе гравюр на втором этаже “Метрополя”. Я общался с ней до середины семидесятых годов. Она считала, что у меня хороший вкус, и иногда даже звонила мне домой с какой-нибудь просьбой. Иногда мы заходили с отцом Димы в его любимое кафе “Артистическое”, где он подчеркнуто шумно, стуча тростью, здоровался с Масальским или Топорковым. Казалось, он знал пол-Москвы.

Но вот где-то в начале пятидесятых в школе, на переменке Дима с бледным перекошенным лицом тащит меня в уголок и говорит шепотом: “Отца арестовали! Обыск был – всё забрали! Все гравюры, все коллекции, книги, все его вещи!” Мне вдруг показалось, что в этих словах – вся суть ареста. И как-то машинально говорю: “Не плачь, я думаю, его ненадолго забрали – выпустят! Он им не нужен!” Проходит два или три месяца. Опять на переменке Дима бросается ко мне, радостный: “Выпустили! Ты точно угадал! Заставили отказаться от всего!” Я потом как-то позвонил поздравить с возвращением. Отец Димы сказал каким-то не своим, чужим, тихим голосом: “Лучше бы они меня расстреляли”. Вскоре он скончался от инфаркта. А еще через год, уже окончив школу, Дима повесился.

В конце восьмидесятых я спрашивал в Музее Востока про эту коллекцию гравюр, там ее не было.

Последняя капля

Итак, эпизодом с вручением премии битвы с моим педагогом не кончились. Он, будучи моим преподавателем живописи последние два года, буквально ломал и крушил те слабые зачатки какой-то оригинальности, которые начали у меня проявляться.

Возможно, он хотел лучшего, возможно, я очень заблуждался, но со временем его ненависть ко всему, что я делаю, стала просто патологической. Он требовал от учеников срисовывания натуры, а я хотел из каждой постановки или портрета сделать нечто свое. Чтобы был не робкий этюд, а нечто осмысленное. Он брал мою палитру, добавлял еще полтюбика белил – и все это смешивал в “фузу” серого цвета. А потом замазывал то, что было у меня. Это бы полбеды. Окончательно он разозлился, когда я привез с практики картину “Могила Гайдара”. Кричал: “Опять вы за свое! Что это такое – надгробный плач? И что за формат, где вы это видели? Икон, что ли, насмотрелись? Вы что, не знаете, что есть золотое сечение, что вы ученик, не художник? А у вас формат 3:1! Это формализм чистой воды! Не хочу с вами работать, уходите!” И дымя папиросой, бросал на холст пепел. Не желал слышать объяснений. Между тем из других мастерских приходили коллеги посмотреть, и все сходились на том, что картина получилась, что не стоит обращать внимания. Но было уже поздно. Я ушел с диплома, поняв, что он меня доломает.

Сумерки богов

Последние месяцы жизни Сталина были отмечены в Москве мрачной атмосферой страха, подозрительности, почти первобытного ужаса, как перед концом света.

Все это отражалось и на жизни нашего маленького лицея в Лаврушинском переулке. Каждый день шли партсобрания педагогов, кого-то исключали из партии, кого-то осуждали. Исключили из партии всеми нами любимого директора Н. А. Карренберга, создателя и бессменного заботливого “отца” школы. Тут же всем стало известно, что произошло это по инициативе тех самых учителей, которые работали с ним со дня основания и которых мы все наивно любили и уважали. Исключили из школы и нескольких учеников за то, что они оказались детьми людей, проходивших по делу Михоэлса или какого-то “еврейского центра”. Мой сосед по парте (предпоследняя в третьем ряду) Виктор Селиванов, много больше моего знавший о происходящем “наверху”, был настолько подавлен, что вообще не мог ничего делать, просил учителей временно его не вызывать. Он переживал за своего отца, который в 1947-м принимал из рук М. И. Калинина орден 80о-летия Москвы. Приходя в школу, я узнавал от Виктора новости, что недавно расстреляли всё ленинградское руководство – и партийное, и городское, что расстреляли выдающегося экономиста Вознесенского, председателя Совмина РСФСР Родионова, маршала СССР, Героя Советского Союза Кулика, что арестована жена Молотова, что арестованы Власик, Абакумов, что в опале Молотов и Микоян. В начале 1953 года вовсю расцвело дело врачей-убийц. Никто не мог понять, что же происходит на самом деле. (В реальность “убийц”, по-моему, никто не верил.) Только немногие “посвященные” понимали, что это все – агония “старого параноика”. Но никто не ожидал столь скорого *его* конца.

Берия и его шоу

5 марта 1953 года, 8:30 утра. У входа в школу встречаю своих друзей-одноклассников: Витю Селиванова и Сашу Скородумова. Они мне говорят: “Бросай портфель и бежим в центр, будет что-то интересное, говорят, будут Сталина перевозить с дачи в Колонный зал. Бежим, пока никто не знает”. Понеслись в ожидании пышного зрелища.

Через Москворецкий мост, Красную площадь пришли к гостинице “Москва” и встали за колоннами. Пока что ничего не перекрывали, однако уже к го часам утра появились цепи милиции, перекрыли Охотный Ряд, Манежную и стали нас выгонять с нашего места. Мы перебежали на улицу Горького, уже пустую, поднялись до угла первого дома и свернули во двор. Затем прошли направо и очутились за решеткой первого проема между домами – тогда, кажется, там был магазин “Подарки”. Это был очень удобный наблюдательный пункт – влево и впереди вся огромная Манежная площадь лежала как на ладони. Ждем, курим, а ничего не происходит. Справа улицу Горького уже перегородили несколько цепей милиции. Прошло так с полчаса. Холодно, ветер метет колючий снег, мы уже не рады, но высунуться боимся. Прошел час. Вдруг сверху, от Телеграфа, спускается очень медленно серая “Победа” и останавливается точно против нас. Стоит так несколько минут, Витя говорит: “Берия, что ли, приехал?” И в самом деле, вдруг выходит человек в шляпе, в сером пальто и начинает ходить перед машиной туда-сюда. Витя шепчет: “Ложись, это Берия!” – и они с Сашей падают вниз, скрываясь. Я, конечно, тоже оторопел, но, думаю, надо посмотреть лучше, не каждый ведь день увидишь самого Берию (да еще так близко, метрах в пяти). Прижался в углу решетки и слежу за ним. Постояв минут десять, он начинает нервно ходить, поворачиваясь к нам то спиной, то лицом в своем пенсне. Перед ним – никого, позади – тоже никого. Наверное, сейчас появится торжественная процессия, кони, гроб на лафете, почетный конвой, ордена, знамена, траурный марш…

Вместо этого на пустой площади появляется одинокий синий деревенский автобус, еле двигающийся. Берия выходит вперед в наполеоновской позе, руки не сзади, как обычно у него, а скрещены на груди, плечи развернуты, шляпа на голове (даже не снял у гроба).

И этот маленький, обшарпанный, одинокий автобус медленно-медленно, очень как-то театрально проходит перед Лаврентием Павловичем, метрах в трех перед ним. И мы видим:

в кабине только водитель, а в самом автобусе – красного цвета гроб в цветах, людей нет. Берия стоит с непонятным для нас каким-то победоносным, торжествующим видом, неподвижно, как памятник самому себе. Автобус уходит так же медленно в сторону Колонного зала – и всё. Ни свиты, ни конвоя, ни оркестра, ни траурных маршей. Берия резко, но с улыбкой садится в машину, и она мгновенно, с места взлетает вверх по Горького. Вслед за ним сворачиваются цепи милиции, все уходят, а мы бежим к Виктору домой, на Горького, 19. Нас встречают Витина мама и его младшая сестра Наташа. Женщины все в черном. Пьем чай, какие-то разговоры, вдруг кто-то кричит с балкона: “Смотрите скорей!” Мы – на балкон; видим, что по улице Горького вниз бегут толпы людей.

Мы схватились, помчались тоже, но Виктор еще решил зайти за Тамарой, своей женой-балериной, в театр Станиславского и Немировича-Данченко. А я, тут же у театра, занял место в траурной очереди в Колонный зал. Было около трех часов дня. И вот этот отрезок Пушкинской улицы (теперь Дмитровка) от театра оперы и балета до Колонного зала мы проходили 9 часов! Вначале все было хорошо, очередь как очередь, стояли спокойно, никуда не рвались. Пока стояли на месте, Селиванов мне говорит: “Ты понял, в чем смысл этого театра, который Лаврентий Павлович нам устроил?” – “Нет, мне как-то все равно, я думал, что это надо бы все в кино снять: улицы, снег – и этот автобус странный, везет вождя”. Виктор снова: “Тебе-то терять нечего, вот и не подумал. А я должен все отцу рассказать, это ж понять надо, какой расклад наверху теперь будет. Я так понял из всего, что мы с тобой увидели, – Берия просто сам себе праздник устроил, без свидетелей. Я это так понял, что смерть «папы» – его личное торжество, что это его личная заслуга, значит, собирается теперь первую скрипку играть! Все ясно! Я только думаю – что же, этот автобус из Кунцева так один и ехал? Или была охрана, и ее специально за углом где-то оставили?” Так мы болтали, вспоминали недавний французский кинофестиваль, фильмы, которые смотрели в “Ударнике” в 9 утра, пропуская уроки. И вдруг из боковых переулков, откуда-то чуть ли не с крыши, повалили толпы народа и началась давка. Вскоре улица была до отказа забита толпой, нельзя было и уйти, сзади напирали еще хуже. Стало темнеть. Стоял крик, ор, летели шапки, галоши, камни. Боковые улицы перегородили грузовиками, но это не помогало. Помню, как в Столешниковом какой-то генерал в папахе, в парадной шинели, стоял в кузове грузовика и надрывно призывал народ к порядку. Но на него засвистели, заорали, сбили с него папаху, чем-то закидали. Помню его лицо в ужасе –

началась настоящая анархия, народ загулял. Солдат просто давили, курсантов не стесняясь били. Это был пролог завтрашних жертв на Трубной и Неглинной. Мы смотрели во все глаза, стараясь не упасть под ноги. Но все-таки двигались и чуть позже полуночи вошли в Колонный зал под светом юпитеров и стрекот киноаппаратов. В самом Колонном зале все чинно, торжественно, траурная музыка, Бетховен, знамена, цветы, венки, почетный караул и т. п. Но сам Вождь в гробу – шок! Лучше бы не видеть, а оставить образ с портретов. Лицо без грима, в оспе, рыжеватые усы, остатки “зачеса”. Но главное – мертв, все-таки мертв! Впереди – свобода! Трудно поверить, но вот *он* в гробу. И в воздухе – несмотря на траурные марши – ощущение праздника.

Загадка Аллилуевой

Младший брат ближайшей подруги моей матери Фаины Майминой, в то время кремлевский курсант, оказался на посту возле покоев супруги вождя в роковую ночь 8 ноября 1932 года. Вся охрана “кунцевского дома” знала, что ночью Сталина не было, что “Надя” разыскивала его по всем адресам. Рано утром Хозяин приехал, и в комнатах Аллилуевой разразился громкий скандал, а затем – что-то вроде выстрела. Курсант этот стоял, по его словам, “окаменев от страха”. За его спиной, в вестибюле, был телефон. Он услышал, как Сталин подошел, взял трубку и сказал “твердым, уверенным голосом с сильным грузинским акцентом”: “Клим, приезжай, я застрелил Надежду” (с упором на слово “застрелил”). Вскоре появился Ворошилов, стал кому-то звонить, вызывать врачей. Сталин не выходил. Всю смену охраны тут же заменили новым составом.

Брат Ф.Б. Майминой тогда же рассказал все в лицах своей сестре, от которой я не раз слышал этот рассказ. Это была скромнейшая женщина, всю жизнь проработавшая редактором многотиражки на заводе “Шарикоподшипник”, не склонная к фантазиям, за которые можно поплатиться своей жизнью. Моя мать, единственная, также от нее слышала эту историю. Они дружили с Фаиной с юности, еще с двадцатых годов. Но мать воспринимала этот факт как доказательство “мужества и принципиальности” Хозяина и не удивлялась.

Н. С. Аллилуева была известным партийным деятелем, и никто в среде партийцев не хотел принимать бытовую версию Ворошилова о “самоубийстве на почве ревности” к жене какого-то Гусева. Мама всю жизнь считала, что разногласия Сталина с женой были принципиального политического порядка, а не бытового. И это, по ее словам, оправдывало его страшный поступок: “Так и надо решать принципиальные разногласия, и стыдиться тут нечего”.

Курсант тот вскоре был переведен куда-то на восток, где и умер. У меня никогда не было сомнений в достоверности этого рассказа, как и других, камнем лежащих в памяти многие годы и десятилетия. Тем не менее я никогда не хотел ничего озвучивать. Ведь документов нет, одни слова, а к облику Кобы, на мой взгляд, они ничего нового не добавляют.

Кратово и Переделкино

После XX съезда Московский горком партии организовал для уцелевших узников лагерей, ныне переведенных в “персональные пенсионеры”, санаторий им. В.И. Ленина на станции Кратово Казанской железной дороги. В 1959 году моя мать, как старый большевик с 1918 года, получила туда месячную путевку. Это было большим счастьем для нее, живущей в той же ю-метровой комнатке, где я провел свое детство. Никаких дач, естественно, не было.

В санатории тогда всех селили в двухместные номера. У матери была соседка, которой она очень гордилась, член партии с 1905 года. Мать называла ее Адой, фамилия ее была не то Порохова, не то Прохорова. Точно не помню. Это была крупная, решительная женщина, из купеческой, кажется, семьи, но имевшая большие заслуги в прошлом, знакомая даже с Лениным. Мать была истинно счастлива и слушала любое ее слово, раскрыв рот. Поэтому, когда я приезжал в Кратово, все надеялся, что Ада что-нибудь расскажет о своей жизни. Но все как-то не получалось. Надо сказать, что я любил слушать такие истории. У меня замедленная реакция. И я еще в начале школы приучил себя запоминать на слух большие куски текста и потом, на досуге вспоминать их и “осмысливать”. Поэтому однажды, когда суровая Ада по случаю плохой погоды не пошла гулять, а вдруг разговорилась, я слушал ее, наверное, часа два, причем обе соседки нещадно курили “Беломор”.

“Вот меня теперь стали звать на разные встречи, и все просят рассказать о Ленине, о революции, о штурме Зимнего дворца. А я все пытаюсь донести свое мнение, что не это нужно изучать. Штурм – это самое легкое, что случилось в революции. Истинные герои – те, что еще до девятьсот пятого года, в подполье, под окном охранки, шпиков, городовых мечтали пробудить Россию в тайных кружках, на заводах, фабриках. Тогда ничего еще никому даже не мерещилось. Один Ильич, как ученый и экономист, всем доказывал что-то, и только из личной симпатии и доверия к нему мы шли в эти марксистские теоретические кружки, хотя мало что в них понимали. Главное – в кружках была товарищеская, теплая, братская атмосфера. Мы любили друг друга, помогали чем могли, все было общее. Это было так не похоже на мир денег, эгоизма и стяжательства вокруг нас и в наших семьях. И молодые люди были в кружках смелые, отчаянные. И было их совсем не так мало, как сейчас думают. За ними шли целые заводы: и по всей России, и на Урале, и в Сибири были наши кадры. Поэтому и

победил Октябрь, а не Февраль”. Мать тут же вспомнила такие же кружки в Чернигове. В общем, они нашли друг друга.

Другая близкая подруга матери, Лидия Августовна, когда я был у нее в гостях в Переделкино, рассказывала:

“Вот Чехова читаю, а вижу своих друзей времен Гражданской войны. Такие же наивные мечтатели, та же скромность. Не говорю уж о Фурманове. Были и другие, попроще. Такие же смелые, романтичные, что могли людей в атаку поднимать стихами Гёте. Жестокость, говорят, была со стороны красных. А на какой же войне ее нет. Но она может быть временная, вынужденная, и после войны кончается. А бывает жестокость природная, от грубости и невежества, как была в 1 Конной. Или бывает жестокость параноика, который всех людей боится. А со временем убийство друзей и близких – потребность, наркотик (тут я вспомнил процесс Багирова в Баку 1956-го). Самое противное – жестокость холуя. Ради подачки, чтобы выслужиться перед Хозяином… Кстати, Виталий, вы не задумывались, какой Сталин был актер? Как он продумывал свой внешний облик? Стиль отрешенного от земных искушений сурового воина – френч, сапоги, особая по спецзаказу шинель без пуговиц до пят, наглухо застегнутая! Я понимаю Лену, вашу маму, что она его до сих пор любит. Он и Барбюса очаровал, и Ромена Роллана, и Фейхтвангера. А они не дураки. А знаете ли вы историю с фотографом Туницким? Лена не рассказывала? В начале тридцатых годов он работал в «Комсомолке», очень успешно. Редакция решила сделать подарок Хозяину к какому-то празднику и дать фоторепортаж о вожде на фоне его бытовой жизни, там, кажется, были дача, квартира, столовая и т. п. Чтобы «утеплить» суровый образ. И со Светланой было фото, Туницкий сделал вроде бы блестящий репортаж. Послали Сталину верстку газеты на отзыв. Что же он сказал вместо «спасибо»? Начертал собственноручно красным карандашом наискосок полосы: «Прошу оградить меня от пошляков и мерзавцев!» Слово в слово. Бедный Туницкий! На другой день вся Москва про это знала и восхищалась скромностью вождя. Но я его никогда не любила. Если бы не его тупость, мы бы войны не допустили. Сколько его предупреждали, начиная с Кирова, Куйбышева, и Тухачевский, и Трифонов. А он слушал только своих собутыльников. Мы в лагере, помню, так все это переживали! Слишком много власти у него было. Он был просто человек, не Бог. А все люди ошибаются и имеют пороки, в отличие от Бога… Но у нас и Никита – бог, и Леонид Ильич – бог. Что ж, я вот помру, а у нас так все генсеки и будут богами? Многобожие какое-то! Смешно ведь, правда? Как вы думаете?”

Почти все семидесятые годы моя мать была секретарем неофициального Литературного общества старых большевиков. Не помню, кто был председателем, кажется, О. Левкович. Состояли в обществе в основном женщины. Все они были почти одного возраста – ровесники XX века. Многие что-то писали, мать что-то редактировала. Иногда она настоятельно рекомендовала мне прочесть чью-то рукопись, вызывающую ее восхищение. В этих рукописях было много героических эпизодов, примеров отчаянной храбрости и смелости “девушек революции”. Трудно было поверить, что это воспоминания тех самых скромных старушек, что стояли в очереди в столовой на Комсомольском. Они сохраняли бодрость, улыбались – но избегали говорить о “современности”. Как только кто-то вдруг открывал газету и читал новости – на их лицах появлялись растерянность и почти испуг. Видимо, никак не могли осознать себя в реальности. С одной стороны – почет и уважение, а с другой – враждебный мир стяжательства, чванства, “буржуазности”. Однажды я слышал: “Ну ладно, я за все благодарна – пенсия, паек! Спасибо, что жива осталась! Но те, кто погиб, не дожил – за что жизнь-то отдавали? За пайки, что ли, или за Галину эту с ее историями?” А всего-то были “скромные застойные”. Жалко было этих старушек с их нерастраченной энергией. “Дали бы мне работу, хоть какую-нибудь, живую, вместо этой чертовой пенсии и встреч с пионерами! Тошнит от этой сахарности!” Такое это было поколение – не могли без борьбы. В начале восьмидесятых мать сломала бедро, стала неподвижной, и ей предложили сменить свою отдельную квартиру на комнату в пансионате старых большевиков “Переделкино”. Вот где был настоящий рай! Концертный зал, кино, музыка, встречи с актерами. Для тех, конечно, кто мог еще ходить. Остальным – телевизор и обед в палату. Все большевики жили в отдельных комнатах. Кругом – прекрасная природа, рядом большой лес. Однажды я приехал в Переделкино рано утром и застал пансионат в большом волнении: пропала персональная пенсионерка 92-х лет, соратница Ленина! Все брошены на срочные поиски, даже меня попросили участвовать в поисках. Нашли старушку на болоте, довольно далеко, где она провела всю ночь. Но выглядела вполне молодцом, улыбалась, просила прощения “за беспокойство”. Все спрашивали: “Вам не было страшно?” – “Страшно? Немного было! Но я стихи про себя читала, пела песни – «Каховку», «Варшавянку»! А что со мной могло случиться?” Мать про все это сказала: “Вот – настоящая партийная закалка!” И в самом деле, старушка даже не простудилась.

“Проклятый” Троцкий

Как ни странно, после смерти Великого Кормчего мир не рухнул, мировая война, против ожиданий, не началась. Магазины были все также пусты, денег все так же ни у кого не было. Мать жила в Александрове, а я начал сдавать экзамены в Полиграфический институт, куда меня потащил за собой Витя Селиванов. Это был по тем временам самый блатной институт, но я об этом не подумал. Вообще я в то время плыл по течению, жил по принципу “будь что будет”. После “погромов” в школе я совсем потерял интерес к своей судьбе. Сдал специальность хорошо, сочинение тоже на “пять”, оставалась история. Ну история у меня всегда шла на “отлично”, не сомневался, думал, что экзамены у меня уже в кармане! И вдруг знакомая секретарша мне говорит: “Вы не проходите! Примут всего 9 человек, потому что много приехало из «демократий», а на «наших» уже есть список, кого надо принять, и то пройдут не все”. Я говорю: “А если я историю сдам на «5» – должен пройти!” – “А вы ее не сдадите, у вас пятый пункт в анкете”. Я-то, наивный, сперва не понял, о чем речь, а потом не поверил. До этих пор я никогда ни с каким “пунктом” не сталкивался.

Как бы там ни было, иду сдавать историю. Принимает профессор П. “Так, билет кладите, он меня не интересует, будете отвечать на мои вопросы”. Ну, думаю, началось, вот оно! Гонял меня по всем датам и эпохам – всё отвечаю. Профессор П. вспотел, устал, в классе никого не осталось, я последний. Его задача – меня завалить. Он задумался, затем спрашивает: “А кто написал программу X съезда партии?” Вот она, ловушка! Сказать кто – нельзя, сказать “не знаю” – все равно двойка. Говорю (с гордостью, как эрудит): “Лев Давидович Троцкий!” (Нам в школе рассказывала историчка.) Что тут было! Он вскочил, побагровел, затрясся: “Вон! Вон из класса! И чтоб ноги вашей здесь никогда не было! Двойка! Кол! Обнаглели! В этих стенах – такое имя! Вон!”

На другой день забрал документы и вернулся в школу посоветоваться. Один из педагогов, совсем мне не знакомый, говорит: “Идите в «Детгиз», к Дехтереву, я вам дам записку!” Иду в “Детгиз”, сижу три часа в очереди, чтобы попасть к “самому”. Но Дехтереву мои акварели понравились, и он пишет при мне письмо А.Д. Гончарову, декану полиграфического, своему лучшему другу, и кладет в конверт. “Вот адрес, поезжайте, должен помочь”. Приехал, открывает симпатичная девушка, как оказалось, дочь Андрея Дмитриевича – Наташа: “Папа еще на

отдыхе, я вам дам записку к Горощенко, председателю приемной комиссии Полиграфа”. Дает адрес, не читая письмо. Иду по адресу: улица Горького, дом 4, мастерская на последнем этаже. Мэтр вначале был добродушен, но когда прочитал письмо Дехтерева – изменился в лице и говорит: “Пусть вас Дехтерев к себе сам берет”, повернулся спиной – и ушел. Я письмо схватил – и вниз. Внизу остановился, прочитал: “Андрюша! Кто у тебя в приемной комиссии? Мне кажется, можно бы помочь, парень талантливый”. Ну всё, думаю, это судьба, больше никогда никого просить не буду.

Год у станка

С институтом конец, но что же делать. Мать звонит из своего Александрова: “иди работать”, “иди в райком комсомола”. Пошел в райком, они куда-то долго звонят, потом говорят: “Идите на эту фабрику, вас возьмут”. Смотрю адрес: 3-й Бабьегородский переулок, Макетно-витринная фабрика. Там делают на железных листах вывески и плакаты в технике шелкотрафарета. Но выбора нет, начал работать. Кругом все пожилые люди, работают давно, всего человек пятнадцать. Дали должность сверловщика. Через месяц приняли еще двоих моего возраста, Митю и Люсю. Стало веселей. Ездили купаться, иногда за грибами, иногда выпивали (после работы оставались). Люся жила на Якиманке, Митя – на Кадашевской. Так что компания часто пополнялась их знакомыми. Я забыл и Полиграф, и все амбиции, и мечты об искусстве. Простая жизнь, простые отношения – очень дружеские, доброжелательные. Никакого выпендрежа – все равны, все работяги, всем делились, у кого что есть – у кого рубль, у кого три. Никаких расчетов вроде “сколько я тебе должен?” Это считалось смертельной обидой.

В начале 1954 года на нашу крохотную фабричонку пришел новый директор Петерс, сын известного чекиста Якова Петерса. Он тоже отсидел в лагерях, но, видимо, как и моя мать, не изменился. Когда-то он был секретарем Московского горкома комсомола. Вызывал к себе в кабинет по одному и, направляя свет в глаза, устраивал допросы: биография, интересы, родители и т. д. Про нас ему донесли, что “молодежь” пьет, гуляет, хоть и комсомольцы. Начали нас заставлять “каяться”: под угрозой увольнения! Мы решили, что Петерс сошел с ума. Он и ходил весь в черной коже, в высоких сапогах, в большой черной кепке, как в старые времена… В итоге мы все уволились “по собственному”. Пока я не ушел в армию, мы еще встречались, что-то отмечали, куда-то ездили. Но когда вернулся – никого не нашел.

Почему растет трава?

Однажды, в начале восьмидесятых, меня разыскал бывший коллега и друг моего отца, некто Филимонов. Это был очень серьезный товарищ, зав. производством огромного комбината “Известий”. Он там работал всю жизнь и помнил отца в должности ответственного секретаря газеты “Известия”. Он очень хорошо об отце отзывался, но упоминал о его трудном, неуступчивом характере, смотрел на меня пристрастно, видимо ища во мне отцовские черты. Он рассказал мне, что истинной причиной гибели отца была вовсе не его ссора в Ленинграде в музее В. И. Ленина с московской комиссией из ЦК ВКП(б), а роковая ошибка в период руководства “Партиздатом”. Он, исходя из своих убеждений, в конце двадцатых осуществил издание брошюры “В защиту теории перманентной революции”. Этим сам себе подписал приговор. Тираж брошюры был тут же уничтожен. Я не могу понять, в чем же был смысл отцовского подвига. Ведь ясно было, чем это кончится. Оказалось – все очень просто: “Трава растет и пробивает асфальт… Вы можете каждый год класть новый асфальт и радоваться… Это значит, что вы не отличаете жизнь от смерти. Вы можете думать, что трава растет оттого, что ей кто-то заплатил, что ее кто-то купил, что она работает на ваших врагов и т. д. Но трава все равно будет расти сквозь асфальт… Потому, что иначе вся жизнь на земле остановится. Самая прекрасная страна не должна окаменевать, должна развиваться, так как подрастает новое поколение и ему скучно в старых оковах, в старых формах…” Это был единственный человек, который хотя бы что-то рассказал мне об отце. Больше я с ним не встречался, так как вскоре его не стало. Быть может, поэтому он был тогда со мной так откровенен.

В горах Закавказья
1955–1958

Армейская одиссея

Итак – армия. Из Москвы тащились 5 дней, не зная куда, в скотном вагоне. Сержанты всё украли, и нас никто не кормил. От злости громили базары на остановках. В военкомате сказали “на Кавказ”, но очутились в Баку, в Сальянских казармах. В Москве было -10, а здесь +30. Сидим под стенами огромного дувала, ждем начальство. Впереди – три года неизвестно чего. Все думаю об одном – удастся ли выжить. Ребята все из Куйбышевского района. Крепкие, спортивные, несколько боксеров. Заранее договариваемся, что держимся вместе. Карантин – 3 месяца. В первую же неделю на вечерней поверке подрался с сержантом Базулько. Первая гауптвахта – 10 суток. Зато среди своих сразу стал популярен. Вскоре пригнали вторую группу москвичей. Я был в казарме, меня зовут истошным голосом: “Скорей, Вит, беги на плац! Там какой-то художник стоит, без штанов!” Выбегаю – да, кто-то высокий в шубе, из-под шубы торчат белые кальсоны, на плече – огромный этюдник. Бросается ко мне: “Витя, это я, Забелин, Слава!” – “Славка, я тебя не узнал! А штаны-то где?” – “Да пропил как-то по дороге!” – “Молодец, узнаю МСХШ! Ну, давай, привыкай! Будем вместе!”

Сразу стало как-то теплее, все-таки близкая душа. Славка был моложе по классам на два года, но я его помнил как тонкого живописца. Мог ли тогда кто подумать, что этот разгильдяй в кальсонах – будущая знаменитость, профессор института им. Сурикова, декан, что будет в США клуб его имени! А от тех времен осталась лишь одна фотография, где мы вместе. Первый год мы были в одной части, а потом нас раскидало.

В начале марта 1956 года были объявлены учения в районе Тбилиси. Из нашего полка взяли несколько САУ-152, и сразу, ночью, мы выехали по железной дороге на платформах. Уже на подходе к городу начали появляться тревожные слухи о каком-то восстании. Все заволновались, но начальство молчало. Когда пришли на станцию Азианы, узнали, что несколько сотен студентов с оружием захватили штаб ПВО в Тбилиси. Но момент они выбрали неудачный – идут учения, кругом войска. Это было 9 марта – три года со дня похорон Сталина. Командование Закавказского военного округа поступило мудро: студентов заблокировали в ПВО, окружили, заставили сдаться – почти без жертв.

Летом начались реформы. И я оказался в настоящей пустыне, носящей имя “Чертов палец”. Место совсем голое, нет никакого укрытия. Посреди каменистого, открытого всем ветрам

плоскогорья стоят казармы и финские домики, сбитые кое-как, на скорую руку. Ближайшее шоссе Баку – Шемаха в 10 км. Дети офицеров учатся в Баку. Поэтому обстановка в полку своеобразная: офицеры, большинство – бывшие фронтовики, уже немолодые, очень всем недовольны, озабочены своими проблемами. В полк приходят усталые, нервные. Солдаты предоставлены в распоряжение старшин, которые умеют только орать по пустякам. Чем занять солдат – не знают, болтаемся без дела. К тому же все голодные. Из “центра” идут только бочки с ржавой селедкой и черняшка. Жрать нечего, делать нечего!

Командир полка полковник Баранов (всеобщий любимец по прозвищу Батя) придумал и быстро организовал подсобное хозяйство. Свиньи, гуси, утки, сало свое. Создали стройбат, куда вошли в основном закарпатцы из Стрыя, человек двадцать.

Я служил сперва заряжающим, потом наводчиком на САУ-152. Экипажи были в основном “сибирского происхождения”. Механики-водители из Иркутска, другие из Забайкалья. Они и задавали тон в полку. Не было ни склок, ни драк, ни воровства, ни дедовщины. Впрочем, и слова такого не было. Я стал уж думать, что мне “везет на коллективы”.

Более всего не любил строевую подготовку. Помню, как зампострой кричал мне на плацу: “Рядовой художник, выше ногу, тяни носок! Это тебе не по бульвару возле «Метрополя» с кисточкой гулять!” Зато мне удавались ночные стрельбы (с инфракрасным прицелом), которые тогда только входили в моду. Я как-то легко ловил цель на зеленом экране, стрелял обычно на “5”. За армейские соревнования получил первый отпуск в Москву. Постепенно я проникся “танкистской романтикой”. Привык махать тяжелой кувалдой, разбивая траки, выколачивая из них горный камень после учений. Конечно, физически тяжело, но зато было у танкистов больше свободы. Помню и сладкий запах дизельного выхлопа в чистом холодном воздухе высокогорного полигона, и запах нагретой солярки в раскаленной пустыне. А вкус подгорелых шашлыков из свежего, только что – случайно! – убитого барана на танковом полигоне в горах! Правда, я частенько попадал на гауптвахту из-за своей вспыльчивости и несдержанности.

Постепенно привык к диким, желто-багровым краскам местных закатов, к тому, что ветра день и ночь бьют песком по морде, отчего кожа становится как наждачная бумага, что бессмысленные кроссы в сапогах по пустыне калечат ноги, “только пыль, пыль, пыль от шагающих сапог”.

Иногда, правда, происходили и смешные истории. Однажды нашему командиру полка пришла в голову гениальная мысль, чем

можно еще, кроме сала в борще, скрасить однообразие полковой жизни. Он, возможно, понимал, как угнетающе действует на солдат отсутствие увольнений по многу месяцев, отсутствие хоть какой-либо культурной жизни. Клуб никак не могли достроить. Не было ни кино, ни концертов. Спорт у нас состоял только из физзарядки, не было ни спортзала, ни инвентаря. В таких условиях Батя решил “активизировать визуальную информацию”. Вызвал начальника клуба, капитана Цыганкова, и устроил ему разгон: “Что же ты не можешь в полку найти художника, чтобы сделал нам красивую большую картину в столовую порадовать солдат?! Другую – в казарму! И в штаб, где тоска зеленая!” Цыганков, с которым мы давно уже вечерами выпивали и даже подружились, тут же рапортует: “Товарищ полковник, художник есть, настоящий, из Москвы, но нет ни красок, ни каких других материалов. Да еще его кроссами загоняли”. Батя говорит: “Бери его в свое распоряжение, найди помещение, и пусть пользу приносит, а не бегает без толку. А краски и прочее – организуй через стройбат, купи в городе, достань где хочешь!” Весь этот разговор Цыганков мне в лицах тут же и изобразил, смеясь над собой.

Действительно, в стройбате ребята сделали два подрамника 2 × 3 метра, сшили холст из портянок, я Цыганкову подсказал, что ведь в Баку есть Союз художников, должны помочь. Так и получилось – всё дали: краски, кисти, масло. В порядке шефской помощи.

Страсти в предбаннике

Предоставили мне пустую комнату в помещении местной бани. Укрепили холст, и я начал думать, что бы такое написать радостное, для поднятия солдатского духа. Решил, что лучше, чем "Салют Победы на Красной площади", ничего не придумаешь. Начал писать. Всё хорошо: на улице жара, у меня прохладно, друзья приходят кто с гитарой, кто с посылкой из дома. Флорида! Образовалось что-то вроде "клуба в предбаннике".

Как вдруг в какой-то день за стеной слышим женские голоса, смех, визг и шум. Оказалось, за стеной банный зал и там женский день. Ребята очень возбудились: как бы подсмотреть, подглядеть! Проявили солдатскую смекалку. В комнате по одной стене стоял ряд шкафов, между ними и потолком проходила какая-то труба, как раз в банное помещение. Народный умелец из Ташкента Холл Хасанов разрезал трубу, вытащил одно колено, и образовалась в стене дыра под потолком. Принесли стремянку, залезли на шкаф и, затаив дыхание, прильнули к этой дыре. Что-то молчат. Спрашиваю: "Ну что там?" – "Да тут один пар, пока ничего не видим". Набрались терпения и постепенно что-то начали с восторгом различать. Но в этот день баня как-то быстро кончилась.

В следующую пятницу энтузиасты собрались пораньше. Наш фотолюбитель, Володя Ермаков, прихватил фотоаппарат в надежде на шикарные снимки "с натуры". Он выставил вперед свою "Смену", но когда начал щелкать, женщины внизу заметили объектив и плеснули "для смеха" в него горячей водой. От неожиданности Володя уронил аппарат, внизу раздался визг, крик, смех – бабы загалдели разом, вышел скандал. Кто-то из них настучал начальству, и меня посадили на губу. Впрочем, скучать не пришлось. История мгновенно облетела весь полк. К окошечку гауптвахты стали приходить сочувствующие и любопытствующие: пришлось всем объяснять, "что сам-то я ничего не видел". К вечеру выпустили.

История дошла до командира полка. "Креативный" Батя вызывает начклуба и приказывает: "Всем женам офицеров позировать художнику для создания выставки портретов «Наши любимые». Если за месяц управится, откроем первого сентября. Пусть солдаты смотрят красавиц на стенде, а не в бане".

Капитан Цыганков опять оказался при деле – бегает, уговаривает, подбирает туалеты. А я, в приказном порядке, рисую в клубе, одну за другой, всех полковых красавиц. Приходили и тещи, и дочери, у кого были. Однажды целый день писал

акварелью жену майора Кулясова в цветочном венке, который специально заказывали в городе. Пока длился этот “портретный марафон”, прошел слух, что новый командующий округом, генерал армии Федюнинский, лично объезжает все отдаленные полки. Ждали-ждали, потеряли надежду: кто к нам в такую далекую дыру поедет!

Художник и Муза

Все дни жара стояла невероятная, под 45 градусов, я уже закончил свой “Салют Победы”, остались мелкие детали. В целом получилось очень эффектно. Писал впервые после школы, без советов педагогов и серой “фузы”. Соскучился по глубокому, звонкому цвету и выжал его “на всю железку”. На фоне ночного неба ярко горели вспышки салюта. Против всех школьных правил писал по-импрессионистски, раздельным мазком, чистыми красками. Вблизи – “каша”, а на расстоянии все смотрелось. Признаюсь, получил большое удовольствие от этой работы.

И вот я опять работаю в зале недостроенного клуба, в красной майке, галифе и сапогах. В зале прохладно, ветерок. Рядом сидит дочь начальника снабжения, девочка по имени Муза лет двенадцати-тринадцати, ждет, когда будем рисовать портрет. Кругом валяются краски, тряпки, кисти, палитры. Вдруг в ослепительном свете дверного проема появляется темными силуэтами большая группа офицеров и идет прямо на нас!

А я с испугом вижу впереди генерала со множеством звезд на погонах (командующий!) – и вытягиваюсь по стойке “смирно”. За спиной замполит шипит на меня: “С ума сошел, стоишь в таком виде! 10 суток!”

Секунда удивления – все остановились! Но тут командующий делает такой широкий жест рукой, как бы обводя сцену, и громко говорит: “Так-так, все ясно. Это художник, а это его муза”. У всех отлегло, но вдруг из угла раздается детский голосок: “Так точно, товарищ генерал, меня зовут – Муза!” Молчание. И вдруг командующий захохотал, очень искренне и громко: “Смотрите – я угадал! Вот это да!” И все вокруг разом также захохотали. Неловкость исчезла, все расслабились. Взоры обратились на “Салют Победы”.

Командующий подошел ближе и стал смотреть картину очень серьезно, внимательно. И вся комиссия за ним. Спрашивает: “Где это будет висеть?” – “В солдатской столовой”. – “А нельзя ли что-то в этом духе для округа?” Я говорю: “Конечно, с удовольствием, товарищ генерал армии!” Тут выскакивает замполит: “Завтра же, завтра же вам отправим!” Все опять захохотали, уже над его угодничеством.

Мне, конечно, жить стало легче. Как сказали бы сегодня – “социальный статус заметно повысился”. Старшина Пискун называл меня теперь “полезным для полка человеком”.

Под маской стайера

В субботу и воскресенье вообще обо мне никто не вспоминал. К тому же мой друг по карантину москвич и шофер Володя, который теперь возил начштаба армии генерала Чепуркина, как-то привез его к нам в полк “посмотреть картину”. Это уже была настоящая сенсация: большая честь для полка, а для меня – благоволение начальства.

Так что на третьем году службы я мог по выходным уйти “в самоволку”, вполне незаметно. Одно плохо было – далеко. До Баку – 36 км. Выходил в пять часов утра и вроде бы бежал на длинную дистанцию, пока не скрывался за холмами. А на шоссе ловил попутку. Солдату обычно не отказывали. В городе шел к землякам-москвичам, которые составляли армейский автовзвод. И у них проводил целый день. Шли на море, или в кинотеатр “Низами”, или на базар “Кубинка”, или на Приморский бульвар. Вечером потихоньку выпивали. Тут в первых рядах был Слава Забелин. Все его любили и относились как к ребенку. Слава признавал только водку, вино не любил. Валя Кузин пел под свою гармонь традиционный репертуар: “Ванинский порт”, “Окурочек” и т. п. Но были и новые песни: “Мы с тобою писем ждем крылатых”, “Над горами незакатными” – все очень сентиментальные. В общем, типичная советская идиллия, но без этого, может быть, и не выжили бы. Обычно после наших вечеров в автовзводе, уже к ночи, кто-нибудь на “виллисе” подкидывал меня до части. Но иногда, когда все были выпивши, приходилось добираться обратно одному и идти от шоссе пешком горной дорогой. До сих пор помню огромное, ночное, всегда очень звездное небо, стрекот цикад, а иногда и вой шакалов вдали. К счастью, на дорогу они не выходили. Так шел 3 часа в полном одиночестве. Сплошная романтика! Может быть, это были лучшие часы в жизни. Свобода, одиночество и Космос. “И звезда с звездою говорит”. А в полку все считали, что я бегаю до ночи на длинные дистанции, и прозвали стайером.

“Салют” повесили в большой общей столовой. Помещение было темноватым, но огни салюта в картине светились от этого еще лучше. Начальство вошло во вкус, и мне предложили еще одну тему для картины из истории полка, как один артиллерист, расстреляв все снаряды, подорвал себя последней гранатой. Картина получилась суровая, без советских красивостей, даже “психологичная”. Решили послать ее на большую выставку военных художников в Тбилиси. В одном из чудом сохранившихся газетных отзывов написано, что “картина «Последняя граната» исполнена с большим чувством и мастерством”. В другой газете поместили репродукцию еще одной моей работы – “На привале”. Эта была попроще, в духе “Васи Теркина”.

Все эти публикации появились благодаря поддержке и известности Славы Забелина, которого уже тогда очень хвалили местные критики. Для меня это был первый “выход в свет” после столь долгого, в пять лет, вынужденного перерыва. Я пока что даже вообразить не мог, что буду делать после армии. А у Славы все уже было расписано. И со своей загадочной, снисходительной улыбкой он говорил, сидя со стаканом водки в руке: “Я даже знаю, где у меня будет мастерская, – на Арбате, под крышей”. Так и случилось лет через пять. После смерти Н. Осенева, тогдашнего председателя МОСХа, Славке “подарили” его мастерскую в здании издательства “Искусство” на Арбатской площади, и именно на чердаке! Слава был одним из немногих художников, способных к откровениям на грани гениальности. Все три года в армии были как бы подсвечены его застенчивой улыбкой. И в последующие годы, вплоть до его ухода в 2001 году, мы при каждой встрече вспоминали армейские истории, общих друзей и Сальянские казармы.

А уж когда удавалось выкроить время для застолья, разойтись мы не могли подолгу, и Слава всегда говорил: “Куда нам спешить, мы ведь художники, за нами вечность”.

Полковник Брызгалов

Но дальше с моей картиной была целая история. В полк ее не вернули, а забрали в офицерский клуб в Баку. И вот на 9 Мая приезжают в Баку почетные гости – композитор Долуханян и поэт Марк Лисянский с концертом. Им устраивают большой банкет в парадном зале, где висит моя картина “Последняя граната”. Картина им настолько понравилась, что они выразили настойчивое желание познакомиться с автором, о котором никто ничего не знал. Тут на банкете появляется начальник политуправления дивизии полковник Брызгалов, который меня помнил еще с карантина, когда был у нас замполитом танкового полка. Странным образом он с первых дней очень как-то по-отечески ко мне относился, убеждал, чтобы не забывал искусство. Вызывает своего водителя и посылает его за мной в полк. Тот, с трудом найдя ночью наш штаб, поднял всех дежурных. На часах – полночь. Страшно матерясь из-за нарушения правил, поднимают меня с постели. Приказы в армии не обсуждают, и мы мчимся с дикой скоростью, поскольку начальник сказал, что будет ждать за столом, вместе с гостями, а ждать он не любит.

В общем, приехали, входим. Я вижу длинный стол, уставленный бутылками, цветами, фруктами, закусками, освещение интимное. С одной стороны стола, под стеной, где висит моя картина, стоит ряд диванов, сидит во главе грозный полковник – а с краю несколько офицеров с дамами. Я докладываюсь по форме. Брызгалов, очень радостно улыбаясь, идет ко мне: “Ну здравствуй, молодец, рад тебя видеть! Знакомься – поэт Лисянский, композитор Долуханян!” Они тоже подходят, здороваются, обнимаются, видно, что все уже хорошо выпили. Я говорю: “Для меня большая честь, я с детства люблю вашу знаменитую песню «Дорогая моя столица»”. Брызгалов говорит: “Не горячись, споем потом все вместе, а пока садись с нами, не стесняйся, выпьем и закусим! А картина твоя, видишь, у нас! Я ее люблю, в полк не отдадим!” Марк Лисянский расчувствовался, стал вспоминать войну, 1941 год, знаменитый парад. Долуханян сел за пианино, что-то заиграл бравурное, свое. Стало тепло, совсем по-домашнему. Тем не менее я держался скромно. Полковник Брызгалов всё говорил: “Мой земляк, с Пресни!” Никто не вспоминал, что я – рядовой солдат. Поднимали рюмки, тосты следовали один за другим, в том числе и за “Последнюю гранату”!

Под утро тот же водитель отвез меня в полк.

Скорпионы и фаланги

Несмотря на потерянные три года жизни, все-таки теплое, почти что нежное чувство осталось у меня от многих и многих людей того времени. Но были и свои опасности, свои курьезы.

1957 год. У нас – “атомные учения”. Приезжает министр обороны маршал Гречко, для которого построили отдельную дорогу в горы, чтобы он мог без помех смотреть красивую имитацию атомного взрыва.

Учения проходили очень эффектно, был страшный “атомный взрыв”, атаки и т. п. Маршал и его штаб наблюдали, сидя под тентом на высоком холме.

После окончания учений нас, троих солдат, поставили “диспетчерами” с сигнальными флажками на горной дороге, где ждали маршала Гречко, и по этой дороге шли и шли бесконечные колонны машин с пехотой. Это длилось так долго, что про нас все забыли. В горах темнеет быстро, пришлось расстелить три шинели и лечь на них спать. А на рассвете, проснувшись, увидели вокруг, по краю наших шинелей, живой копошащийся валик из скорпионов и фаланг. Они лезли к теплу, и наши шинели нас спасли (скорпионы боятся шерсти). Но шок все-таки остался – а вдруг? Ведь мы знали, что их укус смертелен.

Арменикенд, или Ночь в старом Баку

Или вот еще один, более комичный момент. У меня был один друг, бакинский армянин Боря Акопов. Однажды ему дали увольнение домой на праздник 1 Мая. Он уехал накануне, а меня пригласил на следующий день, оставив адрес: Арменикенд, Вокзальная, 20. На следующий вечер я приехал к нему в Арменикенд на трамвае. Но доставая листок из кармана, как-то его измял и прочел: “Вокзальная, 2”. Захожу – типичный южный дом, внутри галерея на втором этаже, люди сидят пьют, едят, отмечают праздник. Спрашивают: “Солдат, ты к кому?” – “К Акопову Боре”. – “А, к Боре! Хорошо! Садись за стол, сейчас за его мамой сбегаем”. Сел, все радостно приветствуют, знакомятся, чокаются, подкладывают шашлык. Приходит женщина: “А вы что, остались служить?” – “Нет, я свои три года дослуживаю!” – “А Боря ведь демобилизовался в том году”. – “Как так, я вчера с ним расстался”. Все в недоумении, но меня не отпускают. “Подожди, солдат, не уходи, есть еще один Акопов Боря, сейчас маму позову”. Уходит эта мама, приходит другая. “Ой, как хорошо, вы с Борей служите, как он там? Что-то уже две недели не пишет!” – “Извините, а где он служит?” – “В Киеве”. – “Ошибка, простите! Мой друг Боря Акопов в Баку служит, в Перекицкуле”. Я начинаю вставать, хочу уйти, как-то неловко. Женщины говорят: “Есть еще один Акопов Боря, правда, он по паспорту Роберт. Он школу заканчивает, в армию только осенью пойдет. Не подойдет вам?” Мне становится смешно, а между тем время идет, и мы все пьем, мне все подливают, перешли на коньяк, и встать становится трудно. Все-таки я встал, раскланиваюсь, говорю: “Спасибо, до свидания!” И тут мужчины заголосили: “Слушай, ты нас обижаешь! Скоро вечер, куда ты пойдешь? Оставайся, какая разница, Боря – не Боря! Главное, ты друг Акопова, а у нас тут Акоповых полдома!” Ночью еще хаш варили, спать не ложились, а утром под хаш еще долго пили и пели армянские песни. Вечером, возвращаясь через весь город на трамвае, встретил наконец своего Акопова Борю.

Все когда-нибудь кончается; кончились и эти долгие три года. Вернулся в Москву за день до экзаменов в Суриковский институт. Как-то успел сдать документы – пошли навстречу. Экзамены сдавал как в бреду. Но все-таки взяли – на графический факультет. Надо было снова встраиваться в новую среду, и более того – в новое время, которое убежало лет на десять вперед.

Профессия – художник
1958–1988

В гостях у Юрия Либединского

После XX съезда, когда матери вернули партбилет и стаж в КПСС “с марта 1918 года”, она вступила в Литературное общество старых большевиков, где вскоре была избрана ответственным секретарем. Она очень этим гордилась и всячески старалась оправдать “оказанное доверие”. Помню, я только пришел из армии, и вдруг она договорилась о встрече с председателем Литературного фонда Юрием Николаевичем Либединским, чтобы передать ему письмо от Общества с просьбой о путевках в дома творчества писателей для заслуженных членов этого самого общества. В тридцатые годы у них были какие-то общие знакомые. Видимо, поэтому Либединский назначил встречу у себя дома, в Лаврушинском. Неожиданно мать заболела и, чтобы не срывать важное дело, послала с этим письмом меня. Я уже бывал в этом доме у Валентина Катаева, у Е. Э. Блок и даже однажды – у самого Александра Фадеева.

Либединский оказался добродушным и мягким человеком, принял меня в своем кабинете, угощал чаем. Я взял с собой (для автографа) новое издание его самой знаменитой повести “Неделя”, благодаря чему возник литературный разговор. Кроме того, я принес ему несколько последних своих акварелей. Он сказал: “Пейзаж средней полосы России вы хорошо чувствуете, а были ли вы где-нибудь еще в Союзе, например на Кавказе?” Я говорю: “Не только был, но только что три года там отслужил в армии”. – “А что же вы не пишете тамошнюю природу, горы, аулы? Вам надо расширять свой диапазон, ездить по Союзу, искать темы!” Я был очень удивлен, но задумался. Юрий Николаевич сказал: “Звоните, заходите, мне было интересно”. Через какое-то время отмечался юбилей Либединского, о чем я услышал по радио. Я позвонил его поздравить, сказал, что хотелось бы сделать маленький подарок. Он очень просто сказал: “Вот вы завтра вечером и заходите”. В подарок я принес акварель на стихи Есенина. Нашел даже рамку со стеклом, упаковал. Но когда вошел, понял всю смехотворность своих усилий. Вся квартира была завалена цветами и коробками, винными грузинскими кувшинами, кубачинской посудой, горскими кинжалами и бурками, блюдами винограда и персиков, армянскими коньяками.

Юрий Николаевич устало развел руками: “Весь Кавказ был – что поделаешь! Третий день разбираюсь! Хочу отдохнуть, сегодня даже телефон выключил”. В кабинет зашла улыбчивая, совсем юная девушка. “Маша, познакомься: Виталий, хороший художник,

а это – Маша, моя дочь”. Маша говорит: “А вы поэзию любите? Есенина, наверное, судя по вашей акварели? А вот наших молодых поэтов читали? Вознесенского, Евтушенко? Мы с ними дружим! Если хотите, я вас познакомлю!” Я, конечно, с радостью благодарил Машу.

Потом Юрий Николаевич пригласил меня за стол – попробовать “лучшие в мире” грузинские вина. Как-то зашел разговор о Есенине. В армии мы много о нем говорили. Я спросил Либединского, как он объясняет такую повсеместную любовь к Есенину. Я тогда, к стыду своему, не знал, что в молодости они были друзьями. Юрий Николаевич с улыбкой сказал: “Зайдите на Кузнецкий, в Лавку писателей, там можно купить нашу новую книжку «Современники», где прочтете мои воспоминания о Сереже. Не могу вам подарить – ни одной книжки не осталось после гостей”. Я набрался смелости и спрашиваю: “Юрий Николаевич, а как, если не секрет, вы объясняете смерть Есенина? И сам ли он умер? Ведь такой еще был молодой!” Либединский долго молчал, уйдя в себя, что-то обдумывая. Потом сказал: “Знаете, я ведь был после смерти Сергея председателем комиссии по его наследию. Он много писал о смерти, совсем ее не боялся. Он всего достиг в литературе, о чем и не мог мечтать мальчик из деревни. Но ему было этого мало. Честолюбие, жажда славы его переполняли. Может быть, в какой-то момент он оглянулся на свою жизнь и понял, что для настоящей славы одной литературы мало. Не до всех она доходит. А чтобы покорить всю Россию, а может, и мир, нужно сделать что-то такое, чего никто не сможет, кроме него, Сергея Есенина. Надо отдать свою земную жизнь ради вечной жизни своей поэзии. Закатить такой скандал, о котором еще сто лет будут все говорить! Будут гадать, зачем он это сделал, – и будут перечитывать его стихи вновь и вновь. Искать разгадку! И ушел он из жизни мужественно. Все дела привел в порядок. Уехал в Питер, сказал: «Навсегда». Своей кровью завещание прекрасное написал и Эрлиху в карман положил. Но что бы о Есенине ни болтали, он всегда был частью советской литературы и великим советским поэтом”.

Это был мой самый длинный разговор с Либединским, так как вскоре вмешался нелепый случай. Спустя какое-то время после нашей беседы о Есенине Юрий Николаевич пригласил мою мать на обед. За столом были только мать, сам писатель и его жена, Лидия Борисовна. В конце обеда, после воспоминаний и литературных бесед, писатель вдруг говорит: “А как вы думаете, наши дети могли бы подружиться?” Мать возьми да и брякни: “А ведь Виталий женат!” (Просто забыла, что я уже давно развелся.) Немая сцена, Юрий Николаевич потерял дар речи, побледнел и

ушел к себе в кабинет. Жена – за ним. Мать, поняв, что произошло нечто непоправимое, бросилась к дверям и выскочила на улицу, ругая себя за глупость. Я хотел было позвонить, извиниться за мать, все объяснить. Но это было бы еще глупее.

Ни с Вознесенским, ни с Евтушенко так и не познакомился.

После армии, или Новые времена

Поступив в Суриковский институт, я и не представлял, в какую психологическую ловушку попадаю. Мои сокурсники были моложе меня на пять-шесть лет. Выпускники МСХШ, только что со школьной скамьи, они терпеливо штудировали пыльные гипсы и натюрморты, как бы перейдя просто в следующий класс. Они знали меня как школьную легенду, связанную с какими-то скандалами, суть которых представлялась им столь же далекой, сколь и детские сказки. Кумиры моего детства, из-за которых я бился насмерть со своим педагогом, на тот момент ушли в полный "отстой" и давно никого не интересовали. Ребята уже успели поработать на Всемирном фестивале молодежи рядом с французами, американцами, изучить московскую выставку Пикассо и т. д. Разговоры шли о супрематизме, кубизме, абстракционизме; некоторые уже успешно себя пробовали в этих системах и гордо назывались "левыми". Но дискуссии эти в основном шли в пивных и закусочных после занятий, а в строгих аудиториях студенты оставались обычными школярами хорошего "академического" уровня.

Я за пять лет потерял все навыки "штудирования", просто не мог, после всех своих походов и приключений, после огромных "выставочных" картин сосредоточиться на крохотных квадратиках гравюр и офортов или выдержать трехнедельное, а то и месячное постижение таинственной красоты чучела вороны с красной кружкой на сером фоне. Я не мог понять, как ребята спокойно и усердно над этим корпят изо дня в день. Кто-то из сокурсников стал мне объяснять: "Понимаешь, все знают, что это дурь и тоска, тем более при таком педагоге, как наш! Но надо терпеть первые два года, чтобы потом попасть в какую-нибудь хорошую мастерскую, лучше всего к М.М. Черемных, а там, через три года «выварки» – гарантия вступить в МОСХ, опять же – в хорошую секцию. Лучше всего, с точки зрения обеспеченности работой и зарплатой, идти в плакат. Естественно, политический! Ты хоть представляешь, какие в Москве зарплаты? У меня жена, инженер, получает 85 рублей в месяц! Ну еще премия, если дадут, рублей ю. А за один плакат о комсомоле или о поджигателях войны – 250–300! Так что взвесь и терпи!" Кто-то еще добавил: "А особо терпеливым еще и заслуженного дают, а то и народного".

Все это звучало для меня слишком цинично. Где же "страсти, восторги и мучения", где же "высокое искусство"? Если бы я мог знать, что мне предстоит!

Концертомания

В этот короткий период хрущевской “оттепели”, который застал, когда приезжал в отпуск из армии, я старался попасть на самые разнообразные концерты и вечера, проходившие тогда в Москве, мне хотелось охватить всё: и симфонии, и джаз под управлением О. Лундстрема.

На концерт Л.А. Руслановой в зале Чайковского я попал, случайно купив “с рук” билет в огромной толпе поклонников, так удачно – в первый ряд. Кажется, это был ее первый концерт после возвращения из ссылки. Она была на невероятном подъеме, голос был иногда такой силы, что казалось, стены рухнут. Весь этот концерт был как цунами, как землетрясение.

1958 год – вечер Евгения Евтушенко в Литературном музее на Якиманке. Стихи о вождях на Мавзолее, которые “делают ручкой”. Новые времена! Потом, вскоре – уже огромный зал спортивной арены в Лужниках! Один худенький Женя держит два с половиной часа десятитысячный зал! И народ вопит от восторга и просит “еще, еще!”. В зале – атмосфера свободы и единения. Евтушенко воспринимается революционером! В Малом зале Консерватории – концерты Святослава Рихтера и Нины Дорлиак. В Большом зале – Бах, М.В. Юдина. В доме Армянской культуры – великий трагик Ваграм Папазян – Отелло, Гамлет.

В Октябрьском зале Дома Союзов – первые послевоенные концерты Изабеллы Юрьевой. Публика больше немолодая, те, кто слышал ее до войны. Выглядела она плоховато, с какой-то жалкой нелепой прической. Но голос остался, как будто и не прошло двадцать лет. Песни всем наизусть знакомы, поэтому такой был взрыв восторга после каждой. Повеяло наивными годами нэпа. Для меня в эстрадном жанре уже давно бог был только один – Александр Николаевич Вертинский. Еще перед армией я был на всех его концертах в Москве. Только в зале гостиницы “Советская” подряд был на четырех концертах, ходил как на работу, старался запомнить каждое слово, каждую интонацию, каждый жест. Все они чуть-чуть отличались друг от друга. Начинал он всегда “Аленушкой”, затем – “Чужие города”, “В степи молдаванской” и т. д. Последний концерт его я слушал в клубе имени Ленина при Трехгорной мануфактуре на Пресне. Несмотря на даль, народу было битком. Ехал в клуб на трамвае, и, когда брал билет, кондукторша возмущалась: “Да что там сегодня, в этом клубе? Прямо вся Москва едет, и все какие-то нездешние, интеллигентные, сдачу не берут!”

Попал однажды в Центральный дом литераторов на вечер,

посвященный Жану Кокто. Я, помню, увидев афишу, обалдел. Сам Жан Кокто! Да это же “Русские сезоны”, времена Дягилева, Пикассо, Стравинского! Разве он жив? Содержание вечера не помню, хотя вел Эренбург; как-то было все не о том, какой-то сумбур. Но зато мне врезалась в память сценка, когда с трудом идущего Ж. Кокто вели под руки (в ресторан ЦДЛ) справа – Михаил Светлов, слева – Илья Эренбург. Я вглядывался в легенду. Жан Кокто! В Москве! В ЦДЛ!

Гордость и предубеждения

Вскоре я ушел из института, хотя некоторые профессора относились ко мне очень хорошо, уговаривали остаться, даже записали меня в академический отпуск. Но я уже для себя решил не брать то, что само легко плывет в руки, и этим соблазнительным предложением не воспользовался. Конечно, впоследствии не раз об этом жалел. В силу природной непрактичности я меньше всего думал о том, на что жить. Но этот вечный вопрос все время вылезал сам собой. Я все еще ходил в армейской, защитного цвета телогрейке, как хиппи.

Вначале попал в мастерскую, где готовились к исполнению большой мозаики “1905 год” по эскизу В. Фаворского. Для начала предлагали разбирать ящики со смальтой – по цветам. Работа неторопливая, на любителя, но я сгорал от нетерпения выложиться, вкалывать изо всех сил. Тогда ведь нельзя было продавать свое творчество, минуя худсоветы, – а там везде все схвачено намертво!

Даже в конце шестидесятых все наши великие ныне звезды нонконформизма отдавали свои работы почти задаром, а то и просто дарили коллекционерам и “поклонникам”. В 1968 году я сопровождал по мастерским художников Лианозовской группы, где были Рабин, Мастеркова, Немухин, Шварцман, некого итальянского издателя Юрия Крайского. Так тот брал с собой вместо денег полпортфеля копеечных цветных авторучек и ими с великой важностью расплачивался за картины. Так что для “бытовой” жизни у всех был какой-то заработок “на стороне”: преподавание, иллюстрации, декорации, работа в комбинатах МОСХа.

Но у меня пока выбора не было, так как не было диплома. Поэтому оставались лишь низшие ступени советского бизнеса, очень своеобразные!

В живописном комбинате предложили войти в бригаду копиистов, которые конвейерным поточным методом изготовляли повторы картины Владимира Серова “Ленин провозглашает советскую власть на II съезде Советов”. Писали копии не с оригинала, а с “эталонов”.

Один, самый маститый, писал Ленина и вождей, другой – толпу, третий – еще что-то. Кто-то писал люстру и фон, мне же предложили только “подмалевок”. Отказался вежливо. Кстати, слышал рассказ участника этого II съезда Советов, на конференции в Манеже. Видно было по нему, что мужик простой, работяга, не политик. Но – недоглядели. Он говорит: “Всё в этой

картине вранье, ничего похожего. Люстры не горели, стоял махорочный дым и вонища фронтовая. Ленина не пускали на трибуну, его не узнали. Он ведь был тогда, для конспирации, без усов и без бородки, да еще зуб болел, щека подвязана. Только Свердлов его узнал и вытащил в президиум. Вот что надо было рисовать!" Художники здорово испугались. Ну, это к слову.

Следующим этапом одиссеи был цех сухой кисти, где производились огромные портреты вождей для празднеств. Это было самое выгодное занятие в то время, и никого они к себе не брали. Надо было год стажироваться – и никаких перспектив в будущем! Наконец, благодаря одной милой даме с красивым именем Марлен, попал в компанию оформителей на ВДНХ. Это был, к счастью, совсем другой уровень: почти монументальное искусство! "Декоративные панно", фризы, фрески. Пафосная, очень по-советски "правильная", но все-таки живопись. Главным художником ВДНХ был в то время Роман Клике, из плеяды конструктивистов двадцатых годов, отсидевший срок в ГУЛАГе. Нашим боссом был тогда Толя Гитберг, талантливый креативщик. Художники разных специальностей составляли бригаду. Всего в бригаде – 6 человек. Оформители того времени – люди особые, энергичные, всегда нарасхват, востребованные постоянно. Года полтора я работал в этой области. После армии, наверное, это была неизбежная передышка. Один раз чуть не свалился с высоты 8 метров – "поехали" леса; другой раз, делая фреску, потерял сознание от паров нитрокраски.

Такси в “Асторию”

После каждой зарплаты, согласно заведенному ритуалу, вызывали два-три такси к Хованскому входу ВДНХ и “с ветерком” мчались наперегонки в центр. Любимыми местами застолий были “Прага”, “Астория”, “Арагви”, кафе “Националь”. Там чаще всего можно было встретить художников из других кланов, посмотреть друг на друга. Но компании никогда не сливались, не объединялись. Приветствия, дежурные улыбки, рукопожатия – и всё. В “Националь” постоянно заходили художники Лев Збарский, Марк Клячко, Юрий Красный, Борис Алимов и другие. Это был московский аналог “Ротонды”.

Вдоволь насладившись беспечной жизнью “профессионального халтурщика”, я в один из прекрасных ресторанных вечеров вдруг четко понял, что тону. Только что кто-то из всемогущих боссов предложил мне перейти на новую, более денежную ступень – сделать работу не по чужим, а по своим эскизам. Еще год назад я был бы счастлив, но теперь почувствовал: нет, хватит. Если я соглашусь, потеряю еще год и, очевидно, навсегда погрязну в недрах этого комбината. Поразвлекался, отдохнул – хватит, надо делать что-то более серьезное, в более серьезной обстановке. А то ведь уже погряз в дружбах, романах и долгах: уютно и тепло, как в болоте летом. Здесь, в этом жанре, нет места твоему “я”, а есть только мнение заказчика. Но надо решиться! Выйти ночью из теплого поезда в холодное темное поле и пойти неизвестно куда! Но зато над тобой будет звездное небо, где мерцает улыбка Сидящего на небесах! Он всегда бросит тебе спасительную соломинку— не бойся!

Легендарная “Промграфика”

Так и мне была как бы случайно брошена такая соломинка в виде известной в Москве мастерской “Промграфика”. Она в те годы славилась блестящим созвездием имен художественного совета и самым высоким уровнем исполнительского ремесла.

В совете тогда были лучшие мастера книжного дизайна (хотя и слова такого еще не употребляли). Это В. Лазурский, С. Пожарский, И. Фомина, Г. Кравцов, А. Крюков, А. Маркевич, М. Клячко во главе с бессменным председателем А.Н. Побединским.

Когда я пришел в мастерскую, основной работой было оформление технических изданий. Много было фронтовиков. Это были серьезные люди, владеющие своим ремеслом. У меня же не было ни ремесла, ни мастерства, ни даже понимания того, что надо вообще делать, чего от меня ждут. Поэтому первые заказы были большим испытанием.

Мне дали две технические обложки – “Тоннельные переключатели” и “Асинхронные электродвигатели”. И я вложил в эти обложки то единственное, что мог выдать, – свое эмоциональное восприятие темы. Такой ход, очевидно, никому до сих пор просто не приходил в голову. Художественный совет с восторгом отметил обе, очень шумно, и сразу же пригласил на Первую выставку шрифта. А я впервые в жизни вообще сталкивался со шрифтом! Так что они меня сразу “купили”, и я их искренно полюбил. Как ни странно, и заказчики тоже были очень довольны. Очевидно, техническим людям иногда хочется увидеть свой скромный труд в романтическом ореоле. Там я нашел гармонию между самовыражением и функциональностью, превратив это в прием.

Я прекрасно понимал, что мне пока просто повезло и ремесло дизайна предстоит осваивать с нуля. Худсовет стремился создать в мастерской единый для всех уровень графической и стилевой грамотности, познакомить нас с лучшими мировыми образцами дизайна, историей искусств, стилистикой разных эпох. Постепенно создавалось единое представление о хорошем вкусе, что объединяло мастерскую и превращало ее выставки в некий эталон в своем жанре. Все это делалось с целью хоть как-то “облагородить” царившую после войны чудовищную безвкусицу в оформлении книг, товаров, упаковок, сувениров. Замахивались и на оформление улиц, витрин, автомобилей, судов. Хотели возродить эстетику советского авангарда двадцатых, открытия эпохи конструктивизма. Часто худсоветы превращались в лекции и дискуссии об искусстве.

Заказы шли со всех концов Союза, авторитет мастерской был очень высок. Первоначально эта новая волна встречала сопротивление инертных заказчиков, но постепенно всех их перевоспитали, включая Министерство культуры СССР. Как раз на заказах этого Министерства, а именно “рекламном обеспечении гастролей зарубежных театров”, я неожиданно для себя специализировался в начале шестидесятых годов. Переломным моментом был плакат “Марсель Марсо” 1966 года, решенный в стиле минимализма, и экспортный плакат “Советская мода в Монреале” того же года, который представлял СССР на Всемирной выставке.

Земля обетованная

В незапамятные шестидесятые вся наша промграфическая тусовка стремилась летом открывать какие-то новые места отдыха, неизвестные москвичам. Все удовольствие от этих поисков состояло в том, чтобы осенью вернуться и рассказать коллегам, что вот, дескать, я нашел место, где не ступала нога москвича. “Поезжайте туда на следующий год, могу дать адресок”.

Так я попал в Ново-Петровку, село на берегу Азовского моря, в 20 км к востоку от Бердянска. Москвичей там действительно не было, да и других отдыхающих немного.

Стоял жаркий август, уже недели две на небе не было ни облачка, жара, казалось, утвердилась здесь навечно. Помидоры стоили 5 копеек за килограмм, арбузы – 15, дыни – 20. Каждый полдень рыбаки привозили улов бычков, дюжина – рубль.

На отдыхе, конечно, главное – море. Азовское – мелкое, прогретое, с бесконечными песчаными пляжиками, абсолютно пустыми, если отойти чуть-чуть от села.

Я плыл в море вдоль берега в одиночестве и почти заснул в воде, скользил с закрытыми глазами, автоматически. Вдруг откуда-то сверху, над собой чувствую тень и слышу знакомый голос: “Витя, привет!” – так лениво, спокойно, будто только вчера расстались. Открыл глаза и обомлел: посреди моря стоит человек в ярко-розовых трусах, в усах и с улыбкой до ушей.

Леонард Данильцев! Из МСХШ! А он как бы и не удивлен встречей в море: “Вставай, здесь мель, отдохни!” Объятия, восторги. “Пойдем на берег, там наши, познакомлю!” Я понял: конец отдыху от московской тусовки, конец сладкому одиночеству. Доплыли до берега, сидит компания, звучит магнитофон, громкая музыка. Слышу – Вивальди! Леонард знакомит: “Лида, моя жена. Нина, моя сестра. Сережа, ее муж. Игорь, наш друг. Галя, его жена”. Все еще белые. Ну и ну! Все такие радостные, милые, как будто меня ждали. Началась общая жизнь. Но через пару дней стало скучно и решили идти в поход, в степь. Нам сказали, что если идти берегом на восток, через 10 км будет Куликова балка, рыбацкий поселок, где красная рыба, красная икра чуть ли не даром. Встали в 6 часов утра, собрались и пошли вдоль однообразного песчаного берега Азовского моря – вперед, навстречу солнцу. Слева бесконечная ковыльная степь – дикая, нетронутая. Справа – море. Ароматы цветов, полыни и душицы веют слева, соленый запах рыбы – справа. Идем уже третий час – ни души. Только справа берег моря стал высокий и

обрывистый. Становится очень жарко, хорошо, что на всех большие соломенные шляпы, хорошо, что воды взяли много. Но где же балка? На четвертом часу пути впервые видим столб, на столбе табличка: “Автобус до Ялты”. Мы обалдели: что это значит? Кто-то радостно вопит: “В Крым пришли!” Стали гадать, что это: шутка? Мираж от жары? Заспорили – где этот Крым? Географию никто не помнил, но все уверовали, что мы пришли в Крым. Я говорю: “Ребята, до Крыма тут километров сто в другую сторону!” В общем, встали и побрели дальше. Через полчаса пути опять столб с табличкой: “Алушта”. Мистика, чертовщина! Леонард, известный лентяй, говорит: “Я полежу, может, автобус подойдет”. “Какой автобус, ты посмотри, табличка вся ржавая, старая. Здесь никто сто лет не ездил, и дороги нет, целина!” Стали решать, что делать дальше. Но любопытство взяло верх, и решили – будь что будет, идем до конца, куда-нибудь дойдем, день еще длинный. Часа через два – снова столбик “Поселок Балаклава – 3 км”. Мы уже ничему не удивляемся, Игорь рассказывает о геометрии Лобачевского, о кривизне пространства.

Вдруг видим с одного холма россыпь белых домов с красными черепичными крышами – что-то не наше, а скорее, греческое; спускаемся в балку – вдруг сверху грохот, ржанье – несется таратайка с парой лошадей в мыле, а в таратайке стоит во весь рост полуголый загорелый красавец, вылитый Антиной, правит лошадьми на бешеной скорости, скаля белые зубы. Девицы рты раскрыли – оторваться не могут. А красавец промчался мимо, даже не взглянув на нас. Совсем стало не по себе: куда мы попали? Кругом ни души. Постучали в дом – закрыто, в другой – закрыто. Вдруг увидели человека, выходящего из длинного странного сарая без стен. Кто-то кричит: “Дяденька, подождите!” Тот остановился, помахал рукой, как бы зовет. Подошли, задаем глупый вопрос: “Куда мы попали, скажите?” – “Хутор Балаклава”. – “А это Крым?” – “Какой Крым, вы что, одурели? Это Донецкая область, вернее, граница Запорожской и Донецкой, мы – посередине… Никто нас брать не хочет, у нас ни света, ни газа нет. Две области спорят, а мы – без ничего! Здесь греки живут, не удивляйтесь, у них все по-своему, и говорят по-гречески. А я вот им в сарае табак сушу, можете посмотреть. Табак отличный, ароматный, турецкий”. – “А где народ?” – “Греки работают, у них строго! Все на работе до вечера”. – “Ну и чудеса! Прямо земля обетованная!” Мужик этот говорит: “Оставайтесь, есть дом пустой, в колхоз вас примем!” Посмеялись, а сами думаем: “Мечта! Вот бы где пожить! И гори все огнем!”

Улыбка Гагарина

В начале шестидесятых годов я, оставаясь штатным и преданным художником “Промграфики”, все чаще стал выполнять заказы на рекламные плакаты Госконцерта СССР. В те годы большое значение “наверху” стали придавать так называемому культурному обмену со странами всего мира. Подоплекой всего этого, очевидно, была необходимость в валюте, которую без особых усилий могли дать государству гастроли советских артистов и коллективов по всему миру. Спрос на “советских гениев” был широким и постоянным во всех странах. Ансамбль Игоря Моисеева, “Березка”, советский цирк, балет Большого театра привозили валюты не меньше, чем продажа машин и сырья. Но контракты заключались на взаимной основе, поэтому и в Москве мы могли видеть самые лучшие театры и оркестры мира. Всем этим обменом и занимался Госконцерт, а конкретно рекламой и пропагандой – его отдел печати. Я начал там работать, когда еще директором был А. Бони, а начальником отдела – Г.Агаджанов, а после него двадцать лет – Медовый Семен Исаевич. Размещался Госконцерт СССР тогда на первом этаже особняка Министерства культуры СССР на Неглинной улице, рядом с Петровским пассажем. С другой стороны Пассажа был замечательный магазин “Охотник” – мекка для охотников и рыболовов, конечно, при наличии билета члена Охотничьего общества. Я, помню, любил заходить в “Охотник” посмотреть на многочисленные чучела уток, фазанов, чирков, сов и всяких лисиц и волков, стоящие вдоль стен магазина на высоких стеллажах темного дерева. Покупал там фонарики, складные ножи, шпагат, складные стулья для этюдов, резиновые сапоги для походов.

И вот, сдав с утра очередную работу редакторам отдела, я вышел на раскаленную от жаркого июльского солнца и потому почти пустынную Неглинку. На пустой улице странно выглядела группка людей, столпившаяся вокруг кого-то у дверей магазина “Охотник”. Проходя мимо них, я из любопытства пригляделся: очень знакомое лицо, сияющие голубые глаза, белозубая улыбка… Гагарин! Вот так запросто, посреди улицы! Без формы! В обычной тенниске, с большим пакетом в руках. Я нерешительно остановился в некотором отдалении, не зная, удобно ли подойти поближе.

В этот момент все начали двигаться через тротуар к машине, стоявшей тут же (марку, честно сказать, не помню – тогда мне было все равно). Гагарин открыл машину, положил пакет в

багажник, уже хотел сесть за руль, но в последний момент остановился у открытой дверцы и, все так же широко улыбаясь, неторопливо стал весело отвечать на вопросы, сыпавшиеся со всех сторон.

Вопросы были особые, профессиональные. О карабинах, мелкашках, спиннингах, наживках и т. п. Видимо, старались показать эрудицию, не ударить в грязь лицом. А главное – разговорить Гагарина, чтобы побыть возле него еще несколько минут.

Тут и я решился подойти поближе. Народу собралось уже человек десять, стояли, облепив машину со всех сторон. И все что-то спрашивали. Гагарин, к счастью, никуда не торопился. Ему, видимо, было даже интересно поговорить вот так, невзначай, со случайными людьми, стоя в центре Москвы, после всех своих триумфальных поездок по миру. Я стоял уже вплотную к нему и не мог оторваться от его необыкновенного, открытого и счастливого лица, от его необыкновенной, какой-то застенчивой и мягкой улыбки, дружелюбной и доброй. Не было в ней ни звездного самодовольства, ни затаенной хитроватости.

Такой абсолютной открытости взгляда я, признаться, никогда раньше не встречал – всегда считалось доблестью выражать взглядом силу, твердость, проницательность. А тут – “вот я весь как на ладони, ничего не таю – берите меня таким, какой я есть!” Мне показалось, что это взгляд человека из будущего – счастливого будущего, где нет ни злости, ни интриг, ни стукачей, ни доносов, ни тщеславия. Я думаю, все мужики, стоявшие вокруг Гагарина эти десять-пятнадцать минут, почувствовали то же самое, что я. Как ни странно, но никто не лез – ни за автографами, ни с фотоаппаратами.

Наконец Юрий Алексеевич стал пожимать руки всем стоявшим рядом. Он как-то смущенно оглядел толпу, сказал: “Все, ребята, спасибо вам, я поехал!” Помахал рукой тем, кто стоял сзади, сел за руль и еще раз, в окно, улыбнулся, как мне показалось, глядя на меня.

Затем толпа расступилась, давая дорогу, и Гагарин медленно отъехал, повернув направо за угол, в сторону Петровки.

Советский Монмартр

Сретенский бульвар, дом 6/1. Знаменитый дом страхового общества “Россия”, который вытянулся почти во всю длину Сретенского бульвара. С легкой руки товарища Терехова, бывшего полковника, а затем, на пенсии, многолетнего управдома этого московского улья дом стал настоящим оазисом искусства в Москве. При помощи кипучей энергии некого инженера Когана здесь было создано около 40 мастерских художников всех жанров, располагавшихся под крышей этого дома. Художники платили Когану, а Коган – Терехову, но все это было очень по-дружески, умеренно. Славу этому дому принесла мастерская Ильи Кабакова, “родовое гнездо советского концептуализма и нонконформизма”.

Неоднократно, поднимаясь в его мансарду, я видел на чердаке процессию хорошо одетых мужчин и дам, осторожно, ощупью ступающих по узким мосткам, проложенным над морем вековой грязи через бесконечный ряд чердачных помещений. Это был вход в святая святых – мастерскую Ильи Кабакова. Я помню, кто-то спросил Кабакова, почему он не сделает ремонт на чердаке или хотя бы лампочки посветлее. Ира Рубанова ответила: “А зачем? Они же идут к самому Кабакову – пусть помучаются! Зато запомнят надолго!” Сам же Илья говорил, что вся эта конспирация для того, чтобы “лишние люди не совались”. Свои-то люди приходили по крыше и влезали в окно, спрыгивая на рабочий стол – как Юло Соостер, предупреждавший о своем приходе грохотом тяжелых армейских башмаков по крыше чердака мастерской.

Илья, по-моему, очень любил Соостера. Он как-то сказал мне, когда я смотрел в мастерской его книги, изданные в “Детгизе”: “Я не тратил время на создание своей особенной манеры рисования. Я взял манеру своего учителя, Алфеевского. Она мне нравилась, и я долго не думал. Главное не манера, а то, что сказать хочешь”. Я хорошо запомнил эти слова, в них мне увиделась суть философии Кабакова. “Само по себе изображение, картинка ничего не значит, если ты не понял, какую мысль оно в себе заключает. Экспрессия, эмоции – это прошлое. Вот смотри: все холодно, спокойно, а внутри – смысловой взрыв”. Со своего скромного чердака на Сретенском бульваре Толя Кабак (так мы звали его в школьные годы) бросил вызов всей истории искусства – и победил.

Возвращаясь к мастерской Кабакова, вспоминаю его всегдашнее гостеприимство, вечные цыплята табака. Огромные блюда с закусками, грудами зелени на длинном столе возле камина, создававшего вечером диккенсовское настроение в

темной большой комнате. Помню, как говорили о Вите Пивоварове, который тогда уже уехал в Чехию. Илья тогда был очень открытым человеком, абсолютно без фанаберий, всем помогал чем мог. Все тогда еще только начинали, были скромны и неприхотливы. Но вскоре стали уезжать – кто в Париж, кто в Нью-Йорк, кто в Тель-Авив. К тому же начались странные пожары, что ускорило отъезды. Рядом со мной сгорели за несколько дней мастерские Саши Блоха, Димы Надежина, Юры Смирнова и др. Причины пожаров никто не выяснял. А через пару лет и у меня сгорела мастерская на втором этаже. Потолки там были 4,5 метра, я только сделал ремонт, построил антресоль с лесенкой, где хранились все работы за двадцать лет, в основном графика и альбомы набросков. Туда-то огонь полыхнул в первую очередь – дерево, бумага, сгорело всё. Оставаться там было невозможно, и я обменялся на Мневники, где работал до 2017 года, потом переехал на Брянскую улицу. До сих пор без волнения не могу войти в наш двор со знаменитой дворцовой решеткой, где снимались многие фильмы, где жили Ю. Григорович с Н. Бессмертновой, где после съемок я выпивал однажды с Е. Евстигнеевым и И. Лапиковым.

Неповторимые застолья эпохи застоя

Вспоминая шестидесятые годы, нельзя не сказать о совершенно бесшабашных, неумеренных и в то же время счастливых застольях того времени. Счастливыми для нас они, вероятно, становились от сознания, что мы все просто так, добровольно, беспричинно любим друг друга, что нам ничего друг от друга не надо, кроме хорошей компании. Считалось тогда, что хороший собутыльник важнее хорошего работодателя или делового знакомого. Помню, как у нас в полуподвальной квартире на Остоженке, возле Зачатьевского монастыря, собирались совершенно разношерстные компании по 35 человек, а мне, за неимением места, приходилось сидеть в дверях, на тумбочке. Стол всегда, естественно, ломился от алкоголя всех сортов, салатов оливье и черной икры в неправдоподобном количестве. Кто-то привозил ее тогда прямо из Азова в литровых банках. Но конечно, за казенный счет “гуляния” были еще масштабнее, продолжались два-три дня, как, например, на некоторых “семинарах” художников, всесоюзных фестивалях или рекламных слётах, организуемых Министерством торговли. Поскольку мне приходилось работать с различными заказчиками, а где-то и лекции читать, круг таких веселых мероприятий тогда был очень широк. Иногда эти “клановые” застолья принимали комический характер.

Однажды я был зачислен в творческую группу “Промграфики”, которая разместилась в замечательном санатории “Хоста”, и опоздал к началу на несколько дней. Были последние числа февраля, в Хосте и на всем сочинском побережье стояла чудесная весенняя погода. Ярко светило солнце, море сверкало и манило. Наш Дом творчества стоял у самого берега моря, у кромки. Но ни на пляже, ни на широких ступенях парапета, ни даже у лоточков под белыми зонтами, где в разлив продавали армянский коньяк и виноградный сок, не было ни одного человека.

Войдя в дом, я спросил у дежурной: где же все художники? Она тоже была в недоумении: “Знаете, я сама удивляюсь! Такая погода, скоро обед, а никто еще не выходил!” Пошел искать по коридорам. Все комнаты открыты, но никого нет. Наконец где-то слышу голоса, как будто знакомые. Открываю дверь – густой табачный дым и запах перегара. Человек пятнадцать устало сидят за большим столом, уставленным бутылками. Бутылки на полу, на подоконниках, везде. Меня встречают вопросом: “Деньги привез? А то мы всё пропили, три дня пьем! Давай сюда, сейчас

сгоняем в магазин!” Я говорю: “Ребята, такая погода, купаться можно, вы сидите!” – “Ничего, еще искупаемся, еще два месяца! Хорошо сидим, быстро давай садись, не стой на глазах!” – приказание приходит от председателя профкома. Рядом и парторг, и комсорг. “А что за повод-то, в честь чего пьем?” – “Да вот, позавчера Слава Маркин купил брусок для бритвы, вот и обмываем!” Причина веская, отказаться нельзя: коллектив родной! И все-таки было в этом кретинизме что-то ускользающее от понимания, что-то демонстративно вызывающее по отношению к общепринятым нормам правильного, здорового поведения. А может, вызов “здоровой” советской жизни.

Другой колоритный и очень характерный для брежневского времени эпизод случился со мной в той же “Хосте” в конце апреля. В Дом творчества приехал директор военного санатория “Южное взморье” с просьбой в порядке шефства прислать им художника “для консультаций”. Я подумал: почему бы не отдохнуть еще две недельки в хорошем санатории! Когда сдал все эскизы и планы, которые они просили, директор расчувствовался и говорит: “Простите, что не могу заплатить за вашу работу деньгами, но приглашаю на банкет в узком кругу”. Через пару дней на двух “газиках” поехали в горы в таком составе: сам директор, Александр Сергеевич, его “завкультурой” и “близкая подруга”, эффектная разбитная брюнетка южнорусского типа Олеся Григорьевна, ревизор из Москвы Володя, полковник-строитель Вахтанг. Как стало ясно из разговоров по дороге, вся эта затея была предпринята исключительно в честь московского ревизора, в котором директор был серьезно заинтересован и не скрывал этого. Во всяком случае, его верная подруга так и вилась вокруг этого Володи, тщедушного парня в костюме, пока что довольно молчаливого и важного.

На двух машинах мы поднимались в горы по сухому руслу речки Бзыбь. Под конец наши “газики” с трудом брали каменистые крутые подъемы. Наконец въехали в глубокое лесистое ущелье; из-за огромных деревьев не сразу разглядел некое подобие английского замка, задней стеной которого служила отвесная гранитная скала черного цвета. Внутри все было комфортабельно: кресла, диваны, зеркала. Со второго этажа, через широкие окна открывался редкой красоты вид на ущелье, лесные дали, море на горизонте.

А под окнами располагался каскад прудов, где разводили форель. В самом нижнем можно было видеть уже крупных серебристых рыб. Еще была пасека на горном склоне, большой птичник, щитовые домики обслуги, гостевые дубовые столы под крышами, беседки на выступах скал над обрывом. Какой-то

сказочный, райский уголок. И все это, как сказал сам директор, он построил “самодеятельно”, без бюджета, смет и т. п. на деньги, которые сэкономил за время своей работы. “Исключительно для того, чтобы принимать здесь хороших людей”, как он нам объявил. Для этого ему и нужен был московский ревизор – посоветовать, как это богатство “легализовать”.

Из машины понесли ящики с коньяком и шампанским. Мы уселись за большим накрытым столом, под сенью высоченного старого вяза. И начался не банкет, а настоящий спектакль: хлопок директора в ладоши – челядь тащит огромный котел с ухой, разливает в такие же огромные тарелки. Тосты, здравицы в честь всех присутствующих, пьем стоя в честь единственной дамы и т. п.

Снова директор требует внимания, снова его “особый” хлопок в ладоши – как из-под земли обслуга в белых фартуках и колпаках тащит огромные сковороды с запеченной форелью. Все не на пять, а как бы на пятнадцать человек, в неимоверном количестве. Видимо, с расчетом. Постепенно градус застолья повышается. Хоть и крепкие все бойцы, хоть и пьется на свежем лесном воздухе изумительно, но частота тостов и величина стопок дают себя знать. Все размякли, расслабились. Олеся Григорьевна пытается что-то спеть украинское под аккордеон. Директор ее перебивает и пытается прочесть Есенина, выкрикивая: “Излюбили тебя, измызгали!” Ревизор смотрит на все действо как-то диковато, но пьет водку наравне со всеми. Полковник рассказывает с грузинским юмором какие-то смешные истории из жизни стройбата, как что-то они строили, а потом оказалось, что совсем не то: чертежи перепутали. Я думаю, как бы это все снять в кино, на фоне вечернего заката, далеких гор, моря где-то за горизонтом, черных вязов. Тут директор предлагает: “Давайте форель ловить, кто больше!”, очередной хлопок – приносят несколько удочек, наживку и т. п. Но форель клюет не очень, видимо, сытая. И вдруг молчаливый ревизор снимает свой костюм, галстук, все прочее – лезет голышом в пруд, норовя схватить рыбину руками. Все растерялись – когда ж он успел так напиться? Олеся кричит: “Вылезайте, она кусается!” В ответ из пруда дикий вопль – у ревизора ноги в крови, он пытается вылезти, падает снова, опять кричит – уже и руки покусали! Полковник сует ему палку, кое-как вытаскивает на бортик. Олеся Григорьевна, добрая душа, мажет раны йодом, достает из аптечки бинты, обматывает беднягу. Но ревизор храбрится: “Наплевать, хорошо искупался, дайте коньячку!” Опять за стол, теперь все тосты – за пострадавшего героя. Директор встает на лавку, трижды хлопает в ладоши! Условный знак? Бегут те же повара,

теперь несут цыплят табака, сациви, пхали – всё грузинское! Пьем за Грузию, за Тбилиси, полковник просит спеть “Сулико” – пьянка приобретает кавказский акцент. Пьем только “Варцихе”, “Телиани”, что всех добивает окончательно. Чем кончилось всё – не помню. Но гуляли до глубокой ночи, перейдя в конце на душевные признания в любви и обмен мужскими тайнами.

Следующим вечером я уже летел из Адлера в Москву вместе с забинтованным, но абсолютно счастливым ревизором Володей.

Три плаката для Марселя Марсо

К счастью, я так и не выучил законов тяжеловесного и пафосного “советского плаката”, которые исповедовали выпускники Суриковского института. Плакат Марсо представлял собой почти что чистый белый лист, выражающий белую пустую сцену театра бессловесной мимики, а “Мода СССР” строилась как знак, восходящий к “Троице” Андрея Рублева, но в красном советском колорите. В обоих случаях, преодолевая сомнения и страхи заказчиков, я ссылался на одобрение Совета, и это решало вопрос. А уж потом, после успешно проведенного мероприятия, заказчик и сам понимал.

Кстати, за эти плакаты я получил в 1966 году первый диплом МОСХа, не будучи еще членом Союза художников. Вступил в 1967 году на Первой молодежной выставке, которую курировал академик Д.А. Шмаринов. При вступлении, которое тогда проходило в зале выставки на Кузнецком Мосту, в присутствии 75 человек правления МОСХа и решалось открытым голосованием, я показывал серию из 7 театральных плакатов. И хоть никто в правлении, кроме А. Васина, меня не знал, я получил почти полное большинство голосов.

В то время было много талантливых художников, конкуренция в Госконцерте СССР была достаточно жесткая, надо было искать, что противопоставить таким именам как Ефим Цвик, Марат Беляев, Валерий Локшин, Александр Денисов. Я пытался собрать в единое целое все изображение, чтобы работал сразу весь лист, единым “рекламным полем”. Сроки всегда были самые короткие, думать долго было некогда. Бессонные ночи перед Советом, поправки до последней минуты были обычным делом. А после всего везешь свою работу на улице Куйбышева, в приемную министра культуры СССР – и иногда там услышишь такое, что не знаешь, что и сказать! Мышление всех чиновников одинаково: “Надо делать проще, не мудрить. А то как бы чего не вышло!”

Зарубежные выставки плаката в те годы устраивало обычно Министерство культуры СССР. Театральный плакат вызывал даже больший интерес, чем иные выставки. О выставке в Париже был репортаж на Первом канале в программе “Время”. Правда, нас, авторов плакатов, никогда не упоминали. Расценки тоже оставались очень низкими по сравнению с политическим плакатом. Но мы, художники Госконцерта СССР, любили свое дело и не обращали внимания на такие мелочи, как оплата нашего творчества. Париж, Брюссель, Лос-Анджелес, Дамаск, Лахти, Осака, Будапешт, Эдинбург, Лондон, Варшава, Брно – вот

только некоторые из адресов выставок нашего плаката за рубежом.

Венцом признания наших общих усилий была выставка “Плакаты Госконцерта СССР” в престижнейших залах Центра Помпиду в Париже. Из 80 представленных экспонатов было 15 моих. Всего было около двадцати участников. Большинство работ было посвящено французскому искусству, и это налагало особую ответственность. Мне посчастливилось трижды создавать образ великого французского мима Марселя Марсо: в 1966, 1973 и 1985 годах. У одного из этих плакатов оказалась удивительная судьба. В этом плакате, очень скромном, сделанном в две краски совсем не плакатными средствами – акварелью и тушью, – я попытался создать обобщенный образ Артиста: творца, несущего через города и страны свое странное творческое “я”. В итоге этот нетипичный плакат вот уже 40 лет, вплоть до сегодняшних дней, гуляет по многим выставкам. В телефильме 2014 года, посвященном А.И. Райкину, этот плакат можно увидеть и в его гримерной, и в его квартире. В телепередаче о собственном доме М. Марсо плакат виден в его гостиной, где он, очевидно, висит с 1973 года. Он стал невольно моей визитной карточкой, а число выставок, где он экспонировался, я не могу сосчитать.

Я старался продолжить свои попытки совместить любовь к старинным книгам, офортам, гравюрам с заказной советской рутинной работой. Это отражено в таких листах, как “Ж.-Л. Барро”, “На Забрадли”, “Театр Талия”. Оказалось, что на уличных стендах, в соседстве с “убойными” гигантами “Слава КПСС!”, они спокойно выдерживают конкуренцию и безошибочно находят своего зрителя.

Как впоследствии скажет мне один известный кинорежиссер: “Мне не нужен плакат, который обращен ко всем сразу. Мне нужен плакат, который выдергивает из толпы именно моего зрителя!”

Деньги Пикассо

Хрущевский разгром художников в Манеже. Спустя несколько дней после этого нелепого события я зашел на какую-то выставку в Академию художеств. Просмотрев все, собрался уходить, как вдруг услышал какой-то шум за дверью конференц-зала. Приоткрыл дверь и увидел полный зал сидящих молодых людей и перед ними на сцене – Евгения Александровича Кацмана, старого художника, хорошо мне знакомого. Сейчас он в страшном возбуждении бил себя в грудь и с жаром вещал собравшимся: “Дорогие товарищи, я всего лишь скромный член-корреспондент! Но поверьте, и под скромной шинелью членкора может биться благородное сердце борца с абстракционизмом! Для этого я готов отдать все свои силы и знания! Искореним абстракционизм, формализм и космополитизм в рядах советских художников! А вы, мои дорогие друзья, как секретари райкомов и обкомов по культуре, напрямую обязаны поддержать Академию художеств в этом благородном деле! Исключать отщепенцев из партии и комсомола, поднимать массы на борьбу за социалистический реализм в искусстве!” Из зала стали выкрикивать вопросы: “Скажите, а как же вот Пикассо? Он же коммунист, а в то же время абстракционист! И свои огромные гонорары отдает в партию!” Товарищ Кацман покраснел от возмущения: “Я вам вот что скажу, товарищи! Кровью пахнут эти его деньги, эти доллары! Я бы их не взял!” Я понял, что происходит нечто вроде инструктажа молодых секретарей по культуре.

А они всё задавали свои вопросы: “А что такое вообще абстракционизм? Как это понять?”

Тут встает ранее сидевший молча за столом Дмитрий Аркадьевич Налбандян:

“Товарищи! Я вам просто отвечу на ваш вопрос! Вот представьте: я иду по улица и вижу – идет красивый девушка! Что я хочу делать? Я хочу пригласить этот девушка в своя мастерская и рисовать ее красивый тело! А что делает абстракционист? Он видит красивый девушка, смотрит на нее – а рисует какой-то табуретка, дорогие товарищи! Так пусть он и живет с этот табуретка, а мы с вами будем жить с красивый девушка!”

Зал бурно зааплодировал.

Пол Скофилд и Миша Козаков

Пока я работал в плакате, собрал целую библиотеку книг по истории театра. Все это было ново и интересно. Я хотел преодолеть “ограниченность” профессии. Одних “Гамлетов” я видел несметное количество. Еще будучи в армии, я как-то проник в Малый театр на гастроли Шекспировского театра, где играл Пол Скофилд, лучший Гамлет, которого я видел. (Весь спектакль я стоял у стенки в солдатской форме, привлекая всеобщее внимание.) Затем – романтический Ваграм Папазян. Затем – Е. Самойлов и М. Козаков у Охлопкова. Затем – Д. Ольбрыхский в польском театре. Затем – Константин Райкин, В. Авилов, Смоктуновский… Ведь если подходить к своей работе серьезно, главная задача художника плаката состоит в том, чтобы дать столько же разных стилевых решений, каждый раз выражающих средствами графики характер спектакля или фильма, не прибегая к пересказу сюжета.

В этом и трудность, и интерес работы театрального плакатиста. Я понял тогда еще в начале, что этот жанр может стать для меня нормальным способом самовыражения, ибо возможности его безграничны. Но для реализации идеи нужны были заказы, а московские театры, где все билеты всегда были распроданы заранее, считали выпуск плакатов ниже своего достоинства. “Подумают, что у меня билеты плохо продаются”, – говорил мне В.М. Школьников – замдиректора Театра им. Моссовета, с которым я работал более пятнадцати лет. Делали всё что угодно: книги, буклеты, поздравления, приглашения – но только не плакаты. Мои плакаты “Царь Федор” в Малом театре 1980 года, “Превращение” в “Современнике”, “Гамлет” в “Сатириконе” так и остались в выставочном варианте.

После вернисажа – в кутузку

В Музее Маяковского на Таганке открылась первая в советское время выставка Натальи Гончаровой и Михаила Ларионова. Конечно, нигде об этом не сообщают и не пишут, но народ все знает, и толпа такая, что работ не видно. Но что потрясает – это живая Лилия Брик! Меня вытащил сюда мой приятель по школе Леонард Данильцев. Он был женат на Лидии Давыдовой, солистке ансамбля барочной музыки “Мадригал” (впоследствии она его много лет возглавляла). На этом открытии с нами были восходящая звезда поэзии молодой Геннадий Айги и его невеста Наташа, юная актриса. И вот в этом составе нас приглашает к себе в мастерскую на Чистых прудах знакомый скульптор Карамян. Пошли. Мастерская оказалась в глубоком подвале, но высокая, вся уставленная античными гипсами Венер и Дорифоров. Сидим, выпиваем, ждем хозяина, он где-то пропал, телефона нет. Пока ждем, Гена Айги читает свои переводы из французской поэзии на чувашский язык, от Франсуа Вийона до Луи Арагона. Он задумал антологию французской поэзии на чувашском языке. И вдруг стук в дверь, какой-то хамский. “Откройте, народная дружина! У вас там дебош, пьянка и разврат, жильцы жалуются”. Наташа говорит: “Без хозяина я вам не могу открыть”. За дверью мат и крик: “Тогда мы вызываем наряд с Петровки!” Ушли. Гена продолжает читать, теперь по-французски. Вдруг снова крик, в стену бьют кувалдой, белые обои лопаются, трещат – и с высоты полутора метров падает на пол старая, заклеенная обоями дверь, и через этот пролом валятся мужики в черных кожанках. Кто-то из них падает в ящик с гипсом и поднимает облако белой пыли. Мы все онемели, они тоже в шоке, понять ничего не могут. Как-то отряхнулись, очень злые, требуют документы. “Если нет – идем в отделение”. Я просил: “Ребята, не ходите!” – но все пошли. Отделение рядом, через дорогу, лицом к прудам. Вошли. Внутри кружком стоят амбалы в форме, на лицах улыбки, ждут спектакля. Далее – все как по нотам просчитано, проверено, отработано. Сперва все амбалы орут, перебивая друг друга: “Извращенцы, тунеядцы: художники, писатели! Смотрите, как собрались – мужиков трое, баб двое: не могут как нормальные! А проститутки у них страшные! Ты, коротышка (на Лидию Давыдову), – почем берешь? Я б тебя и задаром не стал”. Наташа врезает этому лейтенанту пощечину. И они все бросаются на нее. Мы – вперед, отстоять, загородить, – а им только этого и надо. Через минуту мы уже связаны, еще бьют сзади по почкам, толкают в камеру, девочек – в другую. И я смотрю в глазок двери

– вся смена спешно уезжает и приходят другие. Дело сделано, прошло минут десять, а у нас уже по две статьи на каждого. Ребята еще не поняли, Гена Айги кричит: “Гестаповцы!” – и стучит в дверь. Леонард тоже. Реакции – никакой. Проходит два часа, входят четверо, выволакивают по одному, связывают “ласточкой” и бросают на пол в коридоре. Я молчу, чтобы не тратить нервы, это ведь не люди! Приходят к нам “ночные” тетки, сидят и пьют водку в “ленинской комнате” за столом с красной скатертью как ни в чем не бывало. Дверь открыта – не стесняются. Мы лежим, периодически что-то орем, но все пустое. Тетки ходят по коридору, перешагивают через нас, останавливаются, пьяно смеются: “Конец месяца, ребятки, все план выполняют!”

Утром появляется следователь Куйбышевского суда. Представляется: “Михайловский”. Вызывает по одному, предъявляет статьи от 3 до 5 лет. Спрашиваю: “А кто свидетели?” Оказывается, те же милиционеры, и уже все у них написано. Так что – “Подпишите протокол”. Мы отказываемся, опять орем, что не виноваты, что враньё. Время движется к обеду, и тут начинаются звонки в отделение милиции. Звонит сперва писатель К. Паустовский, затем С. В. Михалков, секретарь Союза писателей, кто-то из библиотеки им. Ленина…

Оказывается, Лиду Давыдову утром выпустили, и она, молодец, всех подняла на ноги. Часов в пять вечера нас, голодных и измученных, выбросили на улицу со словами: “Вас вызовут”. Этим, к счастью, все и кончилось. Скорей всего, имя Михалкова милицию напугало, “Дядя Степа” все-таки.

И вот мы, не успев осознать всего произошедшего, сидим на Чистых прудах и смотрим на гуляющий и веселый народ. А только что нам грозило от 3 до 5 лет по трем статьям УК. Что же это было? Шутка милиционеров? А ночь на полу, а пьяные бабы? Как будто открылся люк в какую-то преисподнюю, в какую-то другую реальность, которая рядом, куда можно попасть как в лужу, случайно, невзначай. “Был бы человек, а дело мы всегда пришьем”, – сказал нам на прощание некий неопознанный милиционер.

“Масленица” и большой советский бизнес

В качестве примера, подтверждающего мысль о “своем языке”, хочу рассказать об одной уникальной работе, которую мне довелось выполнить в 1972 году по заказу Министерства культуры СССР. В этом году по соглашению с Правительством США была организована впервые грандиозная выставка “ARTS & CRAFTS in the USSR”. Она была рассчитана на год работы в 8 городах Соединенных Штатов. Ответственной за организацию и открытие была лично Екатерина Алексеевна Фурцева.

Предполагались большие расходы в валюте, которой, естественно, не было. Американцы предложили удобный вариант: сделать 5 разных сувенирных плакатов в технике автолитографии тиражом по 500 экз., которые организаторы будут реализовывать на месте для оплаты своих расходов. Выглядело очень заманчиво: Минкульт экономил 125 000 долларов. Поручили все провернуть Худфонду СССР, т. е. чиновникам. И тут заработали вечные русские схемы (тогда мы еще думали, что они советские). Кому поручить? Вначале весь заказ хапнуло руководство в МОСХе. Потеряли много времени и практически ничего не сделали. Решили объявить конкурс – конечно, закрытый.

Привлекли опять “своих” графиков, прошло еще три месяца, и снова ничего не получилось. Орешек оказался не по зубам, не проходил ни один вариант.

Я, конечно, знать не знал всей этой подоплеки. Просто вдруг раздался звонок: “С вами говорят из Министерства культуры, референт по графике. У нас к вам срочное дело! Вы должны нас выручить, даже, если откровенно, – спасти! Но не меня, а Фурцеву!”

Первая мысль была – розыгрыш. Но в голосе звонившей дамы чувствовались дрожь и волнение. Как джентльмен, я не мог отказаться. Тем более Фурцева мне очень нравилась, впрочем, как и многим в то время, когда была министром культуры. В двух словах звонившая, а это была Ирина Абельдяева, рассказала мне всю историю откровенно. Когда все провалились, переложили на нее ответственность за успех проекта. До открытия оставалось полтора месяца.

Мне как раз тема была очень близка, я люблю декоративность фольклора. А то, что в основе должно лежать именно русское народное искусство, я решил без раздумий, ибо что еще могло быть более интересным в Америке, чем русский фольклор. Его декоративность понятна всем, но пока используется плохо, неумело и крайне редко. Хотелось показать, что фольклор может

звучать современно и мощно.

Я сделал три эскиза под грифом “Масленица”. Совмещал узоры русских прялок и Малевича. На коллегии Минкульта вначале всё принимают на ура. Но затем началось: “Где же идеология? Надо ведь показать наши достижения! Надо показать нашу столицу! Кремль! Тему космонавтики! Утереть нос США!” Эксперт из Внешторга говорит: “Товарищи, поймите, это ведь люди должны покупать для себя по 75 долларов!” – “А мы отвечаем перед партией за пропаганду! Если ее не будет – головы полетят! А продажа – бог с ней, за это не наказывают!” Приняли соломоново решение: принять к печати две “Масленицы” и “Москва космическая”, но печатать каждый не 500, а по 1000 штук. А сигнатуру, подпись автора с порядковым номером, повторить. Резюмировали: “Авось пройдет!” В общем, последующие три недели я ежедневно загружался с утра портвейном или коньяком и ехал в литографскую мастерскую на улице Вавилова, чтобы, распив с работягами и подняв им настроение, печатать свои плакаты срочно вне очереди. С трудом, но успели к сроку.

Доложили Фурцевой, что все хорошо, все готово, на радостях устроили роскошный банкет для узкого круга. Было несколько дам-референтов и главэксперт Управления ИЗО Эрих Николаевич Дарский. За столом чиновники оказались милыми, простыми и остроумными людьми. Я не переставал удивляться перемене характеров. Хохотали беспрерывно, все были в ударе. Однако радость оказалась преждевременной.

Финал всей этой затеи оказался столь же советским, как и начало. Узнал я об этом через месяц случайно, попав на какое-то совещание, где выступал директор Художественного фонда СССР товарищ Подкладкин: “Моя вина, товарищи, не учел я коварства американцев! Первые 500 штук сюжета «Масленица» продавались, как газеты. Когда всё продали, я запустил второй тираж с теми же номерами сигнатуры. Думали, никто не заметит! И вот, представляете – где-то уже через час, как мы начали, нагрянула полиция. И нас, кто был там, вместе с тиражом этим, всех арестовали за нарушение их законов. Дескать, обманываете коллекционеров, повторяете сигнатуру. Откуда же нам было знать! Пришлось вызывать консула, он извинялся. Но торговать впредь запретили, подвели мы Екатерину Алексеевну, конфуз получился!” Все посмеялись: “Что поделаешь, это наше, родное”. Я понял, что мое, авторское огорчение от потери интересного проекта никто здесь и не поймет. Никакой советской гордости у нашего руководства не было. Влипли в позорную историю и ничуть не расстроились. Сэкономили несколько рублей на

зарплате художника и потеряли сто тысяч долларов. Всё как всегда.

Дом моделей, пятый этаж

Где-то в конце шестидесятых меня пригласили сделать макет “Журнала мод”, издаваемого Общесоюзным Домом моделей одежды. Редакция журнала помещалась на верхнем этаже здания ОДМО на Кузнецком. Возглавляла ее Вера Кирилловна Склярова, внешне суровая, но очень знающая и передовая по своим взглядам женщина; ей удавалось в условиях всеобщих запретов и допотопной полиграфии выпускать неплохой, в общем, журнал. Меня попросили попробовать как-то освежить журнал, сделать его более современным, найти новые подходы к обложке, к фотографии, к стилю. В Доме моделей очень сильны были старые советские традиции. Так, например, манекенщицы подолгу застывали перед камерой, чтобы не испортить кадр – пленка отпускалась строго по плану, по нормативам. Вместе с молодым фотографом Лешей Спиваком мы впервые начали снимать модели в движении. Нас поддерживал фоторедактор Борис Буристов, и результат сразу же сказался. Новая “острая” обложка и “модульный” макет вызвали восторг худсовета. Председатель Олег Кулиш (брат известного кинорежиссера Саввы Кулиша) даже предложил мне тут же вступить в Союз журналистов. Позднее познакомился с модельерами ОДМО, очень известными художниками Галей Гагариной, Леной Стерлиговой, Аней Трофименко. Особенно запомнилась, конечно, встреча с восходящей звездой Дома моделей Славой Зайцевым. Мы как-то сразу нашли с ним общий язык, общих кумиров. Я был у Славы в его только что полученной маленькой квартирке на улице Маркса-Энгельса. Помню поразивший меня чисто белый интерьер с букетами белых цветов в белых вазах. Впервые у Славы я увидел огромные, роскошные монографии Бакста и Климта. Разглядывали и смаковали каждую страницу. Это были подарки Пьера Кардена, первым оценившего необыкновенный талант Вячеслава Зайцева. Позднее Слава приезжал ко мне на Остоженку, консультировал работу над плакатом “Советская мода в Монреале”. Помню его гениальные “летящие”, легкие рисунки того времени, плакат к спектаклю “Вишневый сад” в Берлине, где он делал костюмы. Он был в первые годы творчества скорее поэт, чем деятель моды, экрана или бизнеса. Что ж – всему свое время.

Омские встречи

В начале восьмидесятых Светлана Ставцева, главный художник известного в те годы по всему Союзу Омского театра драмы, пригласила меня поработать. Там же работал и ее муж, известный театральный художник и мой друг по учебе в МСХШ Николай Эпов. Так что собиралась хорошая компания, нельзя было не попробовать. Омск поразил сибирскими морозами под 40 градусов и красивым старинным зданием театра. Когда начал отсматривать спектакли, удивление еще больше возросло. Таких эмоциональных, захватывающих постановок в Москве я как-то не видел. Мастеров, казалось, было много, а страсти, открытого чувства – не очень. Первые спектакли: “Двое на качелях”, “Орфей спускается в ад”, “Царская охота” помню до сих пор. Дуэт Тани Ожиговой и Николая Чиндяйкина – это живая жизнь на сцене. Красавица Ожигова воплощала пылкость и страсть, Николай – внешнюю сдержанность при глубокой внутренней эмоциональности. Но главное, все актеры жили как бы в одном ключе. Чонишвили, Лобанов, Ицков, Алексеев – я сразу запомнил неизвестные тогда в Москве имена. У Николая и Татьяны бывал дома – прекрасная обстановка чистого искусства, поэтическая и возвышенная. Я думал: как оторвана Москва от всей страны, сколько энергии у нас уходит в пустоту! Мне хотелось сделать что-то полезное для этого театра, для Омска – серого, замершего, но не сдающегося. Первая же серия плакатов, появившаяся на стендах города, вызвала живой интерес: их сдирали со стен и вешали дома. Появилась хорошая статья в газете “Молодой сибиряк”, затем – в московской “Театральной жизни”. В целом я сделал для Омского театра около 40 плакатов за 8 лет.

Встречи с Наталией Сац

В начале шестидесятых поступил в нашу мастерскую заказ на плакаты от какого-то Детского музыкального театра. Никто не хотел брать “что-то детское, несерьезное”. Я посмотрел на бланк заказа: “Художественный руководитель театра Н.И. Сац”. Неужели та самая? В книге, придуманной и изданной Михаилом Кольцовым в 1935 году с предисловием Георгия Димитрова, театру Наталии Сац посвящена целая глава. Уникальная книга эта, шедевр советского дизайна и полиграфии, чудом сохранилась с 37-го года. Авторы, Михаил Кольцов и Мария Остен, расстреляны. Наталия Сац, говорят, тоже тогда исчезла в ГУЛАГе. На фото она юная, худенькая девушка. Неужели она смогла возродить свой театр?

Конечно, я не мог отказаться от этого заказа. Взял с собой книгу – “Губерт в стране чудес” – и поехал на улицу 25 Октября, где тогда располагался театр. Встретился с молодым директором, В. Проворовым. Он стал мне рассказывать историю театра – и тут вошла полная женщина в шубе. Наталию Ильиничну узнал сразу: улыбка та же, что и на фотографии в книге, хотя следы пережитого – несомненны. Тем не менее очень дружелюбна и доброжелательна, полна и обаяния, и шарма. Сотрудничество наше продолжалось несколько лет, сначала в старом помещении Славянского базара, затем в новом здании, на Ленинских горах. Чем больше я узнавал Наталию Ильиничну, тем сильнее ощущал, что эта так много пережившая женщина – настоящий вулкан жизненной энергии. Она как будто хотела наверстать упущенные годы, реализовать сразу все свои замыслы. Я смотрел на нее и думал, какой она молодец. Внешне она чем-то напоминала мне мать, и судьбы у них были схожи. Но Наталия Ильинична создала движение, охватившее весь мир, принесла столько радости детям разных стран, а моя мать свою энергию и силу потратила на то, чтобы всю жизнь оставаться винтиком в чьей-то политической игре, которая казалась ей великим делом. Как и ее сестра Рома, не оставившая после себя ничего, никакого следа, кроме пачки мандатов. Они, конечно, по-своему тоже были счастливы, но считали, что культура – это мальчик на улице, который своей щеткой чистит ботинки “борцам”, политиканам и вождям.

Я думал, глядя на Н.И. Сац: а может быть, она и пострадала от своей “чрезмерной” талантливости, как живой укор ленивым или бездарным коллегам? Как выразился Великий Вождь, глядя в спину уходящему из его кабинета М. Кольцову: “Слишком прыток!” Вот и вся вина. Что тут мудрить! Написал пару строк,

отнес куда надо – вот и нет конкурента, будь он хоть трижды гений. И живи себе спокойно, пиши гимны, получай ордена. Много таланта не надо!

Мне, помню, так хотелось поговорить обо всем этом с Наталией Ильиничной, но директор предупредил меня, что она никогда не поднимает эту тему и просит не напоминать ей о прошлом.

Наталия Ильинична запомнилась мне женщиной очень организованной, четкой. Когда начались встречи – надо было прийти минута в минуту. Часто я был свидетелем, как она спокойно, но жестко распекала подчиненных, даже директору доставалось. Но никто не обижался, авторитет в театре у нее был беспрекословный. Вместе с тем она любила посмеяться, ценила шутки, розыгрыши. Когда мы разговаривали с ней тет-а-тет – спрашивала о матери, о родне, о тех, кто погиб. Но как только кто-то входил – эти темы прекращались.

Она любила искусство авангарда, иногда вспоминала А. Экстер: “Но сейчас – другое время”. Говорила всегда кратко, отрывисто, не “расслабляясь”, как будто внутри ее стучал хронометр, отчитывая минуты. Терпеть не могла болтовни и долгих объяснений. Ценила время, которого так много потеряла.

Я сделал для театра 4 плаката, но помню не все названия. Наталия Ильинична особенно любила “Волшебную музыку”. На втором месте был плакат к опере Пуччини “Чио-Чио-Сан”. С этими плакатами Н.И. Сац объездила, говорят, полмира.

В 1993 году, когда был в Варшаве, узнал о ее кончине. Ей было 90 лет.

Юрий Завадский и Театр им. Моссовета

Мне кажется иногда, что в советское время даже самые деловые люди и циничные карьеристы все-таки больше ценили хорошую компанию приятных людей, чем голые деньги. Я был, наверное, в этом смысле не исключение. Десять лет работал в Театре Моссовета с администратором Валентином Марковичем Школьниковым, завлитом Толей Митниковым, фотографом Верой Петрусовой и юной Валечкой Памфиловой (будущим директором этого театра). Теплые, неформальные дружеские отношения установились с первых дней знакомства. Очевидно, поэтому я делал любые заказы для театра, слившись с общей атмосферой творческого горения. С трепетом входил в первый раз в кабинет Юрия Александровича Завадского. Это было вскоре после очень громкой премьеры его спектакля “Петербургские сновидения”, и Ю.А., как звали главного режиссера все свои, был в приподнятом, веселом настроении. Когда меня представили, он сразу спросил, указывая на фотографию какого-то черноволосого юноши на своем столе: “Вы не узнаете, кто это?” Я стал вглядываться, но Завадский сам ответил: “Юный Маркс! Трудно поверить, правда? Романтический красавец, поэт! Стихи писал!” В кабинете было много народу – все улыбались. Очевидно, слышали этот “тест” не в первый раз. Что же в нем зашифровал великий режиссер? Надо было срочно это понять! Я сказал: “Да, Юрий Александрович, трудно поверить – Романтизм и Революция!” – “Вот-вот, этого не надо забывать – романтизм коммунизма!” Затем перешли к делам, что-то обсуждали. Про себя я думал: не самообман ли это, не попытка ли как-то оправдать свой союз с коммунизмом, с КПСС, с Брежневым? А что делать-то? Бросить театр, актеров, публику? А стихи Маркса я уже однажды слышал: эти стихи на немецком языке были вписаны в старую польскую тетрадку рукой Розы Люксембург, с которой моя бабушка училась в одной школе. При обыске в 1949 году все пропало.

Я научился просачиваться, несмотря на запреты, на репетиции, которые шли днем на Большой сцене, особенно когда их вел сам Ю.А., или Сергей Юрский, или Павел Хомский. Как-то я познакомился с художником театра А.П. Васильевым. Он показался мне вначале человеком замкнутым, и я попытался его разговорить: меня поразили его декорации к Достоевскому. В них не было ничего бытового, привычного. Вместо этого – условный, лаконичный знак, образ Петербурга, жестокий и точный. Вскоре представился случай познакомиться поближе: Ю.А. Завадский начал ставить “Последнюю жертву” Островского в декорациях

Васильева и решил сопроводить спектакль своими мыслями в форме небольшой книжки, которую поручил мне. На репетициях мы сидели рядом с Александром Павловичем, разговаривали на разные темы – и я увидел другого человека: мягкого, мудрого, иногда очень язвительного, видящего все по-своему, но в то же время простого и открытого. Книжку я сделал под купеческий стиль. Ю.А. сразу утвердил, публика хорошо ее покупала в антрактах. (К сожалению, типография потеряла часть оригиналов.)

Интересно было зайти иногда в скромный актерский буфет, куда в перерывах между репетициями шумной толпой вваливались знаменитые и просто известные актеры. Я пил чай в уголке, и мне казалось странным, как эти люди, стоящие в очереди за пирожками, только что были в своих трагических образах. И казалось, что им трудно изображать простоту и обыденность друг перед другом, когда сценические интонации из них так и рвутся. Бесконечно интересно было видеть, как Фаина Раневская и юный Геннадий Бортников разыгрывают какой-то свой спектакль.

Потом было знакомство с Ростиславом Яновичем Пляттом на его семидесятилетии. На банкете все его терзали, а он отбивался и говорил: “Отстаньте, дайте мне поговорить со свежим человеком! Он мне столько портретов нарисовал!” (Плятт имел в виду мой буклет к его юбилею.)

Последнее, что я делал в театре, – большая книга “Четыре жизни театра” Сергея Коковкина. Там было триста фотографий В.С. Петрусовой, эскизы костюмов и декораций, сложный модульный дизайн. Все это тогда делалось постранично, вручную, без компьютера! Сейчас, конечно, в это не верится. А книга вышла в издательстве “Искусство” (Москва, 1985) тиражом 20 000 экземпляров. Это была последняя работа для Театра им. Моссовета. Вскоре я занялся живописью и перешел в другое измерение.

Ночная беседа

В семидесятые годы мне довелось случайно услышать необыкновенные по тем временам откровения одного приближенного к “верхам” человека. Сейчас в них нет ничего особенного, но тогда я был очень удивлен и запомнил нашу беседу слово в слово.

Зимой я прилетел в Омск, в Театр драмы. У трапа самолета меня встречал с машиной администратор театра. Рядом стояли еще две “Волги”. И вдруг я увидел знакомое лицо. Двенадцать лет назад я занимался рисунком с сыном этого человека, начинающим художником. И вот долгой зимней ночью мы сидим в люксе обкомовской гостиницы, вдвоем, говорим на разные темы: о футболе, о хоккее, о театрах и т. п. Затем – о битвах в руководстве Союза художников.

Но вдруг мой собеседник говорит: “Я не против, что ты переживаешь! Это обычная история! Но подумай вначале: готов ли ты всю свою жизнь положить на это дело? Политика – это не абстракция и не мистика. Это борьба ядовитых пауков в стеклянной банке. Вы, интеллигенты, живете иллюзиями. А Историю с большой буквы делают животные инстинкты могучих биологических особей – с клыками, с когтями, с зубами! Это борьба чисто личных интересов, и это очень серьезно. У тебя свой мир, у политиков – свой. Этот мир надо долго изучать, чтобы в нем выжить. Но дело-то в том, что если и выжил – ты уже не ты! Играешь по правилам, какие есть. Жизнь того не стоит. У тебя – Искусство, счастливый человек, а политику забудь”.

Я слушал, конечно, ничего не возражал. Я и не стремился в руководство художниками! Но “пауки в банке”? Много раз потом я вспоминал моего ночного собеседника. Он, несомненно, знал, что говорил, хотел мне добра, это очевидно. Но как же он сам мог выживать в этих сферах? Понять это было слишком сложно.

Кондрашин, Рихтер и Володя Мороз

На последнем перед отъездом за границу концерте великого дирижера Кирилла Кондрашина, где мы были с известной пианисткой Тамиллой Махмудовой, зал им. Чайковского пустовал наполовину – реклама концерта была официально запрещена. После концерта мы зашли к нему за кулисы. Кондрашин был один. И очень грустен. Выпили на прощание по бокалу шампанского, и он сказал: “Может, и хорошо, что было мало людей, что запретили рекламу. Легче уезжать, как бы нечего терять”. Но в его глазах мы видели слезы, он очень устал от вечной борьбы с властью. Махмудова вспомнила, что Рихтер временами тоже был в опале, его концерты шли без оповещения публики – но Рихтер ждал своего часа. Однажды вместе с моим школьным знакомым Володей Морозом мы слушали Рихтера в деревне, в его бревенчатом доме-башне на Оке, который Володя и строил специально для Рихтера и куда возил его рояль на своем “лэндровере”. Эта странная башня из двух срубов, поставленных один на другой в духе древнерусской архитектуры, находилась у самого берега Оки за Тарусой, возле деревни Ладыжино. А сам Володя был фантастический человек, о котором в то время ходили легенды. Я его любил за легкость, остроумие и артистизм. Но все считали, что он просто авантюрист и пройдоха, спекулянт и хитрец. Володя никому не возражал, только лукаво улыбался.

Однажды прихожу в Третьяковку и вижу: Володя стоит перед огромным холстом и копирует “Боярыню Морозову” В.И. Сурикова. Тут уж я был искренне удивлен разнообразием его способностей. Тем более что это был официальный заказ для Национального музея в Бухаресте, который они делали второй месяц – вместе, как ни странно, с А.В. Фонвизиным, известным акварелистом.

Как-то мы зашли поздно вечером с художником Марленом Шпиндлером в ресторан “Прага”. В круглом зале на втором этаже встретили Володю Мороза, сидящего в одиночестве посреди всеобщего шума и веселья. В то время он был, по слухам, одним из богатейших подпольных антикваров, мужем знаменитой Натальи Гутман. За разговорами я вспомнил школьное время: “Володя, а помнишь, как ты когда-то спускал на веревке из окна четвертого этажа нашей школы старые копии Дрезденской галереи? (В коридорах нашей художественной школы висели первоклассные копии знаменитых картин из Дрезденской галереи, которые наши шефы-фронтовики привезли в качестве трофеев.) Помнишь, например, «Автопортрет» Рафаэля?

Интересно, что ты сейчас об этом думаешь?” Мороз лукаво посмотрел на меня и тонко улыбнулся: “Знаешь, я думаю, что уже тогда так любил искусство!” За этот ответ я бы простил все его грехи, о которых так любят говорить те, кто его еще помнит. Чего, действительно, не сделаешь из любви к искусству; а он его любил искренне.

Польские курьезы

На протяжении двадцати лет, начиная с 1960 года, я много раз бывал в Польше, обычно подолгу. Приезжал на месяц, два. Поскольку я всегда ездил по приглашению своего дядюшки и жил в его квартире, за исключением редких отдыхов в Закопане или в Августове, впечатления от Польши у меня были несколько более ограниченными, чем хотелось бы. Но я использовал любую, самую случайную возможность получше узнать страну.

Это была первая “западная” страна, которую я мог увидеть вблизи. И она интересовала меня в то время именно как часть запрещенного для нас “западного” мира. Таким образом, не имея в те годы возможности поехать в Западную Европу, я искал во время своих блужданий по Варшаве, Кракову, Казимежу не туристические, а, как теперь принято говорить, “духовные” открытия. Не меньше, или по крайней мере в той же степени меня интересовала психология людей, живущих как бы и в социализме, но абсолютно других.

В мой первый приезд вся семья дядюшки вместе с несколькими сокурсницами моей сестры Вики собралась за большим праздничным столом отмечать День победы. Было много разных сухих вин, даже французских, но некоторые бутылки были где на треть, где наполовину выпиты. Я был очень удивлен. Как же так – открыть бутылку и не допить ее до конца! Это было выше моего московского понимания, казалось жестом неуважения к гостям.

Мне показалось, что всем очень хочется допить, но не позволяют себе расслабиться ради неких “правил хорошего тона”, которые я сразу невзлюбил всей душой.

Когда я вышел в город, увидел, что Варшава буквально утопает в цветах. На каждом углу стояли в ведрах, прямо на асфальте, россыпи тюльпанов, сирени и ландышей. Цены какие-то загадочные, почти даром, как мне показалось. Я очень хотел сделать тетушке Зосе и сестре какой-то подарок. Но принести несколько роз неудобно – слишком дешево. Купил целое ведро тюльпанов и охапку белой сирени. Когда внес все это в квартиру, тетушка заохала: “Куда я все это поставлю, у нас и ваз столько нет! Зачем ты столько купил? У нас не принято, мы дарим один цветок, ну три. Ведь от количества они не станут красивее, а только наоборот. Это, Витенька, какое-то купечество!” Я был очень уязвлен ее словами, почувствовал себя провинциалом. А тут еще вдруг заходит соседка и восклицает с порога: “О! Вижу, что кто-то из Москвы приехал! Столько цветов – как на базаре!

Узнаю московские вкусы!”

Было много смешных случаев; запомнился один, мелкий, но символичный. Как-то, приехав в Варшаву, мы с Таней отправились на традиционный вечерний концерт в парке Лазенки. Здесь выступают лучшие польские музыканты. Это как бы домашние концерты, они проходят на маленьком озере перед дворцом, на одном и том же месте с XVIII века. И публика собирается чисто варшавская. Парк восстановили после войны в стиле XVIII века, и он до сих пор не меняется: никакой торговли, аттракционов, кафе и т. п. здесь нет. Хозяева в нем – павлины и белки. Так вот, концерт начинается поздно вечером, оркестр и рояль – на островке, среди псевдоантичных руин и темных лип. К началу концерта прилетают несколько павлинов и важно рассаживаются на деревьях вокруг. В кульминационный момент концерта павлины вдруг начинают кричать, заглушая оркестр. Казалось, зрители будут возмущаться, шипеть – но здесь все спокойны. Это ведь “наши” павлины, их участие освящено традицией.

В шестидесятые годы везде еще были следы войны, стены в выбоинах от осколков, руины домов. Особенно много руин было вокруг Дворца культуры и науки, подарка СССР. Трудно передать, насколько он был здесь чужероден, среди гор битого кирпича. Я зашел за какой-то условный забор и очутился как бы в Сталинграде. Целые улицы руин, от домов остались одни фундаменты, все обуглено, черно, будто война только что закончилась. Как поляки среди всего этого живут? Почему не убирают развалины?

Помню, был жаркий день, как в середине лета. В руинах стоял особенный запах, как будто пахло временем. Вдруг в полуподвальном окне, среди камней, увидел покореженный и обугленный пулемет “максим”. Это было так неожиданно, как будто кто-то специально создал некую “имитацию войны”. Но когда пригляделся, увидел рядом какие-то тряпки, россыпь гильз. Как будто война кончилась вчера. Мне стало как-то не по себе, страшновато. Как будто попал в машину времени. Долго стоял и не мог отойти.

На следующий день снова бродил по городу, видел еще много таких же руин. Центр, Старе Място, уже восстанавливался. Эти новые дома вовсе не были новоделом, они были воссозданы с невероятной дотошностью, все детали и поверхности были даже как бы “подкопчены” временем. Я наблюдал за рабочими и художниками на стройке. Все делалось вручную, как в старину, так же неторопливо и тщательно. С такой любовью, как будто

делали ремонт у себя дома. А ведь это просто заказ от города. Странные эти поляки!

По всему городу встречаются гранитные мемориальные доски с одинаковой надписью “Место расстрела поляков”, под ними стоят большие букеты. Посреди одной из центральных улиц лежит камень, валун. Машины его объезжают, рядом доска: “Здесь было покушение на такого-то гауляйтера”.

Дух города сохраняется, хоть и трудно точно выразить, в чем он.

Дядюшка Лешек был не только замминистра обороны, но в течение пятнадцати лет еще и “уполномоченным правительства по делам пребывания советских войск в ПНР”. Однажды в Москве я пришел в ОВИР за разрешением, и какой-то чиновник стал объяснять мне: “Поймите, так дела у нас не делаются. Когда вас приглашают на таком уровне, вначале должен быть звонок, а потом все остальное”. И вдруг тетя Зося приезжает с какой-то делегацией в Москву и спрашивает наших: в чем дело? Стали быстро кому-то звонить и дошли до Минобороны. Утром звонок из ОВИРа: “Что же вы не приходите за своим паспортом? У нас все давно готово, только вас ждем!” Дядюшка как-то пересказал мне свой разговор с Чжоу Эньлаем в пятидесятых годах. После конца войны в Корее он целый год был Председателем комиссии ООН по перемирию в Корее. На обратном пути его пригласил Чжоу Эньлай как личного гостя. Они много говорили на разные коммунистические темы, и Чжоу Эньлай сказал тогда, что по его мнению, “ес ли коммунистический деятель теряет личную, бытовую скромность, то он уже что-то другое, а не коммунист”. Дядюшка очень гордился, что “он это качество сохранил, и его близкие друзья тоже”. Я думаю, что все они, приехавшие после войны из Союза, испытывали комплекс вины перед теми, кто всю войну воевал здесь, в подполье. Поэтому старались как-то это загладить, быть скромнее.

Таким старым коммунистом и преданным поклонником Советского Союза был и тогдашний президент Польши Эдвард Охаб. У него было четыре дочери, с двумя из них, Евой и Мариной, сестра Вика дружила. Как-то решили всей компанией идти “на мороженое”, но денег ни у кого не было. Тогда Марина говорит: “А у меня есть лишние джинсы, американские, пойдем на «Чухи», продадим! Вит, пойдешь с нами, или советскому нельзя?” Я несколько напрягся: все-таки дочь президента страны – и на базар: мало ли что там, а ей только 18 лет! Но пошли и благополучно сторговались, потом отправились на Старе Място пробовать знаменитое мороженое “Хортекс”. Ева и Марина

пригласили нас с Викой к себе, “посмотреть папины скарбы” (сокровища). Этими “скарбами” оказались подаренные президенту Эдварду Охабу альбомы литографий Пикассо, Миро, Шагала, Сутина, с автографами и пожеланиями авторов.

В это прекрасное лето 1967 года все еще было мирно и тихо, театры заканчивали сезон, и я торопился увидеть как можно больше спектаклей. Мне очень нравились варшавские театры – своим разнообразием. У каждого было свое яркое лицо, свой стиль. Язык я уже понимал неплохо. Ставили они авторов, у нас почти неизвестных: Ануя, Беккета, Ионеску, Жене, Арто, Сартра. Сестра Вика, имея большой круг знакомых, снабжала меня билетами. Однажды мне посчастливилось даже попасть за кулисы театра “Народовы”. После спектакля “Дьявол и Бог” Сартра один друг Вики решил похвастать своим знакомством с популярнейшим тогда в Варшаве актером и привел нас в гримерную пана Густава Холубека. Познакомились. Хитро прищуриваясь, актер спрашивает: “Пан из Москвы? Очень приятно! Встречаете там пана Станиславского?” Я догадался, что это польский юмор такой. Отвечаю: “Простите, пан Густав, Станиславского не видел, но пана Карла Маркса встречаю часто!” Холубек мгновенно подхватывает: “Пан мне сделал очень приятное. Теперь буду говорить, что имею в Москве знакомого, который видится с Карлом Марксом”. При этом он открывает коробку кубинских сигар и ставит на стол бутылку “Арманьяка”. Затем, подняв серебряную рюмку, спрашивает: “А что, пан Маркс один по Москве гуляет?” Я говорю, кое-что вспомнив: “Обычно, пан Густав, я встречал его с паном Завадским”. Такая вот чисто польская беседа с исполнителем роли Дьявола, паном Густавом Холубеком.

Особенно ценно было знакомство с директором всемирно известного издательства WAG Густавом Маевским и классиком польского плаката Хенриком Томашевским. Я долго искал это издательство, но по его адресу ничего, кроме очередных военных руин, не нашел. В отчаянии я шел обратно по пустой улице и обратился к единственному пешеходу: “Проше пана, не знаете ли вы, где издательство WAG?” Респектабельный немолодой господин посмотрел на меня с интересом: “Я слышу, вы из России. Что вас именно интересует? Позвольте представиться: Маевский, директор WAG”. Я от радости подпрыгнул: “Пан Маевский, я счастлив! Я плакатист начинающий, но хорошо знаю ваши работы и всех ваших художников! Учусь у вас”. – “Ну прекрасно, идемте, я вам все покажу”. Идем обратно, к тем же руинам. Среди них оказалась незаметная черная дверь с крохотной медной табличкой “WAG”. Я обалдел: “Как же так! Где

же фасад, вывеска, где ваши авто? Ведь у вас здесь столько мировых имен!” Пан Густав смеется: “Мы ходим пешком, живем все близко”. Толкает эту дверь в руинах, за ней парадная лестница с красным ковром, кругом мрамор и стекло, все блестит. Поднялись в кабинет, тут же кофе, альбомы, каталоги, кругом плакаты, знакомые мне по журналам. Просто сказка! Идем по другим комнатам, знакомимся с редакторами, с фотолабораторией, с ателье для съемок. Пан Густав представляет меня своим сотрудникам как плакатиста из Москвы. И это вызывает такое изумление, будто я из Австралии. Оказывается, официальная Москва их не жалует, считает формалистами и к контактам не стремится. Я говорю, что, возможно, дело просто в профессиональной зависти. У нас нет ни такого издательства, ни такой школы, ни таких прекрасных типографий. Да и заказ существует только политический. А художники есть, многие знают и любят польский плакат. Пан Густав говорит своим: “Давайте сделаем коллегам подарок – подберите штук двадцать наших оттисков”. И они дарят мне большой рулон шикарных польских плакатов! Надо ли говорить, какой фурор произвели эти плакаты в Москве.

Эта встреча в Варшаве запомнилась еще и тем, что через несколько дней меня пригласили на защиту дипломов в мастерскую профессора Томашевского в Варшавской Академии художеств. Там готовили графиков и плакатистов. Они водили меня по своим аудиториям, показывали весь учебный процесс, начиная с первых курсов. Это было нечто фантастическое: студенческие работы порой выглядели более смелыми и острыми, чем шедевры мастеров. Раскрепощенность и свобода запредельные. Это как бы и не студенты, а профессиональные художники, не признающие никаких табу. Я вспомнил МСХШ и Суриковский институт у нас, где ничего не меняется веками и все умирают от скуки.

Томашевский говорил: “Мы учим студентов освобождать подсознание, быть дерзкими, агрессивными. А здравомыслию и правилам их жизнь научит, и не раз. В плакате главное – характер, личность”. Польская школа плаката до сих пор остается одной из лучших.

Сюжет для Михаила Шатрова

Одна моя знакомая радиожурналистка Лидия К., работавшая на “зарубежном” радио, получила от своего начальника поручение взять интервью у драматурга Михаила Шатрова. Для начала пошли в “Современник” смотреть пьесу “Большевики”. Попасть было непросто, только через директора театра. Так что сидели мы в четвертом “директорском” ряду. Обстановка в зале была накаленная, ловили каждое слово, угадывали намеки. Были даже выкрики и свист противников, что нас очень удивило – ведь пьеса впервые пыталась показать большевиков живыми людьми. Тяжелая поступь караула, придуманного Ефремовым, тогда воспринималась как приговор эпохе. После бурного финала с бесконечными аплодисментами и вызовами актеров Лида К. говорит мне: “Знаешь, Шатров очень замкнутый человек, а мне надо как-то его разговорить. Может, составишь мне компанию на это интервью? Порисуешь его портрет, он оживится, расслабится. Давай попробуем”.

Пришли к Шатрову; он жил в бывшей квартире С. Я. Маршака на Бронной. Михаил Филиппович начал с показа коллекции дорогих и редких вин, занимавших специальные стеллажи вдоль длинного коридора. Из глубины квартиры появилась гибкая и стройная фигура Ирины Мирошниченко в платье изумрудно-зеленого цвета. Лишний раз мы убедились в том, что личная жизнь писателей ничем не может помочь в понимании их литературного творчества.

В большом сумрачном кабинете Шатров сидел на фоне книжных шкафов с сочинениями Ленина и Маркса. Я пристроился сбоку просторного письменного стола со своей акварелью. Лидия поставила диктофон, но, углубившись в работу, я ничего не слышал из их разговора. По окончании вдруг Шатров обращается ко мне: “Виталий, Лида говорит, у вас тоже была революционная семья?” – “Да, и отец, и мать, и тетка, и дяди, и даже один дед, народный комиссар совхозов! Вся семья, кроме бабушки, и почти все погибли”. Шатров встрепенулся: “Да-да-да! Вот это и есть главная проблема! Я ведь об этом и пишу! Идеи-то революции были чистые, высокие, романтические! Об этом надо сейчас всем нам говорить! Напоминать народу, что не ради тряпок шли в революцию”. Я говорю: “Михаил Филиппович, мне вот и Завадский это говорил, о романтизме нашей революции!” Шатров спрашивает: “А вы не работаете над политическими темами?” – “Да нет, я дизайном занимаюсь, меня политика не влечет, как-то с профессией не сочетается”.

Принесли кофе. Шатров спрашивает: “Лида вспомнила, что у вас и в ВЧК кто-то служил? В каком году это было?” – “Родная сестра матери, Романа Езерская, с 1920 по 1924 год была секретарем Президиума и коллегии ВЧК”. – “А вы изучали ее жизнь? Может, ее письма остались?” – “В архивах я не был, да и не стремился”. – “Хочу вам сказать: если постараться, найти связи, можно и в архивы попасть. Я эту фамилию встречал. Помню, что она работала с Уншлихтом”. – “Да, мама всегда говорила, что из-за него и расстреляли… Он ее очень любил. Последние десять лет тетка была за границей, резидентом Коминтерна в Польше и Франции. В декабре 37-го ее вызвали из Парижа личным письмом Георгия Димитрова. Очнулась на Лубянке. Вот все, что я знаю”. Шатров слушал, погрузившись в себя, подперев голову кулаком, очень внимательно. “Да, еще один сюжет… Но не сейчас… Лет через двадцать, не раньше”. Мне показалось, он сказал это искренне, с глубокой грустью.

Прощаясь, Михаил Филиппович подарил мне свой фотопортрет с надписью: “Виталию с пожеланием работы и успехов!” Я был очень тронут, но подумал тут же, что это красивое фото – тонкий намек на мою не совсем удавшуюся акварель. Очень уж темно было в его кабинете. Зато интервью получилось удачное.

Байки, услышанные в ожидании плова

В начале девяностых, когда закрывались советские издательства, одна моя знакомая худредакторша, потеряв работу, вышла замуж за пенсионера, скромного, но хорошо обеспеченного. Их небольшая квартирка напоминала скорее библиотеку: книжные полки занимали три стены от пола до потолка. Это нас сблизило с ее мужем, особенно же – общее пристрастие к поэтам эпохи символизма. Я не спрашивал, кем он был раньше, но это чувствовалось по его репликам. Худредакторша называла его просто: “мой ветеран”.

Он очень любил кулинарить, был виртуозом приготовления всяких южно-восточных блюд, пряных и острых, а я был их благодарным дегустатором. Обычно, стоя у плиты и священнодействуя над казаном с пловом или супом-харчо, он начинал что-либо рассказывать, и однажды спросил: “Хочешь, расскажу историю из 53-го года? Может быть, ты слышал тогда такое имя: Ив Фарж.

А байка эта – артефакт. Любой артефакт имеет право на жизнь: может быть, кто-то сравнит байку с документами и напишет сценарий, фильм снимет, история-то эта очень характерная!

Так вот: в то время была мода награждать разных западных придурков Сталинскими премиями мира. Во главе комитета по этим премиям поставили такого видного седого мужика – поэта Николая Тихонова. Ну не Эренбурга же было ставить. В тот год Премию мира дали этому Фаржу. Жирному, упитанному французу с пышными усами и трубкой. И конечно, коммунисту и председателю чего-то там Всемирного и Профсоюзного. На дворе начало 1953 года. В это время врачи-евреи уже давно сидят в Лефортово и давно уже про себя после допросов всё написали.

Но никак с ними не кончают, а чего-то ждут. Не знают, что до смерти Хозяина осталась одна неделя. Фарж просит встретиться с Эттингером, своим другом, который его лечил когда-то. Этот Эттингер написал признаний больше всех и поэтому считался «хорошим». Берия разрешает. Послали с французом молодого лейтенанта, неопытного, чтобы следил за их беседой.

Врача помыли, загримировали, одели в костюм – всё как положено. Вот они сидят в камере и что-то бубнят ни о чем. Лейтенант как-то ослаб. И тут француз глазами показывает: «Чего прячешь руки под столом?» Эттингер кладет руки на стол – а они в кровавых бинтах: все пальцы раздавлены и без ногтей. Фарж – в обморок. Лейтенант вскочил в ужасе: понял, что прокололся,

проспал. И в отчете написал все честно, соврать не мог. Когда дело дошло наверх – решили француза убрать. Навряд ли это решал Хозяин – он уже был очень плох, по свидетельству Судоплатова. Я не помню сейчас всю историю по дням. Это дело вообще очень темное. Скорее всего, все это – очередная затея Берии, которая со смертью Хозяина потеряла вообще всякий смысл. Смерть и похороны Хозяина омрачают вручение Премии мира, которую получает Ив Фарж. Затем Ив Фарж в сопровождении своего друга Николая Тихонова отправляется в путешествие по Военно-Грузинской дороге до Тбилиси. Кругом весна, всё цветет – красота, можешь себе представить. Врачей обещают вскоре выпустить, настроение приподнятое. Но операция уже запущена, и никто не подумал ее остановить. Она развивается сама по себе, как было задумано ранее. Они едут в длинной открытой машине. Впереди водитель и француз. На заднем сидении – председатель комитета по международным Премиям мира и два товарища. Передняя правая дверца заменена. Всё продумано. Правый поворот, водитель тормозит, почти останавливается. И тут из-за скалы вылетает старый тяжелый «додж» с мощным бампером – и бьет наших туристов в правую дверь. Машина отлетает, но все живы, кроме француза! Неизвестно, знал ли Тихонов о неизбежном или его взяли «втемную», но он, говорят, был искренне потрясен и рыдал как женщина. Главное, что такому свидетелю – поверит весь мир. Я думаю, расчет был такой, чтобы Тихонов остался жив и невредим. Ну, далее – «скорая», случайно оказавшаяся совсем рядом, врачи и все такое. Короче, несчастный случай на дороге.

Не думай – я не участник, лавров не надо, и всё это не по моей части. Просто сопоставил различную информацию по своим каналам. Официальная дата происшедшего, по-моему, тоже сильно изменена. Но опять – дело не в деталях, а в отсутствии смысла. Через три-четыре дня врачи вышли и сами могли всё рассказать больше этого француза.

А француз, получается, ради них жизнь потерял – и все о нем забыли! И спасибо ему никто не сказал!” Закончив свою байку, Сергей поставил на стол два больших блюда с узбекским ароматным пловом, и мы сели ужинать.

У нас на Остоженке

Остоженка всегда нравилась мне больше своей чопорной и респектабельной соседки – Кропоткинской. Здесь было всегда больше жизни, движения, здесь прохожие чувствовали себя более свободно.

В начале шестидесятых на Остоженке было огромное количество маленьких магазинов и лавочек с приятными, уютными прозвищами и названиями: “Поросенок”, “Бублик”, “Подсолнух”, “Посуда”, “Му-му”, “Ткани”. Рядом Зачатьевский монастырь и Обыденская церковь. Когда-то я недолго жил в Кропоткинском переулке, во время войны часто ходил здесь, а в шестидесятые прожил около десяти лет в Бутиковском переулке, в старом доме фабрики купца Бутикова, в нижнем конце Зачатьевского, тогда – улицы Дмитриевского. Теперь здесь элитный квартал новых домов, наглухо закрытых от внешнего мира. А тогда у нас был полудеревенский зеленый дворик, весной цвели вишни и яблони. Напротив наших окон стоял барак метростроевцев тридцатых годов, улица тогда и называлась Метростроевская. А в нашем бараке жило уже второе поколение. Во дворе стоял длинный стол, за которым по праздникам все вместе выпивали, а в будни играли в карты, шахматы и домино.

В доме жило много разных простых, но колоритных людей. Роль местной дворянки-аристократки играла чопорная сухопарая дама, у которой все занимали деньги, потому что она работала маникюршей в Центральных банях. Мы ее звали просто Наташа. Был еще дядя Саша Америка, тетя Нина Три рубля, Лилька Валюта, Женька Боксер и т. д. Мы жили на первом этаже, перед окнами – зеленый палисадник. Дверь во двор практически не закрывалась. Поскольку соседей не было, в квартире можно было постоянно принимать гостей, что мы тогда очень любили. Когда начиналось веселье, оно не ограничивалось только квартирой и двором, а выплескивалось обычно на маленький скверик между Молочным и Бутиковским переулками. Всегда был кто-то поющий с гитарой. Но однажды в этом сквере появился настоящий талант – только что принятый в Театр на Таганке Виталий Шаповалов; отличался он неуемной энергией и был тогда худой и горластый.

Тогда уже начинал петь известный в семидесятых годах Александр Денисов, выступавший в амплуа белого эмигранта из “хорошей русской семьи”. Еще один парень, студент ГИТИСа, очень похоже пел “под Высоцкого”. Однажды под Новый год забрели цыганки из театра “Ромэн”. Здесь всегда было что выпить и слегка закусить. Постоянной пострадавшей от этого нашествия

гостей была моя маленькая дочь Маша, родившаяся в 1961 году. Сначала она страдала в коляске под окнами, так как никто не слышал ее плача из-за общего шума; когда подросла – забывали покормить.

Теперь Маша сама гостеприимная хозяйка и при любой возможности собирает друзей в огромном количестве. Теперь уже – в загородном доме, построенном собственными руками, по собственному проекту. До сих пор она вспоминает разные подробности той жизни, которые я уже и сам забыл. Как влезал в форточку с бутылкой шампанского среди ночи известный художник, наш друг Гена Калиновский, как Борис Окороков и Петя Оссовский притащили из леса ведро опят и требовали тут же устроить “жареху”…

Немного позже я вспоминаю знакомство с Павлом Кутеповым, сыном известного белого генерала, бесследно исчезнувшего во Франции. Павел рассказывал, как его допрашивал сам Берия. Оказывается, Берия приписал себе заслугу “ликвидации” известного белого генерала, но на самом деле даже не знал его судьбы и хотел узнать от сына. Но Павел не знал и сам и боялся что-либо сказать.

В то время Павел Кутепов работал в иностранном отделе Троице-Сергиевой лавры, так как знал четыре языка. Судьба его так же трагична, как и у многих эмигрантов. Мальчиком он был отдан в Пажеский корпус короля Югославии, затем стал офицером свиты. В юном возрасте его завербовала советская разведка, играя на патриотических чувствах. Всю войну он давал информацию. А после войны очутился, как у нас принято, в лагерях ГУЛАГа, где потерял здоровье. Заработал там диабет, вышел в 54-м. Теперь у него была молодая жена и четверо детей. Он был очень интересным собеседником, хорошо знал балканские интриги и историю Европы.

Диверсанты поневоле

В старых переулках вокруг Зачатьевского монастыря ютились и мастерские художников. Много лет здесь работали известные художники Андрей Гросицкий, Юрий Шашков, Борис Кузнецов. Почти у самой Москвы-реки находилось Художественно-конструкторское бюро, где делали в основном проекты упаковок для игрушек и сувениров. В разное время его возглавляли художники Игорь Кравцов и Аркадий Троянкер. Я тоже проработал там год художественным руководителем. У нас трудились 12 художников, все очень способные и добросовестные. За год моей работы мы получили около 30 наград от Моссовета и Управления полиграфии (это управление возглавлял родной брат Юрия Петровича Любимова Давыд Петрович). А ушел я из-за того, что нас заставляли каждый день давать отчетность: “кто сегодня впереди”. Сколько я ни доказывал начальству, что это глупость, ничего поделать не мог. И чтобы никому из моих ребят не было обидно, мы придумали тянуть из шапки жребий с номерами. Кто вытащит №1, тот и впереди. За это на меня написали донос, что я высмеиваю соцсоревнование! Но была история и похуже, типичная для того времени. Шел 1967 год, 50 лет советской власти. Наше бюро получило заказ на проекты пяти табель-календарей юбилейного года. Мы сделали и отдали эти проекты еще весной.

Один календарь делал художник, бывший семинарист. И он сделал рисунок из двух львов Дмитровского собора с датой 1967. И как назло, в типографии потеряли все 5 красочных, хороших проектов и взяли этот, который был просто запасной. Напечатали так плохо, что львы как бы ощерились, а дата вышла почти черная, из-за плохой бумаги. И тупо грохнули тираж – 2 000 000! Вначале, когда они начали продаваться, все было тихо. Но ближе к празднику какой-то пенсионер написал жалобу в ЦК КПСС. Весь тираж – под нож! Приехало несколько комиссий: от Моссовета, от Министерства, от КГБ. Скандал был страшный: юбилей революции, а календарей нет!

Начальника бюро уволили, за месяц до пенсии. Остальным по выговору. Искали заговор, диверсию, всех водили на допросы. Но никто не сказал о семинаристе, а он сиял от счастья, что “воткнул шило в зад советской власти”. Это был Виталий Линицкий, впоследствии известный художник.

Наказание для доктора Спока

В конце шестидесятых в Москве вдруг стал очень популярным американский детский доктор по фамилии Спок, написавший популярную книгу “Ребенок и уход за ним”. Доктора Спока называли “прогрессивным ученым и другом СССР”. Издательство “Медицина”, с которым я в те годы сотрудничал, обязали сделать перевод этой книги на русский язык и выпустить в “улучшенном виде” большим тиражом для поддержки нашего американского друга. “Медицина” в то время была одним из самых больших и успешных издательств в Москве, занимала огромное пятиэтажное здание в Петроверигском переулке. В нем была очень сильная художественная редакция, с которой сотрудничали известные авангардные художники-графики: Ю. Красный, М. Клячко, В. Янкилевский. Я работал параллельно там и в “Промграфике”, чтобы не замыкаться в узком кругу одного коллектива. В 1980 году на Всесоюзном конкурсе “Красивая книга” получил бронзовую медаль за оформление книги “Молодым родителям”. Обложка этой книги с фотокомпозицией – две руки, опекающие нежный зеленый росток на белом фоне, – стала очень популярной в Москве и неоднократно использовалась другими художниками для разных целей, так что я не очень удивился, когда мне поручили оформление подарочного издания труда доктора Спока. Все лето придумывал иллюстрации и оригинальный макет. Сдал оригиналы своему художественному редактору Н. А. Гуровой почти без поправок. И вдруг в наш скромный труд вмешалась сама История.

В августе 1968 года советские войска вошли в Прагу, чтобы остановить “революцию Дубчека” в Чехословакии. А доктор Спок в своей Америке высказался против этого “миролюбивого шага” советского правительства. Разразился международный скандал.

Прогрессивный доктор и друг СССР оказался нашим врагом. Из ЦК КПСС нашему директору В.И. Маевскому поступило указание остановить выпуск книги и “рассыпать набор” для наказания американского отщепенца. Владимир Иванович оказался в трудном положении: книга уже запущена в производство, затрачены большие деньги, торговые организации дали заявку на покупку всего тиража.

Издательству “Медицина” грозили большие проблемы.

И директор созывает срочное совещание редакторов, экономистов, производственников и юристов. Но август – время отпусков, многих в Москве нет. Помню, мне где-то около полуночи звонит главный художник издательства: “Завтра в 9:30

утра пойдешь к Маевскому на совещание вместо Гуровой”.

И вот я впервые в кабинете всемогущего директора, бледного и мрачного. Кто-то шепчет, что у него ночью был приступ язвы желудка, вызывали “скорую”. Владимир Иванович, бывший работник аппарата ЦК КПСС, хорошо знает тамошние порядки. Он говорит: “Ослушаться указаний ЦК я не могу, но и терять такие суммы издательство не может себе позволить. Что делать? Предлагайте решения!” Все в ужасе молчат минуты две, а затем начинают говорить одновременно, перебивая друг друга. Я сижу в самом конце длинного стола и, конечно, молчу.

Сейчас уже не помню, кто что говорил, но смеха за столом директора было много. Редакторы “Медицины” были люди особые. Бывшие врачи, в основном женщины, люди остроумные, циничные, веселые, иногда их шуточки были очень соленые.

В итоге приняли такие предложения: книгу все-таки напечатать, так как разрыв контракта стоит слишком дорого, но снять все подарочное оформление, суперобложку, иллюстрации и т. п. Дать на издание самую плохую бумагу, “чтобы американец понял, как мы его презираем за предательство”. Директор сказал, что надеется на поддержку в ЦК. Как ни странно, все так и вышло, как решил Владимир Иванович.

Не знаю, как читатели этой книги, но художник, я, пострадал больше всех. Поскольку все оформление книги сняли, гонорар за эту работу выплатить мне бухгалтерия не смогла: “На нет и денег нет, сам понимаешь!”

Таким вот странным образом я внес свою скромную лепту в Большую политику. В наказание нехорошего доктора Спока.

Любите ли вы Бергмана?

Накануне 100-летия В. И. Ленина я сидел в худсовете Управления по сувенирам. Там были такие предложения к юбилею: колбаса с вождем, выложенным сальцем, наволочки с портретом вождя, черная икра с оптикой, шалаш в Разливе из шоколада и т. д. Я что-то говорил там, и один член худсовета предложил мне поработать в “Интуристе” по рекламе. Я зашел к ним в “Метрополь”. Мне предлагают полставки: 45 рублей. А в то время нормально поесть была проблема. В ресторанах – спецобслуживание, в столовых – очередь. Я говорю: “Зарплаты не надо, дайте лучше удостоверение «Интуриста»”. – “Без проблем. Но – никому ни слова! Зарплату твою мы сами получим!” И вот стал завтракать в “Будапеште”, обедать в “Берлине” или “Метрополе”, ужинать – в “Звездном небе”, “Узбекистане”, “Интуристе”. Познакомился с одним чиновником из окружения тогдашнего директора “Интуриста”, он мне предлагает: “Хочешь поехать на Волгу? Теплоход «Иван Сусанин». У нас там каюта, но некому ехать. Я тебе и записку дам к замначальнику круиза. Отдохнешь хорошо!”

И вот мы уже плывем! Каюта у меня особая, узкая, с двухъярусной койкой, окном и душем, на верхней палубе. Всего палуб три. На верхней – шведы и англосаксы. На средней – итальянцы, французы и греки. Внизу – советская делегация интеллигенции и журналистов. Едва ступив на корабль, они бросились наверх и стали осыпать шведских пенсионеров вопросами о войне и мире, о судьбе негров в США. Из рубки выскочил разъяренный начальник Владимир Иванович и закричал страшным голосом: “Вон! Вон! На свою палубу! На свое место! Здесь «Интурист» – режимная зона! Здесь вам не место! Вниз! Вниз!”

Больше за весь круиз я их не видел, никого! На второй или третий день Владимир Иванович говорит мне: “Дорогой мой, я очень устал. Уже третий рейс подряд. У меня здесь семья, всего на неделю. Прошу тебя, посмотри за этими капиталистами на первой палубе”.

Шведов было 32 человека, почти все пенсионеры. Они держались непринужденно, свободно, но в то же время без фамильярности. Но сходя на остановках в город, сбивались в тесную, однообразную кучку. Видно было, что они робеют от наших пространств и от наших толп и очередей. На выход старались одеться незаметно, слушали все объяснения очень внимательно и у наших гидов считались лучшими туристами.

Я обедал вместе с ними и загорал на верхней палубе, они ко мне тепло относились, всё пытались что-то по-русски сказать – наверное, потому что я был одет в голубые джинсы и желтый джемпер, цвета их флага.

С их руководителем по имени Юхан я просто не мог не познакомиться. Мы сидели в шезлонгах, загорали и наслаждались бездельем. Иногда к нам присоединялся еще один швед – тихий старичок, с утра выпивавший и скучавший, оттого что его все сторонились.

Мы с Юханом обменялись визитками. Конечно, вначале он был крайне сдержан и осторожен.

Все вещи Юхана – рубашки, галстуки, носки и т. п. – были помечены вышитым маленьким гербом. Мне показалось, что это что-то фамильное, и я спросил его, пояснив, что художник, работаю с модой. Он учился в Англии, а затем изучал славистику и русский язык в Стокгольме, чтобы читать в подлиннике русскую литературу и поэзию. Но ему еще трудно было понимать “русскую метафизику”; Лермонтова он понимает, а Блока – нет. Больше всего любил Гумилева – “за близость к Киплингу”. Когда я спросил о Есенине, он сказал: “от него хочется плакать, но я не могу себе такого позволить”.

Меня не удивило, что он так разоткровенничался: на отдыхе часто малознакомые или совсем чужие люди что-то хотят рассказать. Заговорили о коллекциях в Швеции. Я начал рассказывать: “У меня тоже есть замечательные гравюры – начало XVII века, «Альбом Хондиуса» – может, слышали? Там еще в титуле: Владислав, Король Польский и Шведский, 1636 год!” Юхан отвечает: “Да, это знаменитый альбом, вам очень повезло!” Оказалось, он просто влюблен в XVIII век, в старинные гравюры на меди. С этого момента он стал держаться совсем естественно, и о многом мы успели поговорить за время этого плаванья. Шведы, хотя и пенсионеры, но румяные, моложавые, с детскими глазами. Я спросил Юхана – как они сохраняют такую детскость? Он сказал: “О! Жизнь у нас очень простая: хорошо учись, потом хорошо работай – и на пенсию! Пока работают – никуда не рвутся, никому не завидуют, бегают, плавают – не успевают состариться. У нас бы невозможен был ни Достоевский, ни Бальзак”. – “А как же Бергман?” – “А вот он и придумывает «психо», чтобы мир не думал, что мы такие примитивные!” – “А шведская семья?” – “То же самое – от однообразия. Всё у всех хорошо, не знают, чем себя занять! Страстей, как у вас, нет. Вот и изобретают, чтобы как-то возбудиться”. – “Ты, Юхан, очень критичен к своим!” – “Я одиночка, при всей любви к своей Швеции я никогда не смогу раствориться в массе. Я бы хотел,

наоборот, чтобы мои шведы больше приблизились ко мне: больше думали, смотрели, читали. Но они не хотят или просто лень. Они готовы работать день и ночь, но думать им лень. А если не думать – будешь игрушкой в руках тех немногих, кто думает. Но эти-то думают только о своих интересах, своей выгоде. Зачем же я пойду к ним в услужение! Мы с моей девушкой берем яхту и уплываем на юг. Она пишет свои сценарии, и я что-то по лингвистике. И мы не скучаем".

А "Иван Сусанин" уже доплыл до Волгограда. Вместе с туристами я смотрел памятник Вучетича и все, что показывали гиды.

Затем – Цимлянское море и Дон. На Дону у "Интуриста" был свой необитаемый остров, где устраивал "зеленые стоянки".

Так назывался день отдыха для туристов на острове – с гарантией изоляции от советских граждан. Островок был крохотный, но очень красивый. Песчаные пляжи вокруг, а в середине – густой дубовый лесок. В разных концах сидели с удочками одинокие дежурные "товарищи" и ловили рыбу и раков для вечернего ужина. Надо сказать, что ловили очень удачно. Все туристы радостно плавали и загорали. Некоторые играли в пляжный волейбол, кто-то – в лаун-теннис. К вечеру переводчицы объявили: "Кто хочет послушать настоящий казачий хор, отведать настоящей царской ухи и русских омаров – может сдать по 25 долларов!"

Когда стемнело, вокруг большого костра собрались все – и американцы, и канадцы, и шведы, и итальянцы. Кипел огромный котел с ухой, аромат стоял на весь Дон.

Из лесочка выступили разнокалиберные казаки в фуражках и лампасах. Пели охотно и много, плясали, несмотря на возраст. Восторг был полный. Потом всех позвали к столам есть уху и "омаров", т. е. вареных раков. По окончании казачки получили рубли, а ловцы рыбы и наши девочки – свои доллары. Все пили "За мир во всем мире!"

Как сотрудник "Интуриста" я иногда провожал ночью финнов на "Красную стрелу" в Ленинград. Плакал весь автобус. В темноте они пили из своих фляжек и плакали, причем молодые. Это нам было непонятно. Они что-то улавливали в Союзе, что мы сами тогда не видели и не ценили. А это, быть может, была наша собственная "Земляничная поляна" с часами без стрелок, навечно остановившимися во времени.

О Володе Высоцком

Когда, наконец, после десяти лет долгого строительства был сдан для заселения дом № 28 по Малой Грузинской ЖСК “Художник-График”, когда были наконец разыграны номера квартир, стало ясно, что жить здесь будет не скучно. Владимир Высоцкий, Никита Михалков, “пан профессор” – Борис Рунге, художник Дмитрий Бисти – все это был наш “первый” подъезд, чему мы были очень рады. Из окон – зеленый двор, сирень, каштаны. У нас с Таней был тогда прелестный веселый щенок дратхаар Кеша. Каждое утро я выводил его гулять во двор, а Марина Влади в платочке, с большой корзинкой, в больших темных очках спускалась из подъезда по ступенькам и шла на Тишинский рынок. И каждый раз она останавливалась, чтобы поиграть с нашим Кешей. Он радостно прыгал, лизал руки, всячески давая понять, какой он преданный поклонник ее таланта. А Володю я впервые увидел в холле у лифта, и первое, что меня поразило, – его нетерпеливость. Он жал и жал на кнопку лифта, хотя от этого лифт быстрее не спускался. Он всегда как бы торопился куда-то, берег время. Я видел его и веселым, и удрученным, но всегда был он вежлив и дружелюбен. Мы сталкивались очень часто – в подъезде, во дворе, – но всегда он был так тороплив, деловит, что у меня не хватало смелости попросить его часок попозировать для портрета. Тем не менее Володя ни разу не отказал, когда я его просил (для своих друзей) подписать пластинку или дать автограф. Особенно был внимателен, когда приезжал кто-то издалека – из Иркутска, Омска или Вильнюса, спрашивал имя и писал, кому именно адресует.

За те несколько лет, что мы были соседями, у меня сложилось впечатление, что несмотря на внешнюю строгость Высоцкий был очень впечатлительным и отзывчивым человеком. Об этом говорят и его песни, его способность отождествлять себя с самыми разными персонажами. Я никогда не стремился как-то набиваться ему в друзья – слишком много народу вокруг него толпилось.

Но один эпизод, случившийся в самом начале жизни в этом доме, запомнился. Героем этого случая был все тот же наш щенок Кеша. Когда он подрос до года, он очень любил носиться, как всякий охотничий пес. А мне было жалко держать его все время на поводке. И я отпускал его побегать по двору свободно. Он всегда возвращался на зов, правда, иногда не сразу. И вот как-то вечером, около двенадцати ночи, мы вышли погулять и из-за чего-

то поссорились. Он обиделся и убежал. Я битый час искал его по окрестным дворам и закоулкам и, вконец устав, сидел на ступеньках подъезда и ждал, что он сам вернется. Но время шло, а Кеши не было. Я стоял и вглядывался в темноту. В это время во двор въезжает машина, и из нее выходит Володя Высоцкий в замшевой куртке. Спрашивает меня: “Кешу ищешь? Ну ищи, ищи!” – “Да, такое несчастье, потерял Кешу”. – “А что мне будет, если я найду?” – “Володя, да что вы?” – “Ну, смотри, с тебя пол-литра!” – и с этими словами он распахивает широким жестом заднюю дверь – и оттуда с лаем выскакивает мой пес! “Потрясающе! Спасибо! Откуда же он взялся?” – “В Волковом переулке стоял, по сторонам глядел. Смотрю, что-то знакомое, порода-то редкая! И на ошейнике – дом 28”. – “Ну, Володя, по гроб жизни вам обязан”. – “Ладно, ладно, но все-таки больше не отпускай”.

И как в воду глядел. Через полгода нас уговорили отдать его в школу охотничьих собак на обучение, “а то порода пропадет!” Отдали – и Кеша пропал.

Но вот наступил роковой 1980 год. В это время администратором у Высоцкого работал муж Таниной подруги, Виктор. Он был преданным поклонником Володи. Но конечно, любил и деньги. В то лето всю их группу арестовали в Ижевске на гастролях за какие-то копеечные огрехи в продаже билетов. Жена Виктора, Катя, переводчица, интеллигентная девушка, умоляла Таню поговорить с Высоцким о помощи. Но Владимир Семенович исчез, и в итоге говорить с ним пришлось мне. Конечно, это была очень рискованная затея, ведь мы не знали всего.

Как-то вдруг я в окно увидел Высоцкого у машины, во дворе. Бегом спустился вниз и без подготовки бухнул: “Владимир Семенович, извините, на две минуты! Катя в истерике, плачет, умоляет вас – не могли бы вы что-то сделать для Виктора?” Высоцкий помрачнел, задумался, бросил протирать свой “мерседес” и очень серьезно сказал: “Ты знаешь, я ведь сам сидел у них в отделении всю ночь. Я ведь вышел под весь свой гонорар. Я ведь для них никто! Никто! Полное говно! Мы все для них – никто! Что же я могу сделать, с кем говорить, кто слушать меня будет? Скажи Кате, что я болен, что ты меня не видел! Ну не знаю, что сказать! Я в денежные дела не вникал, но ребят очень жалко!”

Я сказал, что всё понял, что попробую Катю успокоить. Но оказалось всё гораздо хуже, чем ожидали: Виктору дали 5 лет, главному администратору— 8. Виктор отсидел всё сполна, когда Высоцкого уже не было. Всё лето Володя был очень нервный, выглядел плохо. Он отпустил волосы до плеч, снимался тогда в

“Маленьких трагедиях”. Однажды у лифта я увидел его в гриме Дон Жуана и не узнал в первую минуту. Говорю: “Володя, это вы!” – а он: “Это не я, а Швейцер. У него там всё какая-то театральщина”.

Через некоторое время утром я выхожу на площадку нашего третьего этажа и буквально сталкиваюсь с Володей! Даже в полумраке коридора было видно, как он бледен, какие темные круги под глазами. Я очень осторожно, чтобы не напугать, спрашиваю: “Володя, как у вас с сердцем? Не болит? Как чувствуете себя?”

Высоцкий не обиделся, не послал меня, а просто сказал: “Что с сердцем? Да ничего”. Приложил левую руку к сердцу, правой постучал по ней. Повторил как-то неуверенно: “Вроде ничего! Скажи лучше, у тебя нет ли бутылки водки взаймы?” Я как раз в магазин шел. Через 20 минут поднялся к нему на этаж, захожу с этой бутылкой на кухню – он уже сидит и пьет. Бутылка полупустая. Сказал: “Спасибо, я уж у Верочки взял. Оставляй, пригодится – вот деньги”. – “Да что вы, Владимир Семенович, не надо, прислушивайтесь к сердцу!”

Я вышел, не зная, что видел его в последний раз.

Той же ночью, в 4 часа утра, в нашу дверь постучала соседка, врач поликлиники МИДа, вся в слезах: “Ребята, какой ужас – Володя Высоцкий умер. Меня вызвали, но поздно уже. Там и скорая, и реанимация. Видимо, сердечная недостаточность”.

28 утром я улетал в Адлер. Наш подъезд уже утопал в цветах, горели свечи.

В день похорон из своего окна Таня видела, как выносили гроб, как Марина Влади несла на вытянутых руках его гитару, позади шли несколько человек, возглавлял это траурное шествие Иосиф Кобзон. Рядом их ждал “рафик” с Таганки. Было 5 часов утра.

В Адлере в 9 часов утра на большом городском пляже из всех транзисторов и магнитофонов во всю мощь тогдашней техники хрипел со всех сторон голос Высоцкого. Песни были, конечно, разные, но всё мешалось в некий многоголосый рев, сливавшийся с шумом волн, как будто Володя не умер, а растворился в штормовом море.

Командировка-триллер

Среди множества моих творческих командировок в начале семидесятых одна запомнилась каким-то неправдоподобным нагромождением нелепых и опасных приключений.

В конце холодного московского марта мне предложили на работе поездку в теплый южный город Ставрополь. Радио передавало, что там ранняя даже для юга, цветущая и солнечная весна. Предвкушая солнце и тепло, я вылетел из Москвы в легком плащике и летних туфлях.

Заказ между тем был серьезный. Крупнейший в Союзе завод космической микроэлектроники нуждался в помощи "Промграфики". И вот я в Ставрополе. На аэродроме беру такси, даю таксисту адрес. Он обижается: "К Белименко едешь – так бы и сказал! Кто ж его не знает! Считай – хозяин города! Крутой мужик!" Через три КПП проводят к директору. Крупный, спортивного вида мужчина в хорошем костюме, как из голливудского кино. Но встречает приветливо и без всяких хитростей – сразу к делу: "Ваша администрация настаивает, что к заказанному нами товарному знаку полагается еще сделать эмблему и фирменный комплекс. Объясните, пожалуйста, что это такое". Минут 15 я все объясняю в подробностях. Обстановка хорошая, дружелюбная. Директор говорит: "Все понял, спасибо, пока секретарь готовит письмо-заказ, вам покажут завод! Но – не взыщите, конечно, не весь!" В сопровождении какого-то комсомольца посмотрели сборочный цех, столовую, спортзал, что-то еще. Затем поехали смотреть еще одно новое здание какого-то цеха на въезде в город. Сопровождающий спрашивает: "Директор просил вас посоветовать – что тут можно было бы сделать для украшения этой стены? Мы могли бы в Москве все заказать в вашем Союзе художников! У нас очень современный первый секретарь крайкома партии! Белименко его друг. Вам даже могут с ним встречу устроить, он у нас такой". Я говорю: "Спасибо, в другой раз, сейчас времени нет, да и еще рано – нужны идеи! А как его фамилия?" – "Горбачев". – "Нет, не слыхал".

На следующий день вместе с соседом по гостиничному номеру, симпатичным поваром Валерой из Пятигорска, решили поехать на Сенгилеево озеро у подножья Эльбруса. Жара стояла с утра, кругом цвели по-весеннему яркие клумбы. Все идет прекрасно, можно расслабиться. Взяли напрокат лодку, целый день отдыхали, загорали. Я даже поплавал в холодной воде. Часа в 4 вернулись на причал, зашли в шашлычную. Сели за столик, выпили пару бутылок прекрасного местного "Каберне", потом

перешли на коньяк. Кругом народу почти не было – день-то будний. Рядом под навесом, за длинным столом гуляла веселая компания, человек 15. Всё тихо, мирно. И вдруг смотрю – Валеры моего нет. Исчез! Поначалу я не обратил внимания, даже как бы задремал. И вдруг – крик, ругань, звон стекла! Обернулся – все повскакивали со своих мест, что-то галдят, а слева – уже куча-мала и несколько человек бьют моего добродушного и мирного Валеру. Я тут же протрезвел и кинулся разнимать; вначале я не оценил опасность ситуации: мужики мало того что пьяные, но какие-то все здоровые, грубые. Потом оказалось – шахтеры из соседнего санатория. А женщин – всего несколько. И в такой ситуации Валерий начал к одной из них лезть с комплиментами. Но в тот момент я этого всего не знал, а видел лишь кулачище, пролетевший мимо меня. Едва успел уклониться! Тут же кровь бросилась в голову, и я перестал соображать что-либо. За всю жизнь никто не смог меня ударить в лицо, а тут и причины нет! Думать некогда: бью прямой левой по-уличному резко, ребром ладони в горло. Мужик захрипел и осел сразу. Затем, увидев, что еще лезут двое, хватаю со стола бутылку, отбиваю дно “розочкой” и ору дурным голосом: “Всё, сели! Сели на свои места! Убью к чертям! Я – псих! Справка есть! Отвечать не буду!” В те мирные времена такие трюки еще работали. Мужики отпустили Валеру и на секунду замешкались Я, правда, готов был к любому повороту событий. Но тут ворвались возмущенные шашлычники: “Ара, Ара! Хватит базар! Нам базар не надо! Здесь милиция. Плохо всем делает, штраф пишет, нам не нада. Сидим тиха, пьем тиха, кушаем тиха”. Я схватил Валеру: “Уходим быстро!” Он был весь в крови – нос разбили. Я затолкал его в чей-то “запорожец”: “Довези, брат, до гостиницы «Ставрополь»”. В номере Валерий умылся, переоделся и объявил: “Спас мне жизнь! Будешь мне как брат! Пойду за бутылкой”. Принес из ресторана две шампанского, выпил бокал и заснул на диване.

А я на нервной почве не мог успокоиться, и ничего лучше не придумал, как выйти на улицу – подышать воздухом. Было очень тепло, но начинало темнеть. Мне казалось, что я гулял вокруг гостиницы, но на самом деле куда-то забрел – и сразу заблудился в темноте. Я, помню, шел как бы в полусне и все переживал недавнюю драку в шашлычной, свое неосторожное выступление в роли психа, которое могло кончиться плачевно. Но в этот несчастный вечер судьба приготовила мне еще более опасный сюрприз. Я вдруг споткнулся, как бы очнувшись ото сна, и увидел перед собой в полутьме не то мальчика, не то коротышку какого-то в тельняшке и с большим ножом-выкидухой, уткнувшимся мне в живот. За ним, перегородив дорогу, стояло несколько темных

фигур в типичных небрежных позах послевоенной московской шпаны. В Москве я уж давно такого не видел, но здесь, в провинции, видимо, такие кодлы еще не вывелись. Огляделся. Слева – длинная глухая белая стена, справа – широкая канава с черной быстротекущей водой. И во всем теле такая расслабленность – после шампанского, – что кулак не сжимается. Да и что толку от кулака, когда ребятки, вижу, с ножиками стоят. Коротышка бубнит: “Кошелек давай, бабки давай, часы снимай!” За ним братва скалится в темноте золотыми зубами. Что делать? Что-то срочно нужно придумать! Здесь орать, пугать кого-то бесполезно, это только спровоцирует резню. Остается только разговор “по фене”. Театр по системе Станиславского. Главное – слова не забыть: “Ну ты чо, в натуре? Фильтруй базар, братан!” Поскольку я вырос в детдоме и на улице, у меня с детства развивалось обостренное чувство собственного достоинства и отсутствие страха. Мой школьный друг, будущий известный театральный художник Николай Эпов, всегда мне говорил: “У тебя нет инстинкта самосохранения”. Однажды, в пятидесятые годы на улице Горького, у Центрального телеграфа, во время первомайского салюта, я полез в драку с целой бандой из пяти человек. Тогда меня спасла Ира Родимцева, дочь Героя Сталинградской битвы и будущий директор Музеев Кремля (в то время – моя соседка, спортсменка, баскетболистка и красавица).

Между тем этюд “Два бандита” продолжался. “По фене ботаешь, братан? Пахана зови, а то за базар сам ответишь. Откинулся я по 206-й! По этапу! Ловишь? Зови пахана, дело есть!” В аэропорту, пока ждал свой рейс, я рисовал одного живописного негра, и он подарил мне красивые часы – копию японской “Seyko”, штамповку ценой в 1 доллар, они лежали сейчас в моем кармане без ремешка. Это навело меня на смелую мысль. “Слышь, братан, – сказал я подошедшему пахану. – Слышь, дело есть, гляди! Видал котлы такие? Японские! Есть партия, 20 штук, толкнуть надо, большие бабки. Давай завтра стрелку забьем вечерком! Эти котлы дарю тебе: носи! Вечные! Заводить не надо, на батарейках!” Парень раскрыл рот, вся кодла сгрудилась за спиной, о ножах забыли. Вот уж правда – красота спасет мир. “Ну – договорились? А теперь дай закурить!” Когда вернулся в гостиницу, меня еще долго бил озноб. Не верилось, что так легко отделался. Завтра буду в Москве, дома! Самолет в и часов. Триллер кончается! Но не тут-то было! Впереди еще сюрпризы – за что, Господи?

В 7 утра звоню в Москву жене Тане: “Скоро вылетаю, погода чудесная, все в порядке”. Простились с Валерой, выпили на посошок. Такси пришло вовремя, утро солнечное, ясное, вся

площадь в цветущих красных цветах – юг прекрасен! Такси летит по шоссе степью – аэродром далеко от города, минут 40 пути. И вдруг – стена плотного мокрого снега, сугробы, заносы. В снегу – автобусы, трактора, такси – все стоит, проезда нет, снег по колено, темно, буран настолько плотный, что ехать нельзя, мы в ловушке. Таксист говорит: “Вылезай, а то счетчик бьет, не расплатишься”. Вылезаю и тут же превращаюсь в снеговой столб. Рядом трактор разворачивается назад. Бросаюсь к нему: “Возьмите меня!” Вернулся в Ставрополь. В холле слышу: “Аэропорт закрыт до 16 часов. Снежная буря, погода нелетная, прогноз плохой!” Холл забит такими же, как я, “невылетными”! Ни попить, ни поесть – денег уже нет. В 16 часов радио объявляет: “Возможно, в случае просвета, будет один рейс на Москву, Ил-14. Полетят только женщины с детьми”. Тут же какой-то лихой водитель автобуса начинает собирать деньги “на прорыв”. Прорывались часа 2 или 3, не помню. В аэропорту (вернее на аэродроме) – свалка, столпотворение. Женщины плачут, дети ревут, мест мало. Врываюсь в кабинет начальника с бланком своего “письма-заказа”, тычу в подпись директора: “Видите – Белименко, сам Белименко! Срочно! В Москву!” Эффект – всеобщий. Меня буквально подхватывают на руки и вносят в переполненный самолет. Пробираюсь в хвост и падаю на какие-то тюки и узлы. За окном снег, буран и темнота. Но самолет упорно пытается взлететь. С третьего захода летчикам это удается, едва не задевая крыш. Общий восторг, аплодисменты. Летим! Допив остатки “Плиски” из фляжки, я тут же заснул. Разбудила меня жуткая тряска и вопли женщин. Самолет резко ухал в воздушные ямы, скрипел и трещал. Было холодно, пахло мочой и бензином. Но вера в наших летчиков была безгранична. В итоге – мы сели благополучно во Внукове. Домой, в Измайлово, на 3-ю Парковую добрался только глубокой ночью. Таня не спала, открыла сразу: “Боже! Что с тобой? В каком ты виде – мятый, лохматый, весь мокрый! А какой жуткий запах! Что случилось?” Но говорить я тогда был не в силах: душ, чай – и спать. А утром – всё забыл. Поэтому эта глава – специально для Тани. (Может быть, простит мой вид. А то за все 40 лет нашей жизни некогда было рассказать, что же случилось в этой злосчастной командировке.)

Поль Сезанн против Абрау-Дюрсо

Однажды один известный в узких кругах художник, можно сказать – патриарх нашего ремесла, уважаемый Мастер, сделал мне лестное предложение, от которого, как сейчас выражаются, “я не смог отказаться”. “Давай слетаем в Краснодар: у меня большой заказ от фирмы «Росглаввино». 50 штук винных этикеток! Это две «Волги». Но все я даже вместе с женой не осилю! Возьмешь какую-то часть. Главное – сейчас надо войти в контакт с заказчиком, найти общий язык! А я не пью, с виноделами мне трудно будет!” В Краснодаре нам заказали лучшую гостиницу, и сразу же мы поехали в управление “Росглаввино”, где нас уже ждали в дегустационном зале. Мы увидели накрытые столы и коллектив женщин-виноделов. Все красавицы, румяные, жизнерадостные, шумливые, нетерпеливые. Они заранее благодарили нас, что мы прилетели из самой Москвы им помогать. Мне стало неловко, что я всего лишь приехал заработать денег, что их вина – для нас пока нечто абстрактное. В то время в Москве все пили грузинские вина, армянские и французские коньяки, кубинский ром. Пришел начальник управления, высокий и красивый брюнет с греческой фамилией. К сожалению, не могу ее вспомнить. Он произнес краткую речь, стоя во главе стола с бокалом в руке. Сказал, что они курируют все вина в РСФСР, что считают себя наследниками компании “Абрау-Дюрсо”, что нам сейчас предложат продегустировать все лучшие вина Кубани, “чтобы войти в тему”, а затем он лично приглашает “товарищей художников” отдохнуть недельки две в гостинице управления “за счет фирмы”. Дамы тут же заулыбались и радостно сообщили: “Вы там не заскучаете!” Но… Вдруг встает Мастер и говорит: “Спасибо за приглашение, но мы не можем его принять! У нас нет свободного времени. Дома очень много работы. Отдыхать некогда!” Я подумал: он сошел с ума! Только что жаловался, что месяц сидел без дела. Что-то тут не так! Интрига! Мастер продолжил: “Принять участие в дегустации я тоже отказываюсь – я вообще не пью. Ничего и никогда! Чтобы не срывать вам мероприятие – могу оставить вам моего молодого коллегу! Затем я должен сказать, что 16 этикеток мы с женой уже создали в Москве. Дайте мне пустые бутылки, и через два часа я вам устрою выставку наших эскизов. Они сделаны на самом высоком уровне”. Виноделы были в полной растерянности, с недоумением переглядывались: “Как же вы могли делать в Москве эскизы, не зная вкуса наших вин, не зная реальных пейзажей, виноградников? Не зная даже их названий”. Мастер ушел, и постепенно праздник разгорелся. Виноделы

рассказывали о своих сортах, о своих заводах, попутно попивая с удовольствием свою продукцию, смакуя, кокетничая и рассказывая что-то смешное. Заканчивали встречу токаем "Дружба" двадцатилетней выдержки, победителем мировых конкурсов. В 16 часов в прекрасном настроении все отправились в конференц-зал смотреть творчество Мастера. Он уже расставил по краю сцены все 16 бутылок с наклеенными этикетками и гордо стоял в сторонке, скрестив руки. Ожидали каких-то чинов из обкома партии. Все столпились возле эскизов.

Пока мы стояли, я пригляделся к выставке. Странно было, что Мастер даже не предупредил меня, что будет показывать. Впрочем, я бы и не решился его критиковать. Но сейчас я видел, что он сделал нечто странное. На всех эскизах я узнавал фрагменты известных пейзажей Поля Сезанна в утрированно кубистической манере. Вместо названий вин были наклеены куски журналов с английскими текстами.

В зал влетела взволнованная секретарша начальника: "Комиссия идет, освободите место". Быстро входит начальник с греческой фамилией, за ним – группа солидных мужчин в темных костюмах. Остановились у сцены, остолбенело смотрят на ряд бутылок: "Что это такое? Как это понимать? Это что – шутка?" Мастер с улыбкой невинного ребенка спрашивает: "Вам не нравится? Это современное решение, в духе кубизма!" Грек побагровел до корней волос, замер, диким испепеляющим взглядом посмотрел на Мастера, резко развернулся и, не говоря ни слова, ни на кого не глядя, вышел из зала. За ним – вся комиссия. Никто не сказал ни слова! Мастер побледнел, но продолжал загадочно улыбаться. Зал мгновенно опустел. Все прекрасные женщины исчезли не прощаясь. Мастер молча снимал свои странные эскизы. Вдруг в дверях возникла секретарша: "Решением комиссии ваш заказ аннулирован, командировка закрыта, вылет в Москву сегодня в 22 часа. Билеты в аэропорту! Можете уезжать!" В дверях секретарша обернулась и выкрикнула в нашу сторону: "Бессовестные! В душу плюнули!" Помню, молча мы поехали за вещами, молча сели в самолет. Я, честно сказать, не знал, что подумать, какую роль мне отводил Мастер в этой истории, зачем меня приглашал лететь в этот Краснодар. Какой-то был во всем этом сюрреализм, театр абсурда. Когда самолет взлетел и отстегнули ремни, Мастер все-таки не выдержал, заговорил, глядя в окно: "Я знаю, о чем ты думаешь! Что мы потеряли столько денег! Что потеряли заказ! А для меня деньги – не главное! Я дал бой этим чинушам! Этим бонзам! Этим провинциальным тупицам! Я им воткнул Сезанна в морду! Я им воткнул в рожу кубизм, Пикассо! Не в деньгах счастье! Великий

Белютин всегда нас учил: «Нет ничего лучшего для художника, чем хороший скандал!» Вот Хрущев крыл нас матом в Манеже, а получилось – прославил на весь мир! Так что – не в деньгах счастье! Они запомнят меня надолго! Пусть сидят в своем Абрау-Дюрсо!” Признаться, я не мог понять, серьезно ли говорит Мастер, шутит ли, или просто в шоке от своего позорного провала. Пока я собрался с мыслями хоть что-то ему сказать, Мастер уже спал, свернувшись калачиком в своем кресле. Во сне он продолжал улыбаться все той же улыбкой невинного ребенка.

Ралли по Ставрополью

После странной поездки с Мастером в Краснодар и случившегося там фиаско я никак не ожидал, что вдруг мне предложат работу в той же самой фирме. Но вскоре раздался междугородный звонок и робкий, но вместе с тем настойчивый женский голос с певучими южными интонациями произнес загадочную речь. “Виталий Евгеньевич, дорогой! Вас снова беспокоит фирма «Росглаввино»! Ставропольский филиал. Мы должны срочно сделать новое подарочное оформление для 20 новых сортов ставропольских вин! Приказ министра Полянского! Выручайте, на вас вся надежда!” Я был крайне удивлен: “А почему именно я? Позвоните нам в мастерскую, там много специалистов этого дела”. – “Нет, нет – мы так не хотим, пришлют опять какого-то чудака на букву «м», как в Краснодар! Я вас видела на дегустации и на приеме тогда! Мы вас хотим послать в поездку по всем нашим заводам, даем машину «ЗиМ» и классного водителя. Все расходы – за наш счет! Оплату за этот заказ тоже берем на себя, по договору! Никаких писем, никаких формальностей, времени нет! Утвердим здесь сами, в Ставрополе! Только сделайте!” От таких необыкновенных, сказочных условий трудно было отказаться. Кое-как собрался и вылетел в Ставрополь. На аэродроме меня встретил симпатичный полноватый молодой человек в соломенной шляпе. “Я Володя, ваш водитель! На ближайшие 5 дней отдан в ваше распоряжение! Вот наш «ЗиМ» – садитесь, поехали”. По дороге на 15 минут завернули в управление получить командировку, деньги, какие-то документы. После этого не теряя времени выехали на трассу и со всей возможной в те времена скоростью понеслись по дорогам Ставрополья, навстречу приятному путешествию. В багажнике погромыхивали пустые винные канистры, которые Володя жаждал наполнить лучшими винами. Даже для него, а он был, как оказалось, водителем самого начальника управления, эта поездка казалась подарком судьбы, нежданным отдыхом. И за это он полюбил меня сразу и навсегда. Солнце слепило глаза, был конец августа, жара, пыль. Свернули на проселок. Те же тополя, хатки, суслики и дрофы. Лишь изредка – грузовики с арбузами или капустой. Легковые – очень редко. Наконец справа от нас появились виноградники на холмах и склонах. И вот – первый винзавод. Радушная встреча. Мне виноделы зачем-то вручили букет цветов. Пошли смотреть винные подвалы. Огромные дубовые старинные бочки, а внизу – крохотный кран, откуда нацеживают вино в дегустационный бокал. Впрочем, его быстро

заменили граненым стаканом. “А теперь просто давайте выпьем от души!” Под бочками на каменном полу – букеты красных роз. Аромат вина смешан с густым запахом цветов. Эта картина – типичная, она будет повторяться все дни на всех этих винзаводах. Затем – приглашение на обед. Стол накрыт в тени, на длинной терраске под стеной завода. На стол я смотрел с ужасом: ведь впереди сегодня – еще три завода! Я еще не знал, что здесь главная опасность – кубанское гостеприимство. У водителя, кроме обычной путевки, было еще расписание всей нашей поездки. Всего за три дня нам нужно было посетить около 15 винзаводов. На четвертый день – знаменитый коньячный завод “Прасковея” и отдых. На пятый – возвращение. При каждом, самом маленьком заводишке – комнаты для гостей. Там мы останавливались на краткие ночевки, засыпали, едва добравшись до подушки, перегруженные дневными встречами, движением, застольями, шутками, песнями. И с обязательными дегустациями. Из управления всех обзвонили – чтобы художник обязательно все попробовал, проникся, понял! Чтобы “не говорил потом, что не знает на вкус, что делает!”

Виноделы тогда в большинстве были из местных, ставропольских казачек, смешливые, добродушные и озорные. Донимали меня постоянно. Видимо, от скуки обыденной жизни. Заводики-то жили на отшибе, среди полей и виноградников, вдали от вечеринок, танцев и кинотеатров. Вот и шутили: “А вы нас рисовать будете? Нам сказали, что вы из Москвы, чтобы нас запечатлеть! А вы, честно, в самой Москве живете? И все время рисуете? А сколько получаете? А за границей были? А жена у вас есть? А на танцы ходите?” И не дожидаясь ответа, дружно хохотали, перемигиваясь, попутно подливая каждая свое домашнее вино. А я сидел и думал, как сделать эти чертовы этикетки, чтобы хоть в чем-то передать, отразить всю эту местную экзотику. Но были и более грустные темы. Женщины страдали от того, что их заставляли гнать план, делать дешевые “ординарные” вина. Они считали, что в состоянии делать настоящие, марочные и коллекционные вина, не хуже, чем французские и итальянские, а уж тем более болгарские. А им – не дают, почему – неизвестно.

В конце концов прибыли к исходу третьего дня в “Прасковею”. Была пятница, и все местные виноградари сидели за длинным обильным столом в тени огромного дерева, уже очень веселые и разогретые. На нас сразу обрушился шквал гостеприимства. Здесь народ был серьезнее: люди делали лучший и единственный в России “собственный” коньяк. Даже мой водитель Володя не устоял, благо завтра был день отдыха. Пил он осторожно, маленькими дозами и всякий раз приговаривал:

“Одно неосторожное движение – и ты отец!” Я же, на радостях от завершения “плана”, совсем потерял бдительность. В итоге обнаружил себя в воде среди плавающих больших золотых рыбок. В глаза било золотое закатное солнце, а сам я, видимо, уснул в круглом бассейне с лотосами и белой гипсовой фигурой пионера с горном – посреди рыбок. Откуда-то доносилось громкое нестройное пение с криками: “Любо! Любо!” За столом все еще шла трапеза виноделов. Про меня и не вспоминали. Собрав оставшиеся силы, выжав свои мокрые одежды, я в смущении направился к разгулявшимся казакам, не зная, как им объяснить свой странный вид. Но вдруг две женщины поднялись из-за стола и сбежали по ступенькам террасы ко мне: “Извините, извините! А мы вас искали! Мы немного пошутили! Угостили вас нашим фирменным ликером 70-градусным, на розовых лепестках! А вы и хватанули сразу полстакана! От этого бы никто не устоял! Тем более по такой жаре!”

Наутро мы с Володей проснулись в комнате, заваленной огромными букетами роз. Они были уже перецветшие, засыпали весь пол, как ковром, красными и палевыми лепестками. На завтрак нам принесли огромную, из 15 яиц, яичницу по-прасковейски и неизменные цыплята табака. Мы поняли, что пропали. Потом начались деловые беседы – как сделать “что-то новое, но чтобы и в традициях”. Чтобы не хуже, чем у французов. Вдруг Володя решил похвастаться: “А вот Виталий живет в Москве в особом доме, в одном подъезде с Высоцким, с Никитой Михалковым, с паном Профессором из «Кабачка»”. Упоминание персонажа Бориса Рунге вызвало взрыв восторга и зависти: “Как! Сам пан Профессор? И вы его видите? Не может быть!” На других знаменитых и великих никто не обратил внимания. Я говорю: “Да, пан Профессор живет со мной в одном подъезде. Мало того – его неизменные партнерши, Аросева и Шубина, иногда прячутся друг от друга в нашей квартире”. – “Как это прячутся? Зачем?” – “Они вот так деликатно, чтобы не ссориться, делят между собой его внимание!” Виноделыпи в возмущении: “Вот это да! Вот это москвичи! Я бы никогда Профессора никому не уступила!” – “И я бы – никогда!” – “Профессор к нам как-нибудь приехал бы в гости – мы бы его так встретили!”

Так и остался в моей памяти этот день: поля цветущих роз, густой аромат коньяков – и цветной портрет пана Профессора из какого-то журнала над столом с подписью от руки “Кабачок 13 стульев”. Водитель Володя заполнил все 6 канистр разнообразным алкоголем “для руководства”. А я привез в Москву еще несколько смешных и теплых южных воспоминаний, а также стойкую симпатию к коньяку “Прасковейский”. (В те далекие

времена мне и в голову не могло прийти, что когда-то я буду каждый день проходить мимо шикарного фирменного магазина “Прасковея” на Малой Грузинской, рядом с нашим домом.)

Вернувшись в Москву, я сразу принялся за работу. Ориентиром был стиль оформления французских вин класса “Шато”. Только вместо однотонных гравюр я делал многоцветные миниатюры. А вместо старинных замков – пейзажи Ставрополья. Историю судьбы этого заказа я узнал много позднее. Оказывается, министр сельского хозяйства Полянский привез из Канады какие-то новые образцы бутылок с винтовыми пробками и решил, что на юбилейном банкете в Кремле все наши вина должны быть в таких бутылках. Стали искать по всем стекольным заводам СССР, кто мог бы освоить канадские образцы, – и не нашли никого! На эти поиски и пробы ушло около года, а за это время министра Полянского сняли с должности вместе с его идеей парада российских вин. Соответственно, новое подарочное оформление не потребовалось и о нем забыли. Отпечатанные пробные тиражи юбилейного оформления где-то затерялись, никому они оказались не нужны – обычная советская история.

Потери и находки. Семидесятые годы

Самые первые стихи, которые я услышал в раннем детстве, еще до Пушкина, Маршака, Михалкова, были строчки Некрасова, которые читала мне бабушка в своей маленькой комнатке: “Выдь на Волгу, чей стон раздается над великою русской рекой? Этот стон у нас песней зовется – то бурлаки идут бечевой”. В детстве у меня была хорошая память, и я сразу запомнил эти стихи из-за незнакомых слов: “бурлаки” и “бечевой”. Я, правда, больше любил декламировать во дворе или во время гуляния с бабушкой по бульвару другие строчки Некрасова: “Поздняя осень, грачи улетели, лес обнажился, поля опустели, только не сжата полоска одна…” На словах “где ж твой хозяин – не ест и не пьет, червь ему сердце больное сосет…” мне всегда хотелось плакать. В 5 лет я читал уже на публике, во дворе, “Бородино”, “Белеет парус одинокий”, выученные со слов бабушки. Лермонтов нравился мне меньше, чем Некрасов, за исключением стихотворения “Спор”, во время чтения которого я едва сдерживал слезы, особенно на словах “занавесился туманом и навек затих”. Постоянно аплодировали мне дочери нашего дворника Тоня и Нина, две красивые тети, у которых не было своих детей. Обычных же детских стихов я не любил, даже когда научился их читать сам. Поэтому в 1 классе мне учиться было, помню, очень скучно. Я как бы уже сам все это знал. Новыми для меня были только “Сказки” Пушкина, которые нужно было заучивать наизусть.

В МСХШ нам платили, несмотря на трудные послевоенные годы, небольшую стипендию, и я иногда тратил ее на покупку отдельных номеров дореволюционного журнала “Аполлон”. Один из номеров 1914 года со стихами Александра Блока “Рожденные в года глухие…” с собранием старых гравюр сохранился у меня до сих пор. Блока я полюбил с тех пор, как в 1945 году моя воспитательница в детдоме Евгения Васильевна подарила мне свою старую тетрадку с его переписанными от руки стихами и истлевшими засушенными цветами.

Как-то мы с Колей Дмитриевым шли из школы по Арбату, и я случайно купил в букинистическом магазине трехтомник Блока издательства “Мусагетъ” года, кажется, 1911 или 1912. Это был один из счастливых дней моей жизни. Но, к несчастью, книги пропали, вместе с другими первоизданиями поэтов Серебряного века, пока я был в армии. В конце шестидесятых годов увлекся собиранием старых гравюр XVII–XVIII веков на меди. Это было великое искусство особого вида графики, основанного на техническом мастерстве и трудолюбии граверов и

рисовальщиков. Портреты, города, репродукции известных картин, географические карты, планы баталий… Продавались они в антикварном магазинчике на втором этаже, рядом с кинотеатром “Метрополь”.

Однажды мне довелось подобрать большую коллекцию из 200 гравюр XVIII века для известного итальянского режиссера Джузеппе де Сантиса, по просьбе начальницы графического отдела, знаменитой Анны Федоровны. У режиссера было много советских денег, и он не знал, на что их потратить. Потом мы пили с ним и его женой кофе с коньяком в кафе “Метрополь” на площади Революции. От тех времен сейчас осталось всего несколько листов, которые висят у нас дома на стенах уже 50 лет и еще не надоели. Когда мы с Таней познакомились, эта любовь к искусству XVIII века нас очень сблизила. Студентка МГУ, Таня писала курсовую работу по творчеству Антуана Ватто и Жана-Оноре Фрагонара. Впоследствии, работая в Министерстве культуры СССР, Татьяна стала одним из авторов “Инструкции по учету и хранению музейных ценностей” 1985 года, которую до сих пор используют все российские музеи.

Со временем наша небольшая квартира стала приобретать некую популярность. У нас бывали Владимир Меньшов, Людмила Чурсина, Евгений Герасимов. Бывали директора провинциальных театров, с которыми я работал, друзья из Управления театров Минкульта СССР – Слава Гронин, Миша Мишаков, Володя Мирский. Душой компании были Галя Гагарина, главный художник ОДМО, и ее муж Саша Денисов – художник, гитарист и певец, тоже как бы человек Серебряного века. Кто-то сказал: “У вас хорошо, потому что это музей, в котором можно веселиться!” Конечно, сам интерьер был очень простой, антиквариата не было – видно, ощущение музея создавали картины на стенах. Впрочем, я думаю, что в Москве и сейчас еще много таких домов, существующих вне времени и пространства, в собственной ауре, сохраняющих традиции открытости и универсальности доброй старой Москвы, которую кое-кто еще помнит.

За туманом далекой Онеги

О том, что где-то на Севере существует сказочная страна Карелия, в которой прячется подлинная, раскольничья, древняя Русь, я прочел впервые в журнале “Аполлон” за, если не ошибаюсь, 1910 год. Было это в третьем классе МСХШ и почему-то очень врезалось в память. Особенно поразило определение “подлинная”. Мне казалось, что подлиннее песчаных берегов Оки ничего быть не может. Но вот случилось так, что вскоре я познакомился с ленинградской студенткой Ирой Баршевой, и она пригласила меня погостить летом у нее на даче в Териоках, в бывшей Финляндии. Произошло все это в семье моего друга Коли Дмитриева, которая стала мне уже родной. Ира Баршева была влюблена в его работы. (Впоследствии она станет известным искусствоведом, директором музея И. Бродского в Ленинграде.) И вот я на берегах Финского залива, среди черных сосен и серых камней, и это уже почти Карелия. Но Ира говорит: “То, что ты мечтаешь увидеть, символ древней Руси и жемчужина Карелии – это Кижский погост на Онежском озере. Это далеко от Ленинграда, надо тебе туда специально поехать из Москвы. Прекраснее этого места нет на свете!” Помню, стояли белые ночи, я писал портрет Ирины, а она рассказывала о Карелии, о Кижах, о Кондопоге как о чудесах архитектуры. Но только в конце лета 1954-го, по окончании школы мне наконец представился случай осуществить эту мечту.

Мой сосед по подъезду, Виктор Ш., человек старше меня на семь лет, всегда очень хорошо, немного покровительственно ко мне относившийся, вдруг предложил: “У меня очень блатная командировка в Петрозаводск, поехали со мной! Махнем в Кижи! Одному будет скучно, а ты художник, все знаешь! Денег не надо. Все там будет бесплатно – купишь только билеты на поезд, а в остальном – ты мой гость, ни о чем не беспокойся. Всего-то едем на четыре дня!”

Но до Кижей оказалось действительно далеко. Вначале друзья Виктора в Петрозаводске повезли нас в Марциальные Воды, городок Петра I, первый русский курорт. На другой день – на водопад Кивач. И вот, наконец, на третий день из порта Петрозаводска отплываем на моторном баркасе в Кижи. Ранним утром, сквозь завесу голубого тумана, в лучах восходящего солнца увидели мы возникшую как бы из воды невероятную летящую громаду Преображенского собора, устремленную в небо. Образ этот врезался в память сразу и на всю жизнь. Внутрь мы в тот день не попали: “Закрыто на реставрацию”. Зато поплыли по

островам “кижского ожерелья”, как выразились друзья Виктора. На островах стояли еловые леса и старые деревеньки. Мы причаливали, выходили на берег и шли полюбоваться обязательной деревенской часовенкой, которые все были хороши необыкновенно, связывая своими силуэтами воду, землю и небо. Побывали на восточном берегу в доме знакомой карелки, очень старой и еще курившей трубку. Жаль, ни у кого не было фотоаппарата. Это был, помню, необыкновенно длинный день и необыкновенно щедрый на впечатления. Мне казалось, что жизнь наконец обретает смысл!

Прошло пятнадцать лет, Московский союз художников однажды зафрахтовал целый теплоход для экскурсии в Кижи. Поехало очень много художников. Впереди был канал Москва-Волга, Рыбинское море, Вологда, Ленинград, Валаам, Ладожское озеро, Онега и Кижи. Бесконечные пустые и затопленные пространства, падающие церкви, редкие гибнущие леса по берегам. Остров Валаам – сплошные руины, груды кирпича, превращенные во всесоюзный туалет туристов. На Онеге бушевал осенний шторм, и капитан корабля отказался туда идти. Повернули назад, так и не увидев Кижи. Художники даже запили с горя, для многих это был единственный шанс. Впечатления от этого грустного плавания сложились в образ огромной страны, спящей по серым осенним небом.

Тем не менее после такого путешествия очень хотелось еще хотя бы разок увидеть Кижи, зарядиться их мощной энергией. И вот такой случай опять возник. В начале семидесятых, когда я на полставки работал в московском “Интуристе”, буквально выпросил себе командировку в Петрозаводск. Сейчас трудно поверить, что в те годы без командировки невозможно было снять номер в гостинице или просто въехать в режимный город. Моим “заказчиком” был интуристовский ресторан “Кивач”, его директор считался в городе важной персоной: кормил иностранцев, владел всей черной икрой и решал вопросы левой ногой.

Так что билет на “Ракету” мне принесли в номер. Назавтра, таким же солнечным утром, как и двадцать лет назад, я стоял перед высоким резным крыльцом знаменитого собора. На сей раз двери были открыты, и я смог увидеть огромный иконостас Преображения в золотом утреннем свете. Красочная гамма его была сложна, как партитура симфонии, с мощными аккордами черного и золотого. Цвет звучал как колокольный набат. Я почувствовал, что это искусство – мое, этот дух звенящей краски жил во мне с детства. По силе пластических идей этот иконостас, казалось мне, не уступает целой Третьяковке! Наверное, часа три провел я тогда в этой Преображенской церкви. Приходили и

уходили толпы туристов, а я все не мог оторваться от красоты линий и ритмов, созданных почти три века назад новгородскими иконописцами. Неизвестный нам строитель Кижского погоста не просто строил очередной собор, а воплощал идею. Для этого он все 22 главы собора собрал в единое целое, связал единым ритмом, устремил ввысь, как лестницу в небо.

Пока я об этом думал, все рейсы “Ракеты” уже кончились. Я посмотрел на расписание и понял, что остался на острове в одиночестве. От нечего делать пошел бродить – и не узнал знаменитый остров. Его пустынность и загадочность исчезли. Сюда, видимо, свезли отовсюду дома, часовни, мельницы. Став толпой, они потеряли свою значимость и связь с пейзажем. Главный собор огородили крепостной стенкой. Вроде бы идея простая – создать музей. Но мистика исчезла. Все стало бытовое, обыденное. Стоило ли это делать? Хорошо, что я успел увидеть собор в 54-м году и знаю, как все было. Ведь не случайностью же была особая, изначально задуманная строителем Кижей уединенность собора от людской толпы. Об этом мы тогда говорили с местным сторожем, сидя на ступеньках соборного крыльца, щурясь на вечернее солнце.

Помню, я его спросил: “А почему вы церковь не закрываете, когда все уехали на «Ракете»?” Сторож говорит: “А нам до них и дела нет, у нас свое – надо дерево сушить после дождей, вот и окна держим открытые”.

Сторож посоветовал дойти до деревни в конце острова, там местные берут на ночлег. Я пошел в ту сторону, но вдруг увидел подходящий к острову теплоход. Оказалось – иностранцы, французы. Подошел к переводчикам. Круиз из Москвы от “Интуриста”. Восторженная шумная толпа повалила в собор, во все стороны вертя головами. Я подошел к причалу. Зная наши порядки, спросил замначальника круиза. Вышел сонный, серого цвета человек. Я показываю свое удостоверение “Интуриста” и командировку, скромно прошусь доплыть с ними до Петрозаводска. Товарищ долго изучает документы, спрашивает, что я здесь делаю и т. п. “А где размещаетесь в Москве?” – “В «Метрополе», второй этаж”. – “А кто куратор?” – “Комаров”. – “Ну, молодец! Водку пьешь?” – “Само собой!”

Так закончилось мое третье путешествие в Кижи. К сожалению, очевидно, последнее.

VIP-круиз по-советски

Году, кажется в 1986-м в Союзе художников на Беговой прошел совершенно фантастический слух, что где-то наверху планируют морской круиз по Средиземному морю для художников и вообще “интеллигенции”. Поначалу никто в это не поверил. Но постепенно слух становился все реальнее: “Будут брать только членов КПСС!” Это уже ближе к возможному. Затем: “Только партсекретарей и народных художников!” Народ приуныл. И вдруг – новость: будет “резерв”! Для простых товарищей! Мгновенно возник ажиотаж, о цене пока не думали. Но оказалось – стоимость круиза равна взносу за большую кооперативную квартиру. Я как-то не думал на эту тему, но Таня, моя жена, вдруг загорелась и кого-то уговорила взять меня “в резерв”. Так я попал в группу из сорока московских художников-счастливчиков. От Москвы была еще небольшая группа писателей: М. Жванецкий, И. Ракша, М. Мишин – и несколько артистов: Р. Карцев, С. Яковлев. И еще делегации от республик СССР: от Литвы – народный хор, от Молдавии – ансамбль танца, от Азербайджана – тоже ансамбль, от Грузии – жены министров, от Армении – группа мужчин. Всего туристов – 300 человек. Теплоход “Михаил Суслов”. Отплытие из Одессы 1 ноября, на 30 дней! Обмен валюты – 30 долларов! Целое состояние! Никто еще их не видел никогда! Провели беседу: мероприятие политическое, ответственность большая! Мы впервые за всю историю представляем Союз в таком количестве! Возможны провокации – будьте бдительны!

И вот Одесса, порт, пристань. Таможня позади. У причала – высоченный белый пароход. Народ уже заполнил весь причал, жара, полдень – но посадки нет! Все волнуются, возмущаются: что происходит? Вдруг на борт выходит капитан с рупором и твердым голосом громко объявляет: “Товарищи! В связи с решением ЦК КПСС о борьбе с пьянством на морских судах запрещено распитие алкоголя! Я знаю, что вы все везете по литру спиртного, согласно правилам таможни, но у нас – свои правила! Поэтому предлагаю вам избавиться от своих бутылок! Даю вам на это 1 час!” Выбросить – и то некуда, а везут все хорошие вина и коньяки! Сообща решили: “Врагу не отдадим, выпьем сами!” Публика уселась на свои чемоданы, и началось массовое распитие “из горла”. Крики, смех, тосты – незабываемое начало VIP-туризма. На теплоход входили как в сильный шторм. Но как-то погрузились и поплыли!

Первое впечатление – Босфор и новый мост “Европа – Азия”.

Стояла уже ночь, но машины шли в обе стороны в 6 рядов. Мост невероятной длины, легкий, воздушный. По берегам пролива – музыка, кафе, рестораны, народ не спит, за столиками люди веселятся, машут нам – нечто странное, непривычное, театральное.

Пожилая дама рядом со мной спрашивает: “Скажите, это уже Запад?” Кто-то отвечает: “Нет. Это Турция, бедная азиатская страна”.

Утром – Пирей, гавань Афин. Ждут 8 автобусов. Так будет везде, во всех портах, минута в минуту.

Организатор и гарант – АО “Интурист”, лучшая и самая независимая фирма в Союзе.

Поднимаемся через Пропилеи на Акрополь, в жуткой толпе туристов со всего света. Наши все потерялись, растворились. Заместитель начальника круиза бегает в страшном волнении – как уследить за всеми? Едва поднявшись наверх, я решил – всё, никуда больше не пойду, буду здесь весь день. Разложил свой альбом, пастель и уселся рисовать, еще не веря собственному счастью, которое понять может только человек моего поколения. Я на ступенях Парфенона! Этому теплому мрамору – три тысячи лет!

Я стараюсь ощутить ауру, воздух античности, присутствие Паллады, Зевса, Афродиты.

С точки зрения совершенства – все храмы здесь, на Акрополе, прекрасны. Но руины Парфенона – самое светлое, самое возвышенное переживание, для которого нет слов. Когда к вечеру собрались у автобусов, увидели нечто, по советским понятиям, невозможное – многотысячную демонстрацию коммунистов под охраной полиции.

Следующие почти двое суток были посвящены только морю. Конечно, можно было проводить время, лежа и загорая в шезлонгах на прогулочной палубе. Почти все пассажиры так и делали. Но небольшая, постоянная группа романтиков собиралась на носу теплохода, на верхней, служебной палубе, и не отрываясь наслаждалась в любую погоду красотами Средиземноморья. У кого-то был большой бинокль, но им почти не пользовались.

Отдавались воздуху, облакам и морю. Суровый и бородатый Гена Е., одетый в брезентовый плащ геолога и солдатские ботинки, сказал задумавшись: “Вот за это, ребята, я деньги платил. Только за это!”

Эгейское море мы проходили в солнечный и ветреный день. Облака неслись стадами, то закрывая, то открывая голубое небо. Слева и справа внезапно вырастали и исчезали темно-синие и фиолетовые силуэты скалистых островов с загадочными

античными именами – Сирое, Серифос, Милос, Сифнос.

При подходе к острову Мальта цвет воды стал меняться, превращаясь, в бирюзово-зеленоватый. Порт столицы Мальты Ла Валетты встречает мореплавателя неприступными средневековыми фортами и мощными крепостными стенами. Мы осторожно вошли в узкую бухту. По левому борту, прямо из воды, поднимались сложенные из огромных каменных плит опорные стены, а над ними уходящий высоко вверх – многоярусный, пестрый, сияющий куполами соборов, освещенный золотом закатных лучей – невиданный странный город. Такой сказочный мне запомнилась на всю жизнь Ла Валетта.

Наутро, поднявшись на вершину холма, я увидел во всей красе огромный порт: лабиринт бухт, протоков, каналов, тысячи яхт, судов, катеров, шлюпок. Недаром когда-то говорили, что Мальта – ключ к Средиземному морю.

В Неаполитанский залив мы вошли следующей ночью, когда порт спал, а Везувий казался черной зловещей горой, готовой вот-вот взорваться. По пути в Рим, на Аппиевой дороге, нашу колонну накрыл сильнейший ливень. Колонна остановилась и простояла на обочине больше часа, омываемая потоками воды, под раскатами грома и сверканием молний, в темноте южной ночи. Как будто кто-то специально придумал это шоу для нас.

Впечатлений от Рима в той поездке смешались с последующими посещениями Вечного города, и трудно сейчас их разделить. Конечно, каждый раз волнует Ватикан, его особая аура. Удивительно постоянны в своей праздничной многолюдности Испанская лестница, фонтан Треви. Но в тот, первый раз я долго стоял возле “Пьеты” и “Моисея” Микельанджело, дотрагиваясь иногда до мрамора, чтобы ощутить следы резца.

На экскурсии в Помпеях я с трудом уговорил несколько человек не пожалеть сил и дойти до Виллы Мистерий. Несмотря на то что она вроде бы известна по всем историям античного искусства, ее живопись в реальности потрясает удивительной современностью. Долго мы не могли оторваться: если такое искусство было уже две тысячи лет назад – в чем же прогресс человечества?

После Неаполя нас ждал еще один сюрприз – мыс Сорренто. Узкая скалистая полоска, далеко вытянувшаяся в море, обдуваемая и продуваемая со всех сторон ветрами теплого моря, застроенная людьми так красиво и органично, что дома и виллы кажутся частью самой природы.

Так мудро и деликатно строить умеют, видимо только итальянцы, рожденные между морем и горами. Рядом –

знаменитый остров Капри, огромная голубая скала, туманно мерцающая в испарениях очень теплого здесь моря. Далее – Лазурный берег: Кай, Антиб, Сен-Тропе, Ментон, Ницца, Канны, Монако. Эти имена и сейчас звучат заманчиво для любого туриста, а тогда, в 1986-м, звучали сказочно: за каждым именем стояла цепочка ассоциаций – книги, кинофильмы, пьесы.

В Ницце в тот год была в расцвете мода загорать топлес. И на знаменитом пляже “Негреско” советские люди столкнулись наконец с наглой антисоветской провокацией: полным пляжем дам всех возрастов, гордо загоравших без лифчиков. А жара тогда стояла по 30 градусов, несмотря на ноябрь, особенно в полдень. Некоторые наши рвались прекратить это безобразие, но вход на пляж был платный – $ 5, и это спасло несчастных.

В Монако, в знаменитом казино Достоевского, дальше зала автоматов никого не пустили – “одеты не по форме”. Наши партийные громко возмущались: “Какая еще форма, подумаешь – казино”.

Наш автобус остановился на стоянке высоко над морем. Гид говорит: “Внизу вы видите бухту, где стоит яхта князя Монако, мужа знаменитой Грейс Келли”. Вдруг водитель автобуса что-то выкрикивает, и гид переводит: “Вот наш водитель Андрэ сообщает, что его яхта тоже здесь стоит”. Мы не могли понять, как водитель автобуса может быть хозяином яхты. Наконец кто-то задает гиду коварный вопрос: “Скажите, а он имеет право иметь свою яхту?” Вообще, единая прежде московская делегация начинает разделяться. “Идейные” требуют вместо обеда поездку на могилу Герцена, чтобы возложить цветы. Их неожиданно поддерживает модернист Эльконин. Но оказалось – это его хитрость. Он стремится попасть на виллу Шагала, что на горе рядом с кладбищем! Снова взрыв возмущения партийных: кто такой Шагал?

Из Марселя опять длинный переход к острову Мальорка. Эти морские дни – праздник для активистов самодеятельности, а таких довольно много. Ставят капустник, сочиняют частушки. В какой-то день даже уговорили выступить Жванецкого. Он долго отказывался, но все-таки согласился. Тогда он не был еще так знаменит, но уже вызывал нездоровый интерес чтением свободомыслящих текстов и огромным кожаным портфелем.

Я специально с первых дней круиза приучил себя вставать ровно в 6 утра. Спать все равно было невозможно. На всем корабле, кроме люксов, где жили богатые грузины, каюты были только четырехместные, с двухъярусными койками, без иллюминаторов, очень душные. Моими соседями по каюте были Вадим Кулаков, секретарь Союза художников СССР по

“монументалке”, и Николай Барченков, живописец старшего поколения.

Третьего соседа не помню, он был совсем незаметен, скромен и молчалив.

Я просыпался, хватал полотенце, плавки и мчался на корму – ровно в 6 утра бассейн наполнялся морской водой, и я мог плавать в одиночестве, пока все спали. Ранним утром подплываем к Мальорке, снова литературные ассоциации: Шопен, Жорж Саид. С прогулочной палубы уже видно бухту, окруженную зелеными лесистыми горами. Я думаю, и в наши дни не так много туристов попадают на остров с моря, а между тем без этого вы не поймете его душу. В утреннем тумане кажется, что богиня моря открывает мореплавателю свои объятия.

Два гористых мыса по обеим сторонам бухты, как две руки, обнимают нас слева и справа, мерцая в густом тумане. Сезон давно кончился, и остров был совсем пуст под осенним дождем.

В Малагу пришли следующим днем, долго швартовались. Швартовка – самое удобное время порисовать с верхней палубы. И вот снова 8 автобусов, спешная посадка и красивая дорога через горы Сьерра-Невады в Гранаду, и далее – в Альгамбру, которая преподносится как главная изюминка нашего круиза. Гранада – город Гарсиа Лорки, про Альгамбру никто ничего не знает. Но вот – прибыли. Альгамбра – это суровая крепость гор, внутри которой – иной мир: бесконечная череда двориков, переходов, покоев для отдыха и фонтанов. Нечто вроде огромного гарема. Первое, что поражает после уличной жары, – прохлада и журчание воды. Высокие своды залов покрыты тончайшей резьбой арабских орнаментов, уводящих взгляд в небо. Неважно, что это строили арабские эмиры “для себя”. Красота покоряет всех одинаково. Альгамбра всем своим существом пытается сказать потомкам, в чем счастье жизни – немного солнца в холодной воде, прохладная тень в жаркий день и много волшебного искусства, утонченного и деликатного. Материалы просты – камень, туф и керамика. Здесь нет ни золота, ни бриллиантов, нет тронов, балдахинов, ковров, оружия. Только солнце, вода, ветерок и цветы, пряные ароматы чайной розы.

Можно вспомнить еще прощальный ужин в огромном ресторане “Атлас”, где собрались все наши 300 человек. На сцене был темпераментный народный ансамбль “Фламенко”. В зале другой спектакль – шоу поваров. Гаснет свет – и в темноте строй официантов вносит гуськом блюда из фазанов в кольце горящих свечей, в окружении вин, фруктов и цветов. Испанские ритмы, стук кастаньет…

Из Малаги идем в обратный путь. Снова Стамбул, дворцы,

золотой базар, покупки, обмены. Через неделю мы снова в Одессе. Темный порт, темный город. Всё закрыто – ни поесть, ни попить. А на корабле наши путевки окончились еще утром. Свет и воду отключили, а билеты на поезд у всех одинаковые, и у всех – на завтра. Сказка кончилась. Мы снова на Родине.

Новые времена
1988–2018

Злобик, Дробик и кот Пельмень

Не исключено, что еще многие москвичи помнят яркие, шумные, суматошные выставки художников-нонконформистов на Малой Грузинской, 28. Помнят тот радостный ажиотаж и неподдельный интерес, которые они вызывали у самой широкой публики. Постоянными посетителями выставок были студенты, представители технической интеллигенции, военные, работники многочисленных КБ и “почтовых ящиков”, учителя, библиотекари, врачи, иностранные туристы и коллекционеры, представители музеев мира – дилеры и спекулянты от искусства, модные девушки, начинающие музыканты и рокеры.

Люди готовы были простаивать часами на морозе, чтобы увидеть новый взгляд на жизнь, осознать свое бытие и свое время, получить заряд бодрости и креатива. Приезжали иногда автобусами делегации из институтов Дубны, Обнинска, Протвино. Приезжали с подарками, с цветами, с шампанским, как к хорошим знакомым: не только посмотреть, но и познакомиться с авторами, превратившимися на некоторое время в настоящих звезд художественного небосклона Москвы.

Лоджия нашей квартиры находилась точно над входом в выставочный зал. На протяжении нескольких лет каждое утро, открыв окно, мы видели внизу толпу людей, ожидающих открытия выставки. Далее очередь тянулась через двор общежития консерватории, параллельно улице, до Зоологического переулка. Милиция исправно охраняла порядок, эксцессов никаких не было. Публика поднималась ко входу по ступенькам, а потом спускалась в небольшие подвальные выставочные залы, где буквально было не протолкнуться. Иногда был открыт еще отдельный большой и светлый зал, смежный с подвалом, со своим выходом на улицу.

Названия выставок на Малой Грузинской принципиально отличались отсутствием пафоса. Они были просты и незатейливы: “Двадцать московских художников”, “Семь московских художников”, “21 московский художник” и т. д. Позднее появились “Мост” и “Мир живописи”. Поначалу почти все выставлялись впервые. Но постепенно группы стали конкурировать друг с другом, бороться за покупателей. Конечно, на протяжении 15 лет менялись и сами художники, и их публика. Наибольший интерес вызывали группы “20” и “21”. Но общей эстетической основой всего движения оставался сюрреализм в смягченной, иногда почти “гламурной” интерпретации. Конечной целью, особенно в первое десятилетие, была коммерческая

реализация творчества.

Цензуры и худсоветов не было. Художники, участники той или иной выставки, сами определяли экспозицию. Несмотря на это, за все годы я не помню на Грузинке какой-либо политической тематики. Даже чисто социальные темы приобретали здесь лирическую окраску. Здесь, несомненно, была живая, нормальная жизнь, где каждый автор представлял только себя, а не пытался вещать от имени народа. С другой стороны, такое мощное движение, как русский концептуализм, прошло мимо этих художников. Тем не менее само понятие “Малая Грузинка” осталось в памяти многих людей семидесятых и восьмидесятых годов и должно бы остаться в истории московской художественной жизни.

Понятие это связано прежде всего с атмосферой праздника, царившего в выставочных залах. Дело было в том, что массы людей впервые столкнулись с “коммерческими” картинами, созданными для обычного, повседневного интерьера, с искусством “в человеческом измерении”.

На Малой Грузинке зрителей удивляло буквально всё: непривычность тематики, техника исполнения, свежесть взгляда. Здесь все художники были едины в одном: они рассчитывали на частного, индивидуального покупателя. Отсюда – почти обязательные “красивости”, дробность и обилие деталей. Людям нравилось, что художники хотят им понравиться, хотят их развеселить, утешить. Один знакомый сказал мне, что чувствует себя здесь как солдат, на которого всю жизнь орали, но вдруг ласково погладили по голове… Люди здесь явно больше любили друг друга, а может быть, больше любили и свою суровую страну: вот ведь может быть терпимой, когда хочет!

В массовом сознании все успехи Малой Грузинки связываются с именем Э.Н. Дробицкого, председателя секции живописи. Эдик был, конечно, душой и мотором андеграунда и всего движения, но были и другие имена и организации, сыгравшие свою роль.

Во-первых, сама идея легализации и объединения “подпольных” художников Москвы всецело принадлежит руководству тогдашнего Пятого управления Комитета. Там эта идея возникла и обкатывалась в ходе бесед с художниками после “бульдозерной” выставки. Решено было создать новое творческое сообщество на базе профсоюзного комитета художников-графиков Московского профсоюза работников культуры, где в основном состояли тогда ретушеры и шрифтовики. Профсоюз как раз заканчивал строительство кооперативного трехподъездного кирпичного дома на Малой Грузинской, 28 и на правах пайщика

обладал довольно большими площадями на первом этаже здания. В этих-то помещениях решено было создать выставочные залы нового объединения. По настоянию Пятого управления тогдашний первый секретарь Московского комитета КПСС В.В. Гришин с большой неохотой подписал решение на это сомнительное начинание. Председателем горкома графиков был назначен Владимир Ащеулов. Обо всем этом можно прочитать в книге Ф.Д. Бобкова “КГБ и Власть”. Это был, на мой взгляд, один из немногих очень удачных проектов того времени. Исчез источник постоянных конфликтов, ничего “страшного” не произошло, все художники были благодарны. Мне приходилось не раз слышать слова самого Володи Ащеулова: “Ребята, Лубянка нас не выдаст. Дерзайте, работайте!” После внезапной смерти Ащеулова председателем стала тов. Чудина, а в конце восьмидесятых – Эдик. Он добился получения для своего скромного профсоюза роскошного тургеневского особняка на Гоголевском бульваре, бывшей резиденции Союза художников СССР. Сам горком стал называться “Профессионально-творческий союз художников и графиков” (не очень грамотно). Теперь он переместился под крыло Международной федерации художников ЮНЕСКО.

Я еще участвовал в нескольких выставках, организованных Эдиком: в Копенгагене (1988), в Гамбурге – на выставке “Искусство и Космос”, в Люксембурге, Непале, Бомбее.

В последующие три года я участвовал в больших выставках Русско-советского современного искусства в Сеуле, Чикаго, Лиссабоне, Торонто. В Сеуле была даже выпущена почтовая открытка с моей картиной 1990 года “Джентльмены под дождем”.

Официальность и чопорность МОСХа и очень свойственное ему в те годы чинопочитание мне порядком надоели. А в горкоме Дробицкому удалось создать дружественную атмосферу, без чинов и регалий. И когда он на какой-то встрече попросил меня помочь ему “вытащить” секцию плаката, я, неожиданно для себя, согласился. Сказал только: “Эдик, я терпеть не могу любую общественную работу! Буду руководить по-своему, так что смотри – как бы чего не вышло”. Эдик ответил: “Это твое личное дело”. И за эти семь лет никогда не вмешивался в плакатные дела и выставки. За все эти годы в секции плаката не было ни одного конфликта. Все было открыто, на виду. На каждом собрании я объявлял: “Кто хочет путевку? Кто хочет материальную помощь? Кому справки? Подходите!” Но вдруг из Московского главного профсоюза культуры пришла делегация и говорит: “Что-то у вас неладно! За столько лет – ни одной жалобы от членов! Так не бывает!”

Пришли еще и на собрание, говорят: “Вы неправильно работаете. Нельзя всё давать так просто. Вы – власть, а власть должна быть окружена тайной. Вы развращаете массу: если нужна им справка, пусть придут два-три раза и хорошо попросят!” Отвечаю: “Извините, но это не для меня”. Я взял самоотвод, избрали нового председателя, и через полгода секции не стало.

Но дружеские отношения с Эдиком сохранялись даже когда он ушел в Академию художеств. Правда, последние годы он тяжело болел, и характер стал портиться. Врагов и обиженных им становилось все больше, особенно после его выставки в Академии.

Эдик был, конечно, очень колоритной фигурой. Высоченный, всегда в загадочных темных очках, с маленькой змеиной головкой, он сам о себе говорил: “Я змей!” Когда мы познакомились, уже не помню. Помню только бесконечные выпивки в его мастерской на чердаке за “Белградом”, постоянно сменяющихся гостей – и всеобщих любимцев, которые были как бы талисманом мастерской: пса Злобика и кота Пельменя. Помню, какая-то девица написала песню в честь Эдика, и он постоянно ставил эту кассету. Хаос в мастерской был постоянно, но он умудрялся еще и работать в задней комнате. Эдик при всех своих чудачествах был человек обязательный. По крайней мере, я не помню случая, чтобы он отказался прийти на открытие чьей-то выставки в ЦДХ, а в девяностые выставки были частыми.

Когда у меня была выставка плаката в театре им. Гоголя, он не только сам приехал, но привез с собой Ефима Цвика, нашего Маэстро, и еще несколько человек. Эдик иногда имел склонность к теориям. “Сейчас создаются две-три обоймы, человек по десять-пятнадцать, на которых галерейщики будут делать хорошие цены! Остальные уйдут в мусор! Художников много стало, дилеры в них запутались! Надо делать большие вещи, по 2–3 метра! Чтобы тебя запомнили! Ты должен выбрать свой образ жизни – активный или пассивный! Активный – значит от всего отказаться, только работать! Надо войти в обойму!”

Вместе с тем иногда какое-то провинциальное наивное тщеславие проявлялось у него. Году в 80-м, еще в той старой мастерской, он гордо показывал мне правдоподобно сделанное удостоверение “Ленинская гвардия планеты”. “А знаешь, у кого номер один? У Леонида Ильича Брежнева! А у меня номер три!” Или вот история с присуждением ему Grand Prix Варшавского биеннале: у него оказался чистый плагиат, и приз пришлось вернуть – с позором. Зачем ему это нужно было? Ведь он мог сам делать прекрасные вещи. Помню, как мне нравилась его картина “НЛО”. Абсолютно собственная вещь. Он делал и костюмы для

Пугачевой, и фильм о Макаревиче, и памятник Елизарову в Кургане. Когда меня пригласили в Зальцбург, я сказал: “Посмотрите сначала моего друга Дробицкого. Может быть, он вам больше понравится. Он работает давно, а я только начинаю”. Поехали к Эдику в новую мастерскую на Кисловский на белом “мерседесе” моего дилера-австрийца. Дробик растаял, накрыл красивый стол, вымыл полы. Долго показывал работы, объяснял. И вдруг “грубый немец” говорит: “А знаете, Эдуард, мне ваши работы не нравятся!” Встал и уехал. Эдик долго на меня дулся: “Кого ты привез, идиота какого-то!”

Эдик Дробицкий был яркой фигурой восьмидесятых, эпохи “советского декаданса”. Он начинал с отрицания академизма и соцреализма, а кончил вице-президентом Академии художеств. О судьбе белого кота Пельменя и черного пса Злобика история умалчивает.

Первый визит в Зальцбург

После возвращения из круиза я на некоторое время, помню, впал в глубокую депрессию. Казалось, что теперь можно спокойно умереть. Все самое прекрасное вроде бы я уже видел. Вместе с тем я чувствовал, что стал как бы другим человеком, как Колумб, который открыл Америку.

В 1988 году мой приятель по секции плаката, яркий и самобытный художник Юра Шашков предложил мне сделать вместе с ним выставку на Малой Грузинской. Это был самый разгар эпохи “бури и натиска” неофициального искусства в Москве. В наш новый выставочный зал постоянно стояли очереди. Но я все еще был в шоке после жестокого пожара в моей мастерской, когда у меня не осталось ничего, даже набросков и рисунков. Я просто не мог видеть холсты и краски, работал только в книге, только по заказам. Юра не отставал: “Тебе надо встряхнуться, сделай хоть что-нибудь, проснись!” И вот я лихорадочно, как впервые в жизни, без подготовки, не думая ни о чем, написал несколько холстов. Как ни странно, два больших пейзажа Грузии ушли в Париж, а “Ирисы” и “Ярославну” закупило Министерство культуры СССР. Но главное – меня пригласили сделать выставку в Австрии, в городе Зальцбурге. Это были супруги Зигмар и Валентина Хуммельбруннер, коллекционеры и просто симпатичные люди. Не знаю до сих пор, почему из десятков осаждавших их художников они выбрали именно меня. Но в начале июля я уже был в Зальцбурге и провел три с половиной месяца в гостях у этих милых людей.

Зальцбург был для меня городом-мечтой. Мой польский дядюшка Лешек Кжемень в послевоенные годы работал там представителем Польши в Международной комиссии по Дунаю, которую тогда возглавлял К. Е. Ворошилов. Дядюшка часто присылал мне открытки с видами сказочно красивого города среди суровых снежных гор. И вот – я здесь. Господин Зигмар был наследником большого состояния, почетным гражданином города. Поэтому первые дни моего пребывания сплошь состояли из развлечений, встреч, поездок в горы, посиделок в различных ресторанчиках и кафе, в загородных домах многочисленных друзей. Фрау Валентина, еще недавно просто Валя, эффектная блондинка с голубыми глазами, выполняла роль синхронной переводчицы, так что с языком и общением не было проблем.

Одно омрачало жизнь – герр Зигмар был хроническим алкоголиком. Каждую ночь, когда все засыпали, он тихо звал меня на кухню: “Виталий, холодно!” Это было его единственное

русское слово, и означало оно “выпьем с горя, где же кружка?” Мы садились за большой стол, где стояла бутылка его любимой “Столичной”, два стакана и фотография его отца, недавно ушедшего. Его отец был когда-то в русском плену. В Сибири он полюбил старые иконы, тайгу, Россию. И сейчас мы сидели в просторной и пустой комнате, увешанной коллекцией старообрядческих икон, и вместе горевали о превратностях жизни. (Когда я в следующий раз приехал в город – его уже не было в живых, иконы исчезли.) А пока “шеф” был полон сил, устраивал с большой помпой мои выставки, фуршеты и приемы. Иногда случались и продажи картин. Я с удивлением смотрел, как под окнами галереи “Valentina” люди останавливали машины, заходили, чтобы посмотреть или купить.

Вообще многое меня удивляло тогда в Зальцбурге. Город был полон Моцартом – его портреты украшали витрины магазинов, обложки журналов и коробки конфет. Толпы туристов со всех концов света заполняли центр города и старинную крепость над ним с утра до вечера. На торговых улочках было не пробиться от зевак. Вторым после Моцарта кумиром был Герберт фон Караян. От его имени сотни плакатов приглашали на музыкальные вечера, концерты и фестивали. В крохотном городке, меньше нашего Подольска, было 27 галерей современного искусства, десятки музеев, парков и фестивальных дворцов. Люди были очень открыты, доброжелательны, улыбчивы. В традиционных пивных и кафе сидели рядом миллионеры, министры и простые работяги и служаки, внешне почти неотличимые друг от друга. По воскресеньям весь город одевался в национальные костюмы – и тут уже вообще нельзя было понять, кто есть кто. В церквях, на утренних проповедях, пасторы вещали: “Спасибо тебе, Господи, что дал нам возможность трудиться! Спасибо, что у нас есть работа! Спасибо тебе, Господи, что мы можем честно, с чистой совестью смотреть тебе в глаза!” В городе мирно уживались протестанты, лютеране, католики, кальвинисты и т. п. Турки-эмигранты жили в своих кварталах и в центр боялись сунуться – отберут визу. О преступности никто и не слышал, полиция была неподкупна и неусыпна. Однажды газеты вышли с сенсационными заголовками: “В Лондоне арестовали нашего соотечественника, международного аферист”. В этот день в городе был настоящий праздник – люди поздравляли друг друга: “Никто больше не будет позорить австрийскую нацию”.

Фрау Валентина уже успела в Зальцбурге обзавестись влиятельной подругой. Это была вдова погибшего в автокатастрофе вице-премьера Австрии. Она успешно занималась каким-то бизнесом, половину времени проводила в Монако.

Однажды она пригласила меня провести день в каком-то знаменитом спа-отеле на высокогорном озере. Из вежливости я не мог отказаться, и в итоге мне пришлось писать ее портрет “на пленэре” на ярком солнце, на фоне этого самого озера. Она чуть-чуть говорила по-русски и стала вспоминать свой опыт работы с нашим Внешторгом. “Я быстро поняла ваши принципы: представляют государство, а думают, как положить что-то в свой карман. Если дать им денег – купят любую дрянь. Этим пользуются итальянцы, но мы в Австрии так не можем. И у вас три правила: давай больше, давай скорее – и только мне”. Позднее она приобрела у Зигмара шесть моих работ. Были и другие знакомства, не менее интересные. Деловые партнеры Зигмара, при всем восхищении Горбачевым, очень скептически относились к перспективам СССР. Они все считали, что наши беды не в советском режиме, а в глубинных исторических привычках народа, которые никогда не изменятся. Меня как-то пригласили на какое-то деловое совещание у Зигмара. Каждый участник по го минут спокойно излагал свою точку зрения, никто его не перебивал. А в местной русской общине, которую возглавляла в то время баронесса Врангель, все три месяца, что я там был, не утихали споры и склоки: всего-то обсуждали мелкие детали новой росписи приходской церкви. В те годы это все было смешно, а теперь – уже грустно…

Поездка дала мне много тем для размышления, но, честно сказать, уезжал я с облегчением. Последние недели я отчаянно скучал и жалел о потерянном времени. Для работы не было ни часа, да никто ее от меня и не ждал. В конце моего пребывания открыли две выставки – живопись и плакат. Народу было много. На последнюю неделю приезжала Таня, и в Москву мы вернулись вместе.

Вторая встреча с Австрией

Прошло два года со времени первого визита в Зальцбург, и вот я снова трясусь в вагоне поезда “Москва – Вена”. На сей раз занимаю целое купе, забитое рулонами больших абстрактных картин. Подрамники – рядом, в связках. Едуне знаю даже к кому, по переписке с каким-то коллекционером, который купил 13 моих работ у Зигмара, но ему зачем-то нужно еще 30 штук. Чудеса да и только! Накануне с большим трудом поставил визу в австрийском консульстве – снова вмешалась История.

Глубокой ночью 19 августа 1991 года я выхожу в приподнятом настроении, после бурно проведенного юбилея одного старого знакомого, из подъезда во дворе респектабельного дома в самом начале Кутузовского проспекта. Мне нужно было срочно домой – у меня уже был взят билет в Вену, в Австрию, на 20-е число, а в это утро мне нужно было идти за визой в посольство. Я по-английски тихо простился с хозяином и вышел. В ушах еще стоял общий нетрезвый хор возбужденных голосов. Наконец-то, наконец-то хоть какая-то жизнь началась!”

Я выхожу на Кутузовский и прямо перед собой, чуть правее, у въезда на мост вижу что-то родное – черную грозную громаду тяжелого танка, с открытым люком и фигурой танкиста на башне. На другой стороне проспекта, в тени дома, угадывался еще один танк, с орудием, направленным на мост. Я рассчитывал поймать такси, но проспект был пустынен, а идти пешком через мост как-то страшновато. Но вдруг слева послышался глухой рокот, я вгляделся – по осевой шла медленно колонна бронетранспортеров. Тут я решился – и припустил бегом через мост, до СЭВа. Напротив, у Белого дома, видны были кучки людей, но может быть, были и танки. У Горбатого моста стояли крытые грузовики. Было очень тревожно.

Утром, прежде чем идти в посольство, я все-таки решил посмотреть: что же в центре? На Манежной стояла огромная толпа, кто-то выступал с трибуны в защиту Горбачева. Раздавали машинописные небольшие листочки с призывами не поддерживать ГКЧП и с подписью: “Президент РСФСР Б.Н. Ельцин”. Возле Манежа я взял на память листовку – и бегом на Кропоткинскую, в Австрийское посольство. Там столпотворение. С трудом пробрался прямо к консулу, потрясая своим каталогом: “Я художник, у меня выставка!” Консул посмотрел каталог и даже пошутил: “А вы не родственник того Вольфа, который основал Зальцбург?”

Но вот я в Вене, жду своего шефа, который едет из Зальцбурга

на авто, а это 300 км автобана. Ко мне прилип какой-то русский – изможденный, в одной рубашке, без копейки денег. Ему надо в Инсбург, это 650 км от Вены – и он ждет от меня помощи. Отсидел в Минске много лет “за политику”, по 58-й статье. Как я ему помогу? Я пока тоже без копейки.

Появляется мой коллекционер: жесткий, сухой человек, резкий, без сантиментов. Пытаюсь ему что-то объяснить о русском. Бросает только один острый взгляд, и – “пусть едет”. Грузимся в фургон, едем, через час остановка – “на кофе”. Входим в огромный зал ресторана самообслуживания. Шум, толпы людей, ароматы еды. Наш “русский” бледнеет и падает на пол. Тут же врач – “голодный обморок”. Кругом толпа. Шеф хмурится, но сам приносит ему блюда. Приехали в Зальцбург, на вокзал – что дальше. “Русского” никто не встречает, а у него приглашение какого-то фонда. Шеф на грани взрыва – однако покупает узнику билет – $ 50 – “Высчитаем из гонорара при расчете”.

Так началось мое второе покорение Зальцбурга.

В первые же дни моего пребывания я понял, что этот визит будет совсем не похож на первый. “Шеф” герр Wolfgang H. Сразу объявил, что на таможне заплатил $800 пошлины за мои картины и вычтет их из стоимости. Он представляет мне спальню, кухню и мастерскую, но стоимость вычтет из гонорара. И т. д., и т. д. Он был юристом, владельцем фирмы. А я буду жить фактически рядом с его офисом, получать суточные, в остальном полностью свободен, а ему “некогда мной заниматься”. По-русски он не знал ни слова, переводил один из его клерков. На этом мы с “шефом” расстались, и первые две недели я его вообще не видел. Стояла прекрасная теплая осень, я гулял по городу, по огромным окрестным паркам. В городе было много галерей; одна из них, в центре, пятиэтажная, в тот месяц была занята огромной выставкой графики Пикассо. На фоне этого изобилия искусства я с ужасом думал, что же могу предложить своему работодателю для выполнения контракта на 30 работ. Я никогда всерьез не занимался живописью на заказ, у меня не было в этой области никакого опыта. А в коллекции г-на Wolfganga H. – прекрасные работы Толи Зверева, Немухина, Мастерковой и др. Много было, правда, и ерунды. Решил оттолкнуться от ташизма, как-то совместить его с символизмом, который в Европе всегда популярен. В общем, создать нечто эффектное и загадочное, ни на кого не похожее. Легко сказать! Проблема в том, что и холсты, и краски – всё не такое как у нас. К тому же в Зальцбурге только любительские материалы, все настоящее – в Вене, в Париже. Но делать нечего, надо взять себя в руки и – в атаку, вперед! Писал всё без эскизов, по вдохновению, по 2–3 дня на картину, до

поздней ночи. “Шеф” особо не мешал, но постоянно спрашивал: “Дас ист фертиг? То есть это закончено?” К исходу второго месяца мой коллекционер стал приглашать журналистов и своих друзей посмотреть “продукт”. Господа-гости очень удивлялись, хвалили, приценивались. Но “шеф” ничего не хотел продавать, ему нужна была, оказывается, только популярность. В местных газетах стали появляться заметки, фотографии картин. Стали делать рекламные выставки, как здесь тогда было принято, по 5–6 картин – в ресторанах, торговых центрах. Здесь это называлось странно – презентация. Иногда приходилось выступать по 2–3 минуты. Всегда просили сказать “два слова по-немецки”. И везде пили много пива. Шеф стал таскать меня на разные празднества, вернисажи, даже на юбилей Клуба нудистов, где они с женой состояли. Это было нечто, похожее на фильмы Гринуэя: три часа все мы веселились, ужинали, танцевали, купались в бассейне – как Адамы и Евы. Однако никаких фамильярностей, всё чинно и невинно.

В конце третьего месяца сделали большую выставку к открытию сезона в Галерее бриллиантов г-на Broodik. К этому времени “шеф” все мои живописные холсты одел в широкие рамы из белого дерева по $ 300 каждая. Это было очень эффектно: работы успокоились и засверкали.

В день открытия выставки на вернисаж собралась шикарная публика в смокингах и вечерних туалетах – местная аристократия, много представителей русской диаспоры: граф М. Стахович, баронесса Врангель, герцогиня Богемская. Зал, белые скатерти, шампанское, икра, русские закуски, блины, даже горячие пельмени. Официанты были одеты гусарами. Открывал выставку вице-бургомистр словами: “Моего интеллектуального багажа не хватает, чтобы оценить все идеи и ассоциации этого русского художника из страны ГУЛАГа и Горбачева”. “Шеф” мой от радости, хорошо выпив, опрокинул стойку с бриллиантами. Все были в восторге, хором собирали. А я чувствовал себя как в Москве.

Римма Казакова

С замечательным поэтом Риммой Казаковой я был знаком всего несколько коротких лет в середине девяностых. В это время Казакова стала известна не только как поэт, но и как публицист, горячо откликающаяся на все тревожные события и явления того времени, сложного и жестокого, но интересного. Познакомила нас хозяйка издательства “ИЛЬИ” и одноименной художественной галереи Ирина Захарова. Я сотрудничал с ней в те годы как художник. Она проводила успешные выставки – продажи в ЦДХ и во многих странах мира. В те годы еще помогал Дом дружбы с зарубежными странами. Однажды Римма Казакова опубликовала в одной газете восторженную статью о нашей выставке, где сравнила мои работы сразу с Гогеном и Рембрандтом, чем поставила меня в несколько неловкое положение. Но в этом проявилось свойство ее романтической натуры: она видела мир весело и ярко. “Моей живописной топ-модели” – так она написала мне в 1998 году на экземпляре своей книги “Возлюби…” В книге этой она предстает поистине героической женщиной, бесстрашно бросающейся в бой со своими идейными противниками, что было небезопасно в те годы. Другая памятная мне надпись: “Дорогому Виталию… (и т. д.)” – на книге стихов “Ломка”. В ней стихи еще советского времени и перестроечного – вперемежку. Я как-то спросил Римму Федоровну: почему так? Она ответила: “Какая разница – я же не меняюсь!” В этом тоже вся Казакова. Она всегда искренняя, открытая, не боится кого-то разочаровать, кого-то оттолкнуть. Однажды я услышал: “Ничего не придумываю, ничего не скрываю. Вся моя жизнь – в стихах. Все проблемы, все ощущения, все предчувствия”. Это она.

На одной из выставок в ЦДХ случился такой разговор: “Ты все-таки человек закрытый. Некоторые картины твои я не понимаю. «Золотой тюрбан», «Побег» – о чем это? Красиво, но не мое! Явно не мое!” Я говорю: “Дело не в сюжете. Вы должны видеть линии, краски, ритмы. Это не реальный мир, это мир гармонии. Живопись может подождать сто лет, пока кому-то она потребуется”.

В то время Римма Федоровна прославилась как автор текстов многих популярнейших шлягеров. Ее песни часто звучали на радио и ТВ, особенно в исполнении Александра Серова. Однажды мы были на каком-то концерте. Она удивлялась, когда люди ее узнавали, за автографами выстроилась очередь. “Надо же как-то зарабатывать. Сейчас все поэты нищие, только попса и кормит”. Еще вспоминаю, как случайно зашел к ней на улицу Чаянова, и

мы проговорили целый вечер. Она вспоминала свою работу в советское время секретарем Союза писателей СССР. Вспоминала, сколько хорошего для всех старалась сделать. Литературные вечера, встречи, издания. Вспоминала, как помогла Арсению Тарковскому “выйти на публику” после многих лет забвения. “А сейчас те же партийцы, которые его гнобили, – сожгли свои партбилеты и упрекают меня в том, что я работала тогда секретарем! От этого ведь с ума можно сойти”. Надо было что-то сказать ей. Говорю: “Не обращайте внимания! Скоро все они съедят друг друга!” Лучше было бы сказать “сожрут”, но не важно. Главное – все эти карьеристы и интриганы девяностых годов исчезли бесследно, а поэт Римма Казакова осталась в памяти как искренний, честный и очень светлый человек.

Трудно быть Виктором Попковым

Витю Попкова, будущего знаменитого художника, я помню студентом третьего курса Института им. В.И. Сурикова. Моя первая жена Инга очень дружила с Кларой Калинычевой, будущей женой Попкова. Дружили они всю жизнь, но в те годы были особенно близки. Инга приносила в институт мои акварели. Это были совсем небольшие листы на темы русских народных песен. Вите они нравились, и он спросил меня, что я хотел выразить. Я говорил, что и сам точно не знаю – наверно, просто настроение песни, ее печаль, грусть. Витя говорит: “Вот это самое интересное – именно то, что словами не скажешь”. Я заметил, что среди чужих людей Попков никогда не говорил об искусстве, только когда мы были вдвоем. Он производил впечатление углубленного в себя, сосредоточенного, сдержанного человека, уже тогда знавшего какую-то цель в жизни.

У меня в тот год все было плохо, я готовился идти в армию, жил одним днем. Ближе всего в то время был мне давний друг Попкова Виктор Барвенко, человек легкий, красивый, художник большого декоративного таланта. В тот год он был, помню, в Дагестане, в ауле Кубани, откуда привез груды необычайной красоты “ювелирки” из чистого серебра с черными агатами. Только и разговоров было об этих Кубачах, о таланте и вкусе народных умельцев. Захотелось стать ювелиром.

Прошло пять или шесть лет, и мы с Виктором Попковым оказались ближайшими соседями. Я жил тогда в Бутиковском переулке, дом 5, а Витя с Кларой и ее отцом – через дорогу, в Молочном, в маленьком уютном деревянном доме. Сейчас там мемориальная доска и Музей Попкова. Я бывал у них очень часто, мы подолгу говорили о живописи. Витя не очень изменился – та же кепочка, крутой лоб, глубокие большие глаза. Но – он уже был знаменит. Получил диплом в Париже, съездил в командировки от ЦК ВЛКСМ в Сибирь, вступил в МОСХ, участвовал во многих выставках в Москве и за границей; журналы “Огонек” и “Смена” печатали большие цветные репродукции его картин и т. д. О чем еще можно мечтать в те годы молодому художнику? Между тем для самого Виктора, как мне казалось, все эти успехи не имели большого значения. Общаясь с ним довольно часто, я не видел никакой разницы с тем Витей, каким он был раньше. Разве что стал еще более собранным и немногословным. Но вот он показал картину “Строители Братской ГЭС”, большую, 2 × 3 метра. Писал ее быстро, но как-то весело, почти без поправок (по натурным этюдам), а главное – без сомнений в основной идее. Получилась

она для всех очень неожиданной, в чем-то странной – но, безусловно, очень значительной для того времени. Никто еще ничего подобного по жесткой реалистичности и смелости тогда не делал. Вскоре картину приобрела Третьяковка. Казалось бы, предел успеха. Но как раз тут-то “на Беговой” и “на Масловке” начались критические обсуждения: “Нет живописи – очень фотографично. Персонажи случайные – не герои, а просто натурщики – мрачные, отчужденные, ничто их не объединяет, каждый сам по себе. Нет работы над формой, очень этюдно”. Я в это время жадно, как губка, впитывал подобные беседы, хотя и не решался высказать своего мнения. Мне эта картина интуитивно очень нравилась, но я не мог бы объяснить, почему.

Не знаю, доходили ли до Попкова разные мнения, но однажды за столом, где мы пили чай с Кларой и Ингой, Витя вдруг сам заговорил о “Строителях”, как бы раздумывая про себя: “Я как раз и хотел показать строителей как живых людей, именно так, что они все разные. Они не должны красоваться, как у Коли в «Плотогонах». Они смотрят на зрителя – чего ты, мол, стоишь, сам-то? Они не очень красивые, но они настоящие. Я перед ними свой долг чувствовал – оставить их жить в картине. Такими, какими их знал. Врать не хочу”.

Еще помню, как шли мы с ним как-то в метро, ехали на Киевскую. Я ему рассказывал про “Промграфику”, где тогда работал, про нашего худрука Георгия Щетинина и его теории психологического пространства и пространства на плоскости. Как ни странно, Попкову было интересно. В другой раз я запомнил такую его фразу: “Раньше я цвет старался выжать до конца, а сейчас я хочу гамму сокращать и цвет ограничивать”. И позже, в семидесятых: “Хочу картину приблизить к фреске”. В конце шестидесятых Виктор организовал “Выставку 16” в зале МОСХа на Кузнецком, и. Он попросил меня сделать плакат к этой выставке, чтобы там были фамилии всех 16-ти участников. Выставка была очень яркая, свежая. Помню над сценой большую картину Виктора Барвенко, рядом стенку – Кати Григорьевой, Юры Павлова. В центре зала, на стенде – картина Попкова “Ой, как всех мужей побрали на войну”. Накануне открытия выставки случился памятный для меня эпизод. Виктор с палитрой в руках все правил уже висевшую в экспозиции картину. Вдруг он обернулся ко мне и говорит: “Вот пишу, пишу этот красный цветок на окне, а он никак не загорается. А должен гореть, он ведь центр всего. Что делать-то?” Я говорю: “Попробуй лессировку!” Витя дает мне свою палитру со словами: “Держи и давай сам сделай. Я от усталости ничего не вижу”. Я с трепетом взял палитру Попкова, очень тяжелую, и чуть-чуть, краплаком на

лаке, – пролессировал этот красный цветок. Он загорелся! Витя был в восторге: “Молодец, молодец, гори! Спасибо”.

В эти годы я строил кооператив на Речном вокзале и зашел как-то к Попкову рассказать. Он был один, в плохом настроении и в одиночестве выпивал. Я очень был удивлен, но присоединился. Через какое-то время Витя “раскололся”. Оказалось – в Третьяковку, где висела его любимая картина “Воспоминания. Вдовы”, директору галереи Лебедеву позвонили из ЦК КПСС и устроили скандал: “Вы что себе позволяете? Зачем вы этих старух повесили? Снять немедленно!” Я говорю: “Чья-то дурь, как обычно. Кто-то выслуживается! Не обращай внимания!” – “Не в этом дело! Мне точно сказали: Решетников настучал! Пока он в Академии, мне ходу не дадут!” – “Вить, но ведь кто-то рассказал тебе об этом звонке, может быть, у тебя и в ЦК есть поклонники, друзья! Глядишь и помогут! Не вечно же Решетников будет!” Не знаю, убедил ли я Попкова, но мы выпили за неизвестных друзей и закусили селедочкой с картошечкой. И пошли гулять в Зачатьевский монастырь. Золотое было время!

Последний, кажется, разговор получился у нас очень грустный – по моей вине. Виктор хотел, чтобы я вошел от секции “Промграфики” в правление МОСХа. Тогда составлялись списки для каких-то выборов. Я, не придав значения этому предложению, сразу отказался. Сослался на свою нелюбовь к общественной суете: “Не люблю, не могу”. Виктор всерьез обиделся: “А я – люблю, что ли? Просто это нам всем надо, надо команду свою создавать, а то опять мафия все места займет”. Разговор не получился. Виктор молча отвернулся, стал смотреть в пустое окно… Затем, как бы успокоившись, он протянул мне руку и, так же в молчании, мы простились. Прошло немного больше года, и по Москве разнеслась весть о трагической смерти Виктора Попкова. И только тогда пришло осознание, какой великий, неповторимый талант мы все потеряли.

Приключения на Лазурном берегу

Летом 1993 года меня попросили сделать несколько рекламных плакатов для двух малоизвестных фольклорных ансамблей. Просьба была довольно странная, так как денег у заказчика не было, все мыслилось “на общественных началах”. Чтобы сразу отказаться, было по крайней мере три причины: неинтересно, непрестижно и к тому же бесплатно. Но заказчица с таким энтузиазмом и восторженностью рассказывала о молодых самодеятельных танцорах и музыкантах из Кишинева и Сыктывкара, о том, как она хочет от души, бескорыстно помочь им показать себя в Европе, на Всемирном фольклорном фестивале в Ницце и Мартиге – что не заразиться ее романтизмом было невозможно. К тому же я вспомнил, что у меня было несколько акварельных композиций, оставшихся от какой-то старой работы. Мы запросили оргкомитет фестиваля, не интересует ли их выставка на тему “Танцы народов СССР”. Так я, неожиданно для себя, стал членом большой артистической группы, в составе которой, в конце июля 1993 года, прибыл во Францию, в городок под названием Ницца, хорошо известный всем советским гражданам.

Тут меня и ждал удар. Оргкомитет фестиваля не нашел денег на аренду помещения для выставки и предложил мне остаться участником фестиваля “без определенных обязанностей”. Что может быть лучше: море, солнце, пляжи Ниццы – и полная свобода на две недели! А потом – еще более крупный и интересный фестиваль в Мартиге, а потом поездка по городам Прованса. Проблем оставалось только две – страшная жара и особый режим жизни участников, которому я должен был строго подчиняться. Разместили все делегации в обширном зеленом студгородке, охраняемом суданскими неграми с автоматами. Рано утром, после обильного завтрака в общей студенческой столовой, все артисты садились в автобусы и уезжали на репетиции до обеда. На все это время комплекс студгородка наглухо закрывался для входа и выхода, т. е. никому ни войти, ни выйти было невозможно. Охрана здесь не разговаривала, а держала палец на спусковом крючке. После обеда, в 17 часов автобусы уезжали на концерты и возвращались в 22 часа, т. е или сиди дома, или жди до ночи – и никаких вариантов.

Первые дни я наслаждался бездумно морем, загорал и плавал. Широкая полоса галечного пляжа в то время тянулась вдоль всей Английской набережной – Promenade des Anglais. Но вскоре стало скучновато.

Я купил автобусный билет на 10 дней и решил поездить по Лазурному берегу. Возле Сада Альберта I сел в старенький автобус и поехал без цели куда-нибудь, глядя в открытое окно.

Так я доехал до местечка Фрежюс и вышел на остановке, поняв, что из окна ничего интересного не увижу. Времени было много, и, глядя на указатели, решил пойти до Сан-Рафаэля: название понравилось, в нем было что-то ренессансное. Но первое, что я увидел, это огромные рекламные щиты на белых высоких столбах, обступившие оживленный перекресток. Мы еще не слыхали, по крайней мере я, о цифровой печати, и меня поразили качество полиграфии и грандиозные размеры. Не знал, что очень скоро Москва всех переплюнет в рекламной гигантомании!

Людей из-за жары совсем не было, кроме двух унылых проституток на высоких каблуках. Вскоре блеснуло море, воздух изменился, и я вышел к огромному песчаному пляжу, заполненному тысячами людей и рядами красно-белых зонтов. Я лихорадочно вспоминал обрывки французских фраз, сетуя, что не успел купить даже разговорник. После чинной и строгой Ниццы здесь царили анархия и непосредственность. Музыка неслась со всех сторон, что в Ницце было запрещено. Я бросился в воду, проталкиваясь среди орущих детей и мам. Море было мелкое и густонаселенное. Уже на берегу кто-то обратился ко мне с вопросом. Я, чтобы пресечь разговор, отрицательно замотал головой: “Простите, у меня плохой французский, я из Москвы”. Это было очень неосторожно – парень заорал на весь пляж: “De Moscou! De Moscou! Russe! Gorbachev!” Образовалась толпа, все кричали “Gorbachev!” и стремились что-то сказать, похлопать по плечу, тянули пачки сигарет. Оставалось только всем кивать и улыбаться. Я не мог им объяснить, что Горбачева у нас уже давно нет. Кто-то стал мне говорить, что на этот пляж высадился когда-то Наполеон, прибыв из своего Египетского похода. Оказалось, что я понимаю лучше, чем говорю. На обратном пути автобус был полон детей, и я прислушивался к их щебету, стараясь понять отдельные слова. Автобус шел небыстро, часто останавливался, водитель объявлял: “Antibes! Saint-Cézaire! Antheor! La Napoule!” На каждой остановке хотелось выйти и пройтись пешком, посмотреть, что это! Но надо успевать к обеду, а то негры не пустят! Моя остановка – “Rue des Euvcaliptes”.

Вечер я проводил в кафе на пляже Negresco, где все стоило одинаково – 15 fr. Как всегда, оказался доброжелатель рядом: “А вы видели античную Ниццу? Арену? Я там живу – могу вам показать!”. Сели в его “фиат” и вскоре увидели прекрасные руины античного театра с огромной аркой. Они совсем не входили в

образ Ниццы как модного курорта. Еще была “Стена Аполлона”, что-то вроде парка скульптур. Античная, греческая Ницца.

Но была в голове у меня одна мечта идиота – увидеть Сент-Пол. Восемь лет назад, когда мы, будучи в круизе, неслись автобусом по Лазурному берегу, экскурсовод сказала, что тайное место отдыха художников и киношников Франции – именно Сент-Пол (Saint-Paul). Но его не было даже на карте, которая висела у нас в спальне, в Лицее. Автобуса из Ниццы туда не было. Мой новый знакомый Клод сказал, что надо ехать через Grasse, а в Grasse можно попасть через Antibes. Получалось очень сложно, но в какой-то день я решил отправиться пораньше и пожертвовать, если не буду успевать, даже общим обедом. Обеды эти, в огромной столовой общежития, сразу стали символом всеобщего разноплеменного общения, поцелуев, приветствий – чему способствовали обязательные 2 литра красного вина на каждом четырехместном круглом столике.

Тем не менее в 8 утра я уже стоял на остановке возле старого рынка. В Антибе все-таки решил потратить хоть часок, но выйти к морю и увидеть знаменитый порт. С какой-то площадки в старом городе открылась красивейшая, сложная, изрезанная длиннейшими молами панорама огромной голубой бухты. Вообще, множество больших, удобных, широких бухт, таких как в Ментоне, Сан-Рафаэле, Антибе – составляют, наверно, природную красоту Ривьеры. В отличие от Крыма, горы здесь не очень влияют на приморский пейзаж. Бухты по берегам плотно и очень продуманно застроены, на каждом отрезке берега есть своя доминанта: в Антибах это суровая и простая, как свеча, колокольня XII века, в старом городе, на мысу. Я рисовал бухту, усевшись на парапете у воды, когда подошел загорелый и совершенно седой человек в шортах, тоже с папкой под мышкой. Он постоял рядом, потом говорит: “Вы из Москвы” (по-французски). Я, уже автоматически, отвечаю: “Oui, oui. Je suis”. Он говорит: “Я, из Польши, тоже художник, живу в Лионе, сейчас хочу поехать в Грас, давно собирался”. Тут уже перешли на польско-русский. Я говорю: “Совпадение: я в Сент-Поль, по дороге, поехали вместе”. Сели в автобус, он достал из своей папки несколько отпечатанных post carde – почтовые открытки по-нашему: домик в лучах заката, куст роз на обрыве, собака, спящая у крыльца, – его заказные работы, не очень серьезное искусство по московским меркам. “А в Париж я не рвусь, эти битвы богов и титанов меня не интересуют”. Я подумал тогда: “Вот типичный характер графика – люди везде одинаковы”. Так мы доехали до Граса и простились, обменявшись адресами.

Наконец – моя остановка. Вышел – кругом типичная сельская

местность. Оказалось, надо подниматься на довольно высокую гору, на вершине которой, как на пьедестале, расположился загадочный Saint-Paul. Я ощутил вкус настоящего приключения и двинулся в гору. Поднимался по узкой серпантинной дорожке среди плантаций апельсинов и персиков, цветущих красных рододендронов и фиолетовых глициний. Роскошные виды на окрестные сады, горы и долины открывались с каждой очередной террасы. В конце концов добрался до высоченной крепостной стены, с трудом найдя узенькую лестничку наверх. Поднялся в деревню с неизменной белой башней на центральной площади. Рекламная табличка у дома мэрии извещала, что здесь жили Пикассо, Брак, Леже, Марке, Дерен, Матисс, Киплинг, Метерлинк, Шагал. Интуиция завела меня в узкий дворик, а в нем открытая дверь с медной табличкой “La Colombe d’Or” – “Золотой голубь”. Также было написано, что все картины на стенах подарены посетителями. А в зале висели “подарки” Модильяни, Руо, Шагала, Миро, Пикассо, но почему-то – копии. Я спросил: почему? Оказывается, в шестидесятых годах случилась “большая кража”, и с тех пор оригиналы отдали на хранение. (Их искали два года.) Официант сказал, после моей дежурной фразы “Je suis le peintre de Moscou”, что здесь есть большой музей, и написал на бумажке “Maeght”. Я вспомнил тут же своего друга Олега Целкова, которого пригласила в свое время в Париж именно галерея “Maeght”! Совпадение? В музее разъяснили, что “Maeght” – это большой и богатый благотворительный еврейский фонд. Достаточно сказать, что здесь находится одна из лучших и самых больших картин Шагала – “Жизнь”. Побродил еще час по узким улочкам игрушечного городка, расположенного высоко над долиной. Чувство уединенности, покоя, дивный воздух я ощущаю даже сегодня. Почти на каждом доме – мемориальная доска. Вечером той же точно дорогой вернулся в вечерний Антиб.

Здесь пересел на автобус в Ниццу. Рядом скучала симпатичная пожилая женщина, и я решил спросить у нее про какой-то памятник за окном. Она сразу же спросила: “Вы из России? Слышу по акценту!” Я говорю, что да, из Москвы, на фестивале здесь. “А знаете ли вы Башкирцеву?” Я опешил от ее вопроса, с трудом вспомнил – вроде художница, не то поэтесса. Старушка продолжает: “Это самая известная, самая любимая дама здесь, в Ницце! Моя grande maman с ней училась! Были Вы в музее Cheret? Вам надо пойти, там ее автопортрет! Сейчас, когда будем в Ницце, я Вам покажу, где она жила, где была ее вилла”.

Кончилось тем, что мадам взяла надо мной шефство: я даже купил белую розу и возложил к мемориальной доске “Marie Bashkirtseff”. Потом мы прошлись к фонтану Башкирцевой в виде

настенной раковины, невдалеке от арабского пляжа.

Пришлось подарить мадам фломастерный рисуночек с галантной французской фразой из школьной программы: “C’est le jour très belle, ou je vous ai rencontré”. Тут уж она сказала, что хочет сделать present, взяла такси и повезла меня смотреть Cathédrale Orthodoxe Russe, очень изящную церковь с зелеными куполами, которую я, каюсь, еще не видел, даже не знал, что она есть в Ницце. Поставили две свечки.

На следующий день в Каннах очередной доброжелатель посоветовал мне посмотреть историческую бухту, откуда Наполеон отплыл на остров Эльбу. “Там туристы редко бывают”, – сказал этот господин. К бухте Наполеона я пошел пешком, хотя путь был не близкий: полтора часа берегом моря. Бухта называется Golf-Juan, она отмечена красивой колонной с бюстом Наполеона. Как и в Каннах, здесь большой морской порт, стоят сотни яхт. Выпил кофе в заведении, где когда-то будто бы завтракал Наполеон и кругом висели его портреты и знамена.

Затем – снова автобус, выхожу в Ментоне, Perle de France. Вышел к старому городу, расположенному на склоне пологого холма, спускающегося уступами к морю. Старинные дома, похожие на крепости, однообразные, как каменная толпа, очень живописные. Те же яхты и пальмы, а украшение бухты – высоченная барочная колокольня и белый виадук по всей долине городского причала, очень красивый. Красиво все неправдоподобно, как декорация к опере.

На обратном пути с грустью стал думать о будущем, о том, что ждет в Москве. С наступлением сумерек очутился в той части Ниццы, где никогда раньше не был, на улице магазинов и офисов, где днем полно народа, а вечером всё быстро пустеет. В какой-то момент я оглянулся и увидел, что вокруг никого нет, а я иду по улице и не знаю, куда она ведет. На тротуарах появились кучки темнокожих людей, изнывающих от скуки. Приглядевшись в темноте, я понял, что по одной стороне стоят арабы, а по другой – негры. Я, помню, вначале не особенно волновался – шел себе и курил, думая о чем-то далеком. Но они стали подходить ближе, впереди негритянские мальчишки стали что-то кричать, смеясь, поигрывая палками и цепями. Я все равно никак не реагировал. Они стали что-то спрашивать, как я понял, про деньги и часы, а я в ответ повторял одно – “фильтруй базар”, что заставило их прислушиваться с удивлением. Но ситуация накалялась, активизировались арабы, агрессивно загородили дорогу.

Тут наконец я увидел знакомую улицу Виктора Гюго, свернул резко, увидел такси, нырнул в него, сказал: “Bon soir! Plus vite, s’il vous plaît!” Негры между тем заглядывали в окна и крутили

пальцем у виска. Водитель, улыбаясь, спросил, глядя на мой бейджик: “A la maison?” Когда я рассчитывался, он сказал только одну фразу, смысл был очень простой: “Вечером это их территория, вам просто надо было брать авто”. Его спокойствие меня поразило: слово “терпимость” у нас еще не было популярно, “толерантность” – тем более.

В последний день нас ждал еще один подарок от Ниццы – “Битва цветов”, знаменитый ежегодный местный карнавал, он же конкурс красоты. С утра улицы и террасы вдоль Promenade des Anglais заполнились шумной многотысячной толпой, ожидавшей начала карнавального шествия. И вот – вереница машин, утопающих в цветах, с платформами, на которых громоздились огромные цветочные композиции, увенчанные стройными красавицами в бикини (королевами красоты всех областей и городов Прованса). Под восторженные крики и бой барабанов цветочное шествие медленно двигалось по берегу моря, а за ним шли с огромными флагами своих стран все делегации всемирного фестиваля “Grande nuits de Nice” в ярких национальных нарядах, под музыку своих оркестров.

Грохотали корейские барабаны, африканские там-тамы, пели скрипочки израильской делегации, аргентинские аккордеоны играли танго, однообразно гудели гуральские волынки, новозеландские флейты, швейцарские рожки. Зрители и зеваки по сторонам одинаково радушно аплодировали всем делегациям. Музыканты и танцоры шли под дождем из роз и тюльпанов. Помню свои ощущения в эти минуты: впервые в жизни я чувствовал себя гражданином мира, огромного и доброжелательного, и это чувство рождало ощущение счастья, ни с чем не сравнимого. Позади было 60 лет жизни за железным занавесом, 60 лет выживания в ядовитых парах подозрительности и страха, предательства и двуличия. Казалось, все это позади. Невозможно было представить, что совсем скоро будут Чечня, Абхазия, Грузия, а затем вернется и занавес, и кое-что похуже.

Наши артисты, юные мальчики и девочки из Воркуты и Коми АССР, конечно, благодарили организатора поездки, Елену Ивановну Коренную, за всё. Но к окружающему, беспечному веселью относились крайне подозрительно и как-то равнодушно: “Все это чужое!”

По окончании фестиваля в Мартиге наши артисты еще несколько дней выступали на разных площадках и частных корпоративах, а затем поехали на своих автобусах в двухнедельное турне по многим городам и городкам Прованса – и я с ними. Кое-что из тогдашних рисунков на скорую руку сохранилось у меня до сих пор. Помню разнообразную природу

Прованса: горы, скалы, водопады, ущелья, поля лаванды, старинные крепости, дубовые рощи, желтые нивы, сады.

Горный Прованс – довольно суровый край.

При всем этом у всех французов вид как будто рассеянный, беспечный, благодушный. Это, видимо, их особая манера жить. Ни одно мероприятие не начинается вовремя: если договорились в 7 часов, придут в 8. Если сказали “встретимся на мосту” – ищите в кафе. Это не Париж, это провинция. Вместе с тем наши артисты, которые жили у местных волонтеров, возвращались по утрам к своим автобусам с чемоданами подарков. Под конец уже не знали, куда что девать. И расставались со слезами на глазах. А я старался каждую свободную минуту что-то порисовать на память, в основном фломастером. В Провансе было много памятников древней, еще римской истории, в прекрасной, на удивление, сохранности – виадуки, крепости.

29 августа 1993 года мы возвращались в Москву, где нас ждали расстрел Белого дома, противостояния, стрельба, смерти, похороны, митинги, аресты, помилования – вся наша бессмысленная российская толкотня, на которую мы тратим свои короткие жизни.

Лихие девяностые

Об этих годах всё всем известно, всё сказано. Для людей искусства, выросших в советское время, крах Союза был, конечно, страшным потрясением. Как бы все ни ругали цензуру, страх и глупость чиновников, – но государство было безраздельным заказчиком и спонсором всей советской культуры. После СССР, в новой России театры, киностудии, издательства, творческие союзы и их комбинаты оказались никому не нужны.

По улицам носились толпы сумасшедших с испуганными глазами, пытаясь что-то продать или купить. Все наши заработки и сбережения сгорели в Сбербанке. Пачки рублей, как мусор, носили в авоськах. Всё менялось быстро, непонятно и угрожающе.

Вскоре появились свободные выставки, галереи, коллекционеры, покупатели, частные заказчики. Одним из первых моих покупателей был известный академик-физик – А.Б. Миндал. В его скромной квартире на Юго-Западе висели на стенах пейзажи и картины XVII века. Рядом он разместил мое “Рождество”, синюю с золотом абстрактную картину. Оказалось – все они хорошо живут рядом. Одна комната была целиком занята картинами Дм. Краснопевцева. Для спальни А. Б. Миндал взял у меня большой холст “Порыв”, тоже экспрессивную абстракцию в светлой тональности.

Постепенно стали появляться богатые поклонники моих картин. Эти люди как-то сразу оценили энергетику декоративного ташизма. Выбрасывали ранее купленные “для пятна на стене” пейзажики и пытались создать в своих квартирах “целостную духовно-визуальную среду”. В итоге у некоторых скапливались коллекции по десять-двенадцать моих картин.

К сожалению, кризис 98-го года оборвал это сотрудничество, многие просто уехали из страны.

Но главным увлечением этих лет были, конечно большие выставки, устраиваемые в сотрудничестве с галереей “ИЛБИ” с 1993 года в залах Центрального дома художников. Первая персональная выставка собрала многолюдный вернисаж. Открывали ее В. Целтнер и Э. Дробицкий. Одних каталогов 100 штук подписал. Цветы, шампанское, музыка. Все тогда было в диковинку, свежо и радостно. Кто-то в выступлении окрестил эту выставку “Новым барокко”. Очевидно из-за того, что там было чрезмерно много декоративности, золотых фонов и обнаженных тел. Мне хотелось создать в зале атмосферу Серебряного века: беспечность, радость жизни, светлые, пастельные тона. Но в глубине души меня не оставляло сомнение.

Во время последней поездки в 1990 году в Австрию мой “шеф”, для которого я в общей сложности написал более 30 различных картин, пригласил из Мюнхена одного известного эксперта по “арт-бизнесу”. Я, конечно, тогда впервые услышал это слово. Перед экспертом “шеф” поставил задачу научить меня правилам этого дела в Европе, имея в виду дальнейшее сотрудничество. Профессор вынул из кармана крошечный коробок немецких спичек, положил его на стол и сказал: “Вот ваш творческий плацдарм. Вы стоите на нем двумя ногами. Шаг влево, шаг вправо – смерть! Кругом – океан конкуренции. Вы должны простоять так 10 лет, а может, и всю жизнь, чтобы ваше лицо запомнилось и было узнаваемо публикой. Зачем вам столько тем, приемов, техник, сюжетов? У вас что, десять жизней в запасе? Дайте мне 100 картин одной руки, одного формата, одной цены. Тогда, может быть, я буду с вами работать. Идеи у вас есть, нужно только отсечь все лишнее”, – важно сказал эксперт, но посмотрел на меня с недоверием. Я же просто впал в ступор, настолько все это было мне чуждо. Вспомнил, что почти такую же ситуацию рассказывал как-то Эрик Булатов в какой-то приезд из-за границы. Но вот прошло несколько лет, и я понял, что мне не суждено “делать арт-бизнес”. Не могу делать долго одно и то же, не могу повторяться. Видимо, это судьба! К тому же хотелось еще и в плакате что-то сделать, и в графике. Так как в то замечательное время на каждом шагу открывались новые возможности. Люди меняли профессии, раскрепощались, искали в себе неведомые ранее таланты.

Но весной 93-го года о будущем еще не думали, были полны надежд, и одно из новых издательств, состоящее из пяти человек в двух комнатах, под названием “Славянка” пригласило меня для сотрудничества. Они уже издавали “Сагу о Форсайтах” Голсуорси, Филиппа Эрриа и др. Заказ для меня был интереснейший, совсем неожиданный: “Великий час Океанов”. Это была книга французского писателя и моряка Ж. Блона, составленная из множества рассказов, очерков и эссе по истории мореплавания от Древнего Рима до наших дней, в двух томах, массовым тиражом для массового читателя. Типичный “креативный” проект того времени. Тираж 500000 экз.! Вопрос состоял в том, как эту эклектичную скучную массу текста сделать читаемой, увлекательной и подарочной – “в одном флаконе”? К тому же – без цвета, на плохой бумаге. Но я всегда любил такие сложные задачи, позволяющие применить все свои профессиональные навыки. Придумал 80 полосных иллюстраций! Рекламные обложки, карты морей, портреты героев, исторические сцены, корабли, битвы… И все это – без компьютера, живой рисунок с

элементами конструктивизма. Сработало! Получилось!

Издательство повезло эскизы оформления на Воронежскую книжную ярмарку и тут же заключило договоры почти на весь тираж. После этого мне сразу же заказали нечто совсем противоположное – “Бесы” Достоевского. Тоже массовое издание (тираж 150 000), рассчитанное на старшие классы средней школы, где 70 лет этот роман был под запретом. Внезапно возникшая бешеная конкуренция множества частных издательств заставляла делать всё в такие же бешено короткие сроки. Издательство стремилось всех опередить, сделать “Бесов” раньше всех. Но такие были условия игры. Тем не менее книга пользовалась успехом. И была мгновенно распродана.

В живописи дела шли своим чередом. Пресса вдруг обратила на меня внимание: журналы “Элита”, “Каприз”, “Клуб”, газеты “Московская правда”, “Московский комсомолец”. Статьи стали появляться как бы “из ниоткуда”, без всяких усилий с моей стороны. Признаться, поначалу трудно было привыкнуть к хлесткой, рекламной манере журналистики девяностых. Но когда я пытался высказаться на эту тему, на меня все обижались: “Да что вы, у нас за любую строчку люди готовы деньги платить, а мы вас бесплатно рекламируем, и вы еще ворчите!” Впрочем, никакого толка от всех этих публикаций никогда не было.

Роман с онкологией

И вот, в самый разгар такой бурной жизни меня кладут в Боткинскую больницу, и консилиум докторов ставит диагноз: “Онкология! В последней стадии”. Вызывают жену. Таня приехала, ей с сочувствием говорят: “Мужайтесь! Месяца два протянет, не более.” Очень гуманно! Сообщив свой зловещий вердикт, врач с любопытством уставилась на Таню. И вдруг я увидел, как из ее глаз потоком полились слезы. Я никогда в жизни не видел такого потока слез. И несмотря на страшный свой приговор, я почувствовал себя в этот момент абсолютно счастливым человеком. Хотелось ей крикнуть: “Не верь, это невозможно!” По счастью, кто-то посоветовал: “В центре онкологии МПС им. Семашко, на станции Яуза, есть гениальный хирург – Елена Ивановна Псарева. Попробуйте к ней попасть. Это последняя надежда!” Поехали, собрали справки, вроде взяли меня. Опять консилиумы – диагноз подтвердился. Больные в палате мне говорят: “Всё – ты обречен, отсюда не выйдешь!” Но я не верил ни минуты, не ощущал близость смерти. Всю зиму пролежал в клинике. Облучали пушкой через день. Конечно, очень много схватил рентген, но к лету как будто стало лучше. Лето провели на даче у друзей вместе с любимым псом по имени Лордик. Но осенью проверка показала – всё вернулось. Елена Ивановна сказала: “Не помогло, теперь только срочная операция, готовьтесь”. Оперировала она сама несколько часов. Разрезали пол-лица, от бровей до рта, и полноса отхватили. Но все прошло как будто удачно, судя по тому, что я еще жив. Когда сняли швы и я увидел себя в зеркало, говорю: “Елена Ивановна, спасибо великое, но на кого же я похож теперь?” Она ответила: “Мы вам жизнь спасали, остальное – мелочь! К тому же шрамы украшают”. Так все и осталось, привык в конце концов! А станцию Яуза я до сих пор люблю. Чудеса бывают, несмотря ни на что. Вся эта история отняла у меня три года, так как еще год после больницы нельзя было работать, особенно с растворителями для живописи. За эти годы опять многое изменилось. Кризис 98-го года многих разорил, людям стало не до искусства – все выживали как могли. Угасла энергия девяностых. Наступил загадочный 2000 год. Мне казалось, в нем есть что-то зловещее. Почему – понять тогда еще не мог.

Скромное обаяние юбилеев

После онкологических страстей на станции Яуза я с трудом возвращался в обычную жизнь. В глазах еще стояли соседи по больнице, преследовал запах белых коридоров. Как бы там ни было, но случилось маленькое чудо, подарок Судьбы.

В воздухе что-то изменилось, и вдруг все искусство, да и вся культура оказались никому не нужны, скатились к обочине интересов. Все экраны заняла попса в гламуре и менты в сахарной пудре. Встал вопрос: стоит ли вообще что-то делать или лучше залезть на печку? Продажи произведений искусства еще случались, но выставки становились всё недоступнее из-за стоимости залов. И тут мне пришло в голову, что самое время залечь на дно, как подводная лодка у Володи Высоцкого. Нет выставок, нет продаж – и не надо! Как прекрасно писать только для себя, вникая в тайны природы, в тайны цвета, фактуры, ритмов. Ставить самому себе свои собственные задачи, заниматься “лабораторной” работой. Захотелось написать пейзажи любимых мест: Карелия, Кирилло-Белозерск, Грузия…

Но вдруг начался плакатный бум. Правление плакатной секции, недавно выбранное, начало устраивать одна за другой большие плакатные выставки: в Государственной Третьяковской галерее, в Манеже, в Центральном доме художника, в доме на Кузнецком и т. д. Тут отказываться от участия я просто не имел права. Некоторые выставки получались почти персональные: на Кузнецком, 20 дал около шестидесяти плакатов. Все это было “ретро”: шестидесятые, семидесятые, восьмидесятые – докомпьютерная эпоха. Но народ ходил, смотрел, было всем интересно. В конце 2012 года отдел плаката Российской государственной библиотеки предложил сделать юбилейную выставку плаката в огромном и красивейшем Розовом зале. В этом отделе, который теперь называется “Отдел изопродукции”, работали три замечательные женщины: Любовь Родионова, начальник отдела, Светлана Артамонова, заместитель Родионовой, организатор, душа и мотор всех мероприятий и Нина Бабурина – крупнейший специалист по плакатному искусству, знаток истории плаката. Они придумали своеобразный проект экспозиции. По одной стене длинного зала (40 метров) плакаты – как бы официальная, “заказная” сторона жизни художника. На стене напротив – живопись. Это как бы душа художника, то, что он делает для себя. Но эффект вышел неожиданный: получился образ самого времени советской реальности.

С одной стороны – блеск концертов, спектаклей, фильмов, выставок: светская жизнь столиц. С другой стороны – жизнь забытых деревень, старинных городов, маленьких простых людей в просторах России. Открытие наметили на 21 декабря 2012 года, накануне моего 80-летия. В день вернисажа случился мороз под 30 градусов. Организаторы приуныли: кто же приедет в такой мороз? Но оказалось, я сам не знал, сколько у меня настоящих друзей. От количества гостей я был просто в шоке. Нас с Таней завалили цветами и подарками. И какие люди пришли! Архитекторы, скульпторы, живописцы, графики, театралы, писатели, Академики, народные и заслуженные. Для меня был настоящий праздник. Долго не расходились…

После вернисажа были и другие мелкие радости: Первая премия на конкурсе плаката 2012 года, Медаль им. А.П. Чехова (совместная премия Московского союза художников и Союза писателей), благодарность Академии художеств РФ и т. д. Всё это подарки от коллег-художников, и это – самое ценное.

Но главное – что еще не пропало желание с утра ехать в мастерскую, взбираться на пятый этаж и работать, не замечая времени. И я снова и снова с благодарностью думаю о своей профессии, которая позволяет мне создавать свой собственный мир, неподвластный внешним воздействиям. Спасибо всем друзьям и знакомым, которые поддерживали меня на протяжении жизни.

Серебряный Бор

Весна 2015 года. Несмотря на теплую, солнечную погоду, последнее время настроение безрадостное. Уходят один за другим друзья и знакомые. Яркие творческие люди. Кто-то – после долгой и мучительной болезни, кто-то – внезапно, неожиданно, необъяснимо.

Привычным рефреном стали звучать некогда страшные, пугающие слова: инфаркт, инсульт, рак, диабет. Остаются только имена: Володя, Юрий, Коля, Андрюша, Теодор, Игорь… Отпевания, похороны, поминки. Это стало будничным, обычным.

Поразила внезапная смерть выдающегося режиссера и человека Геннадия Ивановича Полоки, с которым я работал ровно тридцать лет, делая плакаты ко всем его фильмам: “Интервенция”, “А был ли Коротин?”, “Возвращение броненосца”, “Око за око”. Плакаты мои были ему по душе, он говорил, что я понимаю его стиль в кино, его идеи. Я очень любил их с Олей теплый, полный творческого горения дом. К тому же мы были близкими соседями.

Последнее время работать стало трудно. Не из-за возраста, не из-за проблем с позвоночником, а из-за того, что прямо против окон моей мастерской в Мневниках выстроили вдоль улицы громадный черный дом, закрывший свет и все небо. В соседних мастерских, а у нас на этаже их 15, давно уже почти никто не работает. Прихожу и ухожу в полном одиночестве. В длинном темном коридоре, заставленном пыльными старыми картинами и подрамниками, пахнет сыростью и тленом. Обстановка будто нашептывает: “Пора, пора! Хватит стараться! Хватит дергаться! Готовься!” Я и готовлюсь. Заканчиваю неоконченные работы, уничтожаю неудачи, выбрасываю черновики. Все равно много чего еще остается. И каждый день, приходя утром в мастерскую, слышу настойчивые вопросы своих многочисленных холстов: “А с нами-то что будет? На кого нас оставишь?” Что им ответить, не знаю. Они живые, зрячие. Я перед ними в долгу, они ведь тоже меня греют, не дают раньше времени уйти.

В последнее время стал замечать, что с годами только возрастает удовольствие от работы, от общения с красками и холстами. Замечаю это и в коллегах. Художники, мои сверстники, перешагнув за восемьдесят, работают все более азартно, открывают новые выставки, создают шедевры. Я тоже, естественно, не хочу отставать. Ищу какие-то новые пути, новые темы. Хотя и зрение слабеет, и иногда оживают старые травмы.

Еще год назад не мог ходить – ноги отказали. Лежал в

больнице под капельницей. Врачи говорили: “Что вы хотите – возраст! Вам – 82! Не забывайте!” Пришлось собраться, включить мозги и силу воли, придумать себе упражнения. И заставить себя делать их по 100 раз каждое утро. Теперь я хожу пешком от мастерской до своего любимого Серебряного Бора.

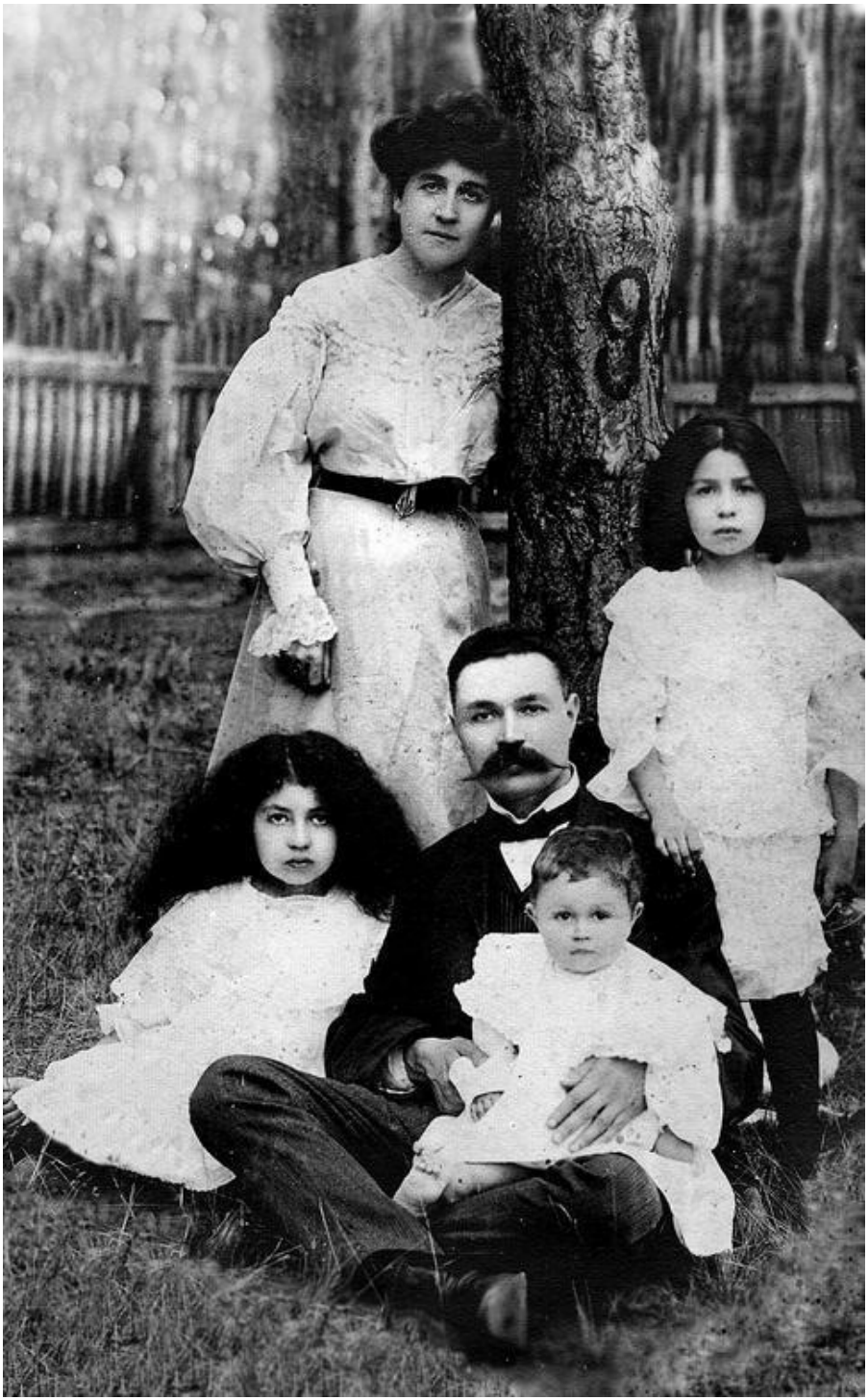
От меня до берега Москвы-реки идти километров пять. Иду, конечно, не очень быстро, с палочкой, но – иду. Через сосновый лес, бесконечную Таманскую улицу до пляжа № 3. Когда-то, во время войны, ездил сюда с ребятами нашего двора купаться. Тогда эти места назывались Татарово. С тех пор изменилось всё – время, страна, век, мы сами. Всё – кроме волшебной красоты Серебряного Бора.

За каждым поворотом реки – новый пейзаж, новые горизонты. Я заставляю себя идти все вперед и вперед, пока не обойду весь остров-заповедник по берегу Москвы-реки от моста до моста.

2013–2018

Иллюстрации

Май 1937.



Мама – Елена, Лешек и Романа с родителями. Польша, 1900-е.

Бабушка Бальбина Вольф, урожденная Узданская. Варшава, 1910.

Тетя Романа Давыдовна Езерская-Вольф (партийный псевдоним “Елена”) незадолго до последнего ареста.

Романа Вольф (справа в белом) – секретарь Президиума ВЧК. Среди членов коллегии ГПУ во главе с Иосифом Уншлихтом. 1921.

Мандат участника VII Конгресса Коммунистического Интернационала на имя Е. Езерской, делегата от компартии Польши.

Мясницкая, 15. “Дом Кузнецова”. Архитекторы А. Милюков и Б. Великовский. Фотография 1970-х гг. Здесь я родился и провел свои первые детские годы.

Здание газеты “Известия” до сноса Страстного монастыря. Фотография 1931 г. В это время здесь работал мой отец.

Крымский мост. Фотография 1940-х гг. С одной его стороны, рядом с метро “Парк культуры”, располагался детский дом 16/64, с другой (по центру фото) – место, на котором в 1970-е гг. будет построен Центральный дом художника.

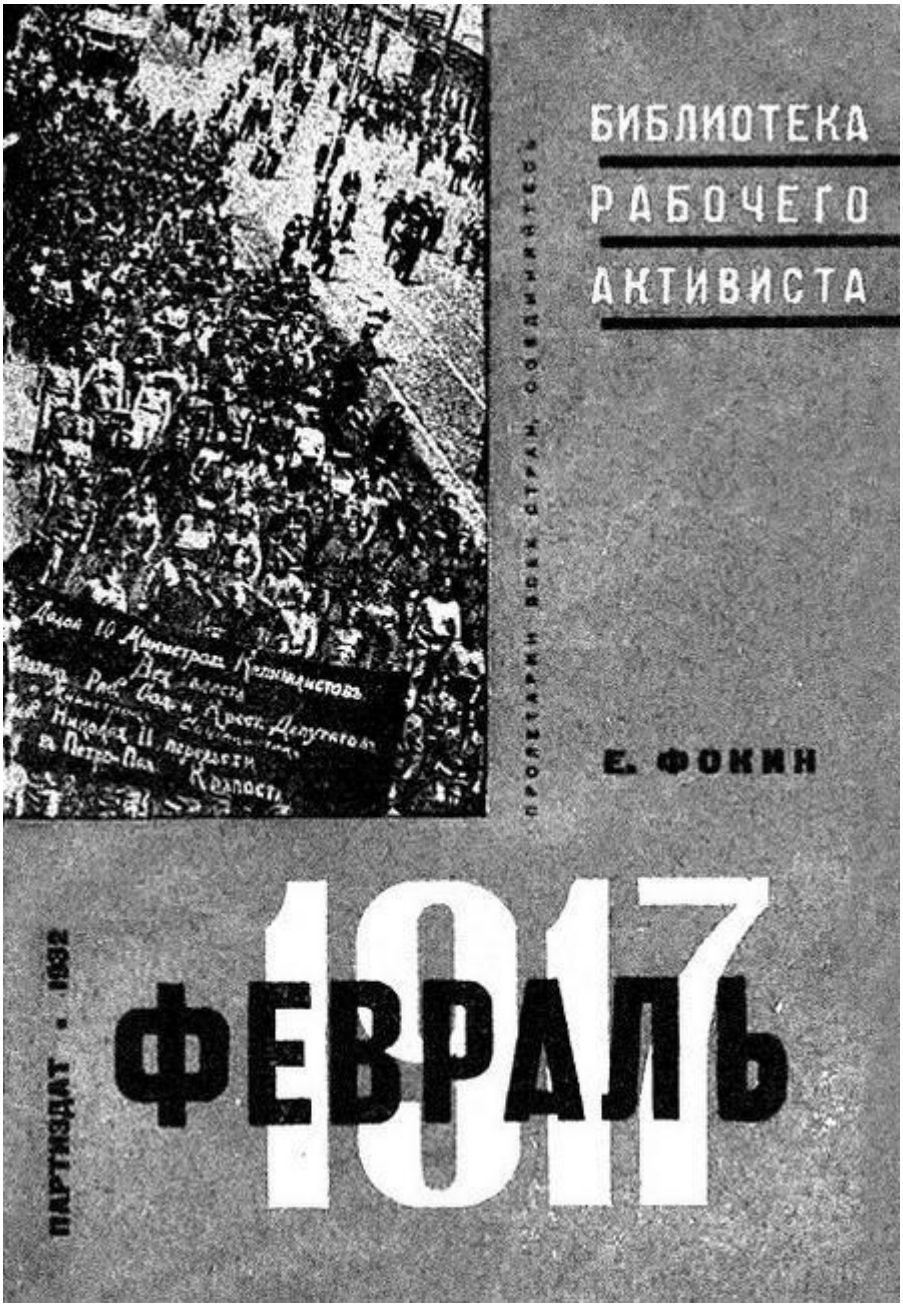
Единственная фотография отца. Евгений Лаврентьевич Фокин. Из личного дела. Ижевск, 1931.

Е. ФОКИН

НИЭЛ — БИБЛИОТЕКА
ГИ46
Ф773

ФЕВРАЛЬСКАЯ БУРЖУАЗНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 г.

ПАРТИЗДАТ ЦК ВКП (б) 1937



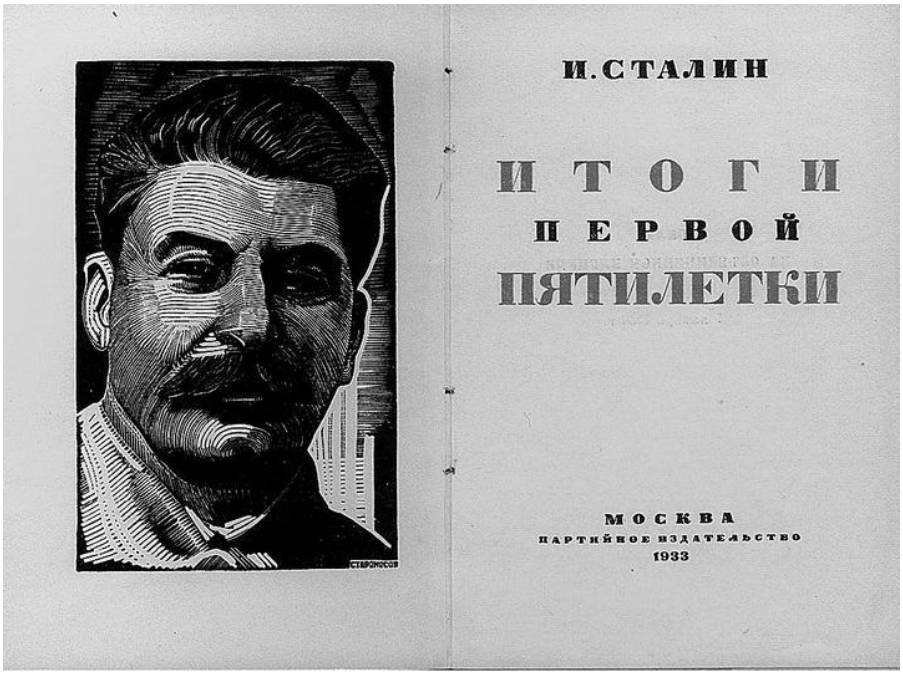
Книги отца, изданные до его ареста.

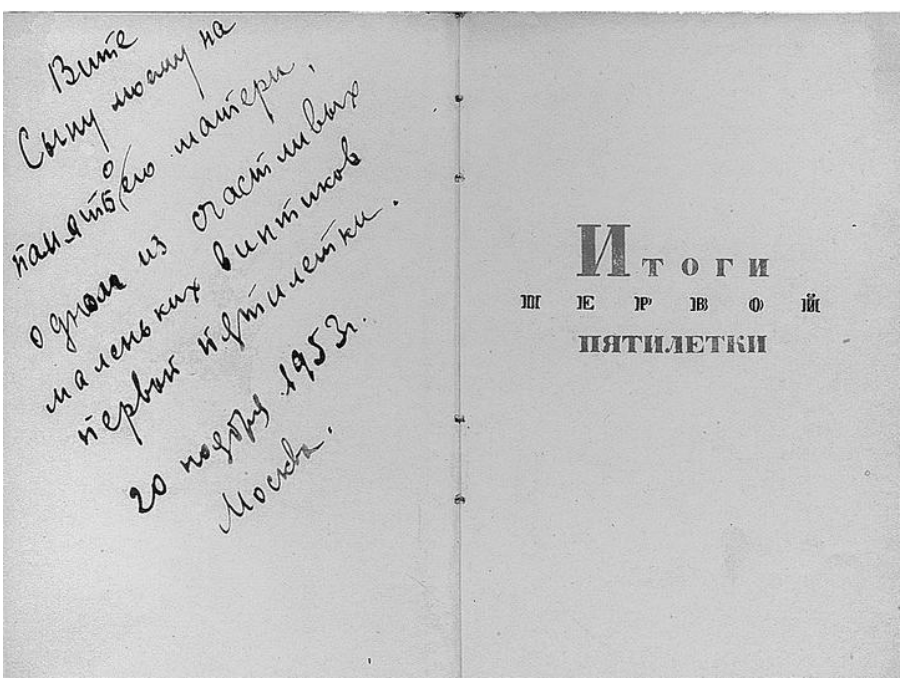
Детдом 16/64. Москва, 1942.

Первая фотография с мамой. Москва, 1946.

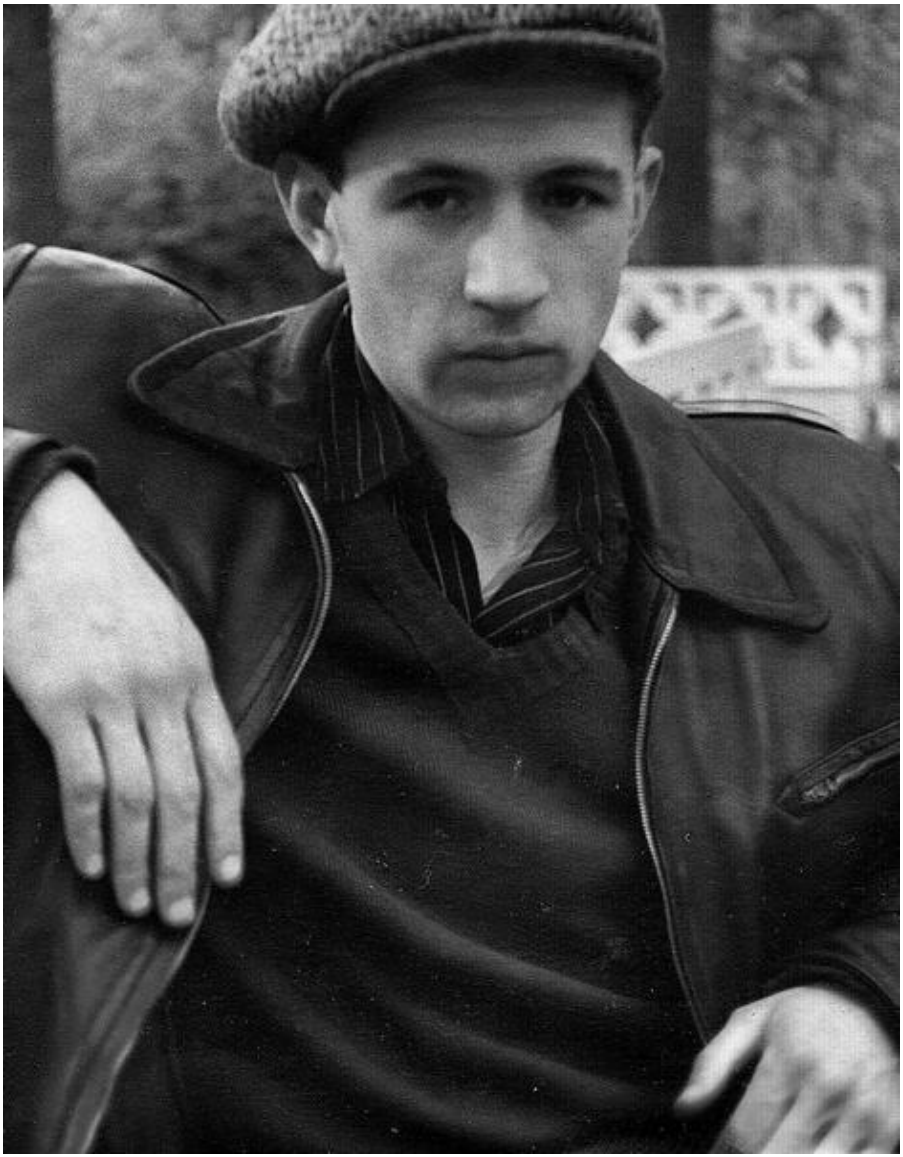
Дядя Лешек Кжемень. Москва, 1945.

Генерал Кжемень с семьей. Вроцлав, 1949.

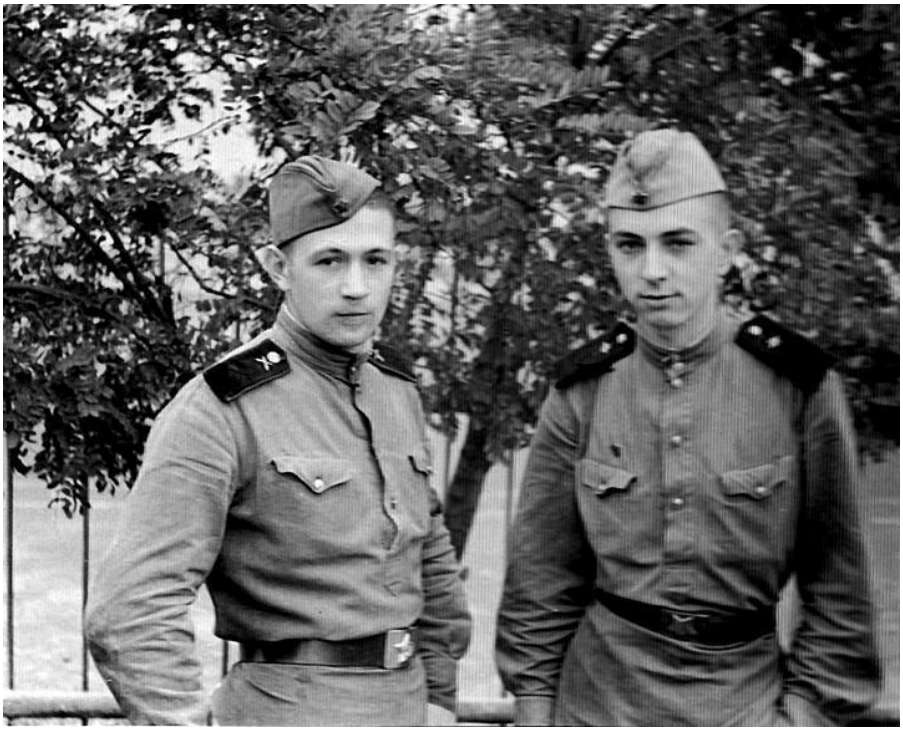




Книга Сталина “Итоги первой пятилетки” с дарственной надписью от матери на мое двадцатилетие. 1953.



Москва, 1955.



В армии. Со Славой Забелиным. Баку, октябрь 1956.

Капитан Игорь Цыганков (справа). Баку, 1957.

На перекуре с Холом Хасановым. Март 1958.

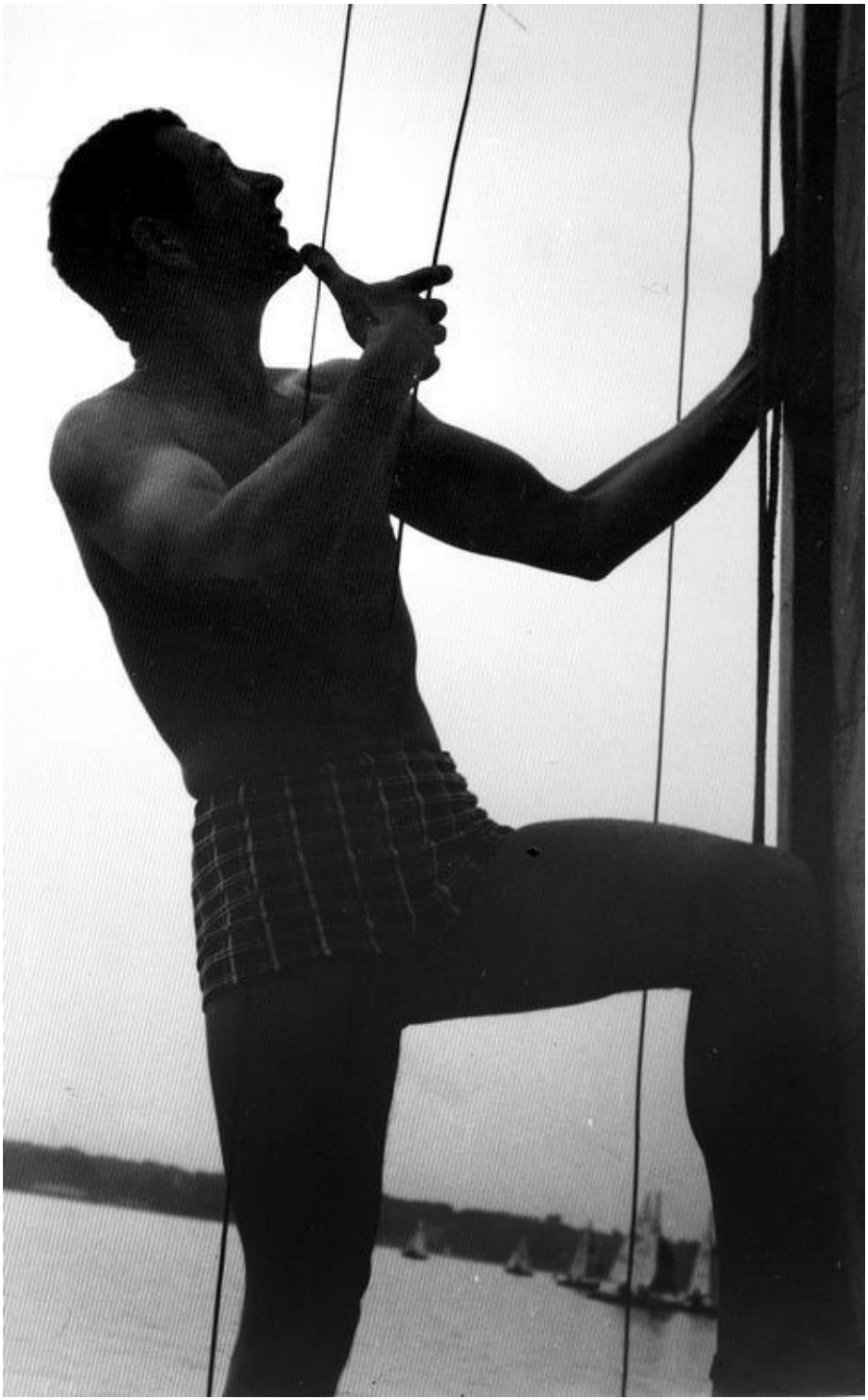
Картина “Последняя граната”. Холст, масло, 180 × 300 см.

Баку, 1958.

Первый раз в Польше. Около памятника Адаму Мицкевичу в Краковском Предместье. Варшава, 1961.

С Викой Кжемень у могилы бабушки на Воинском кладбище.

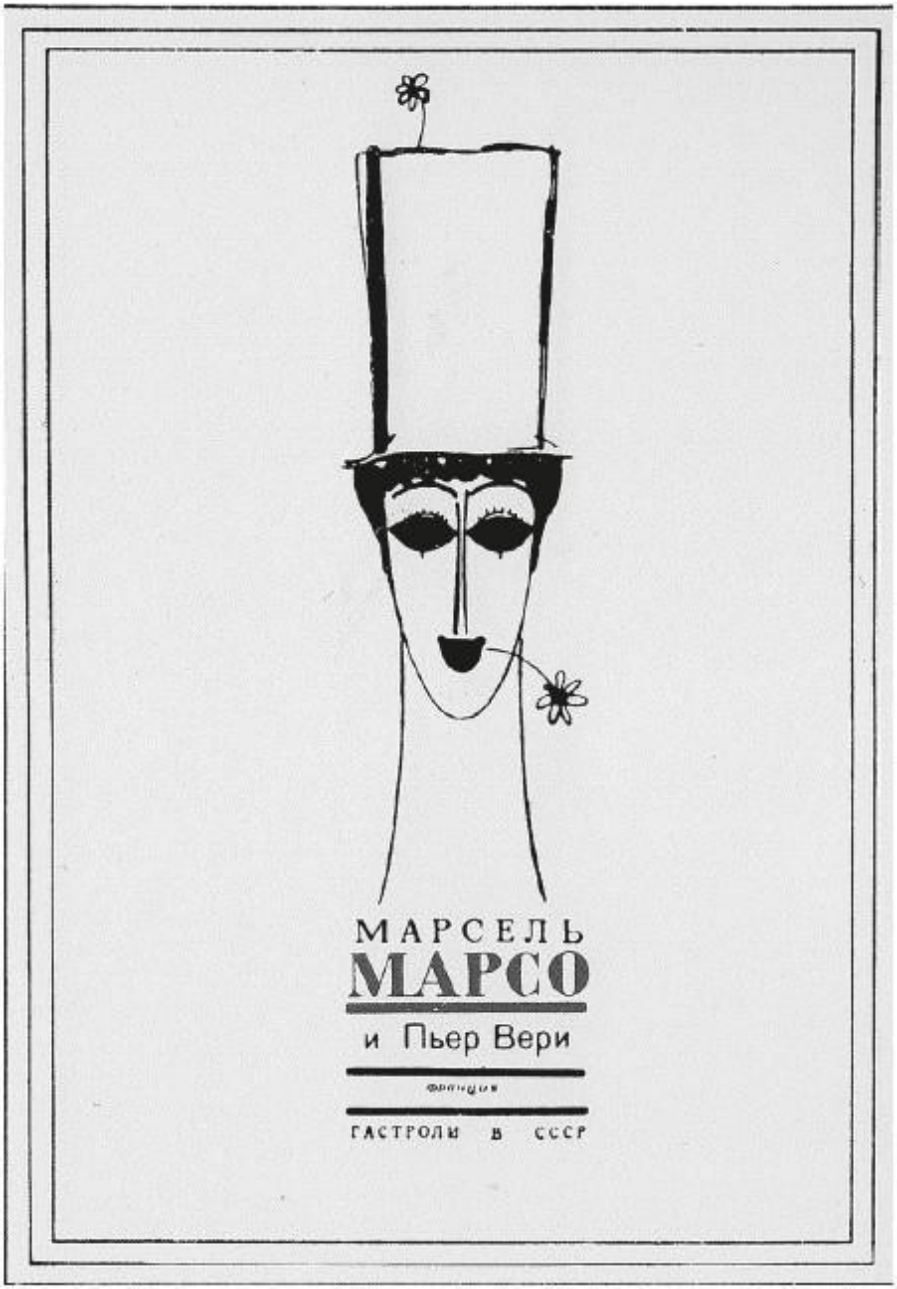
Старе Място. Варшава, 1961.



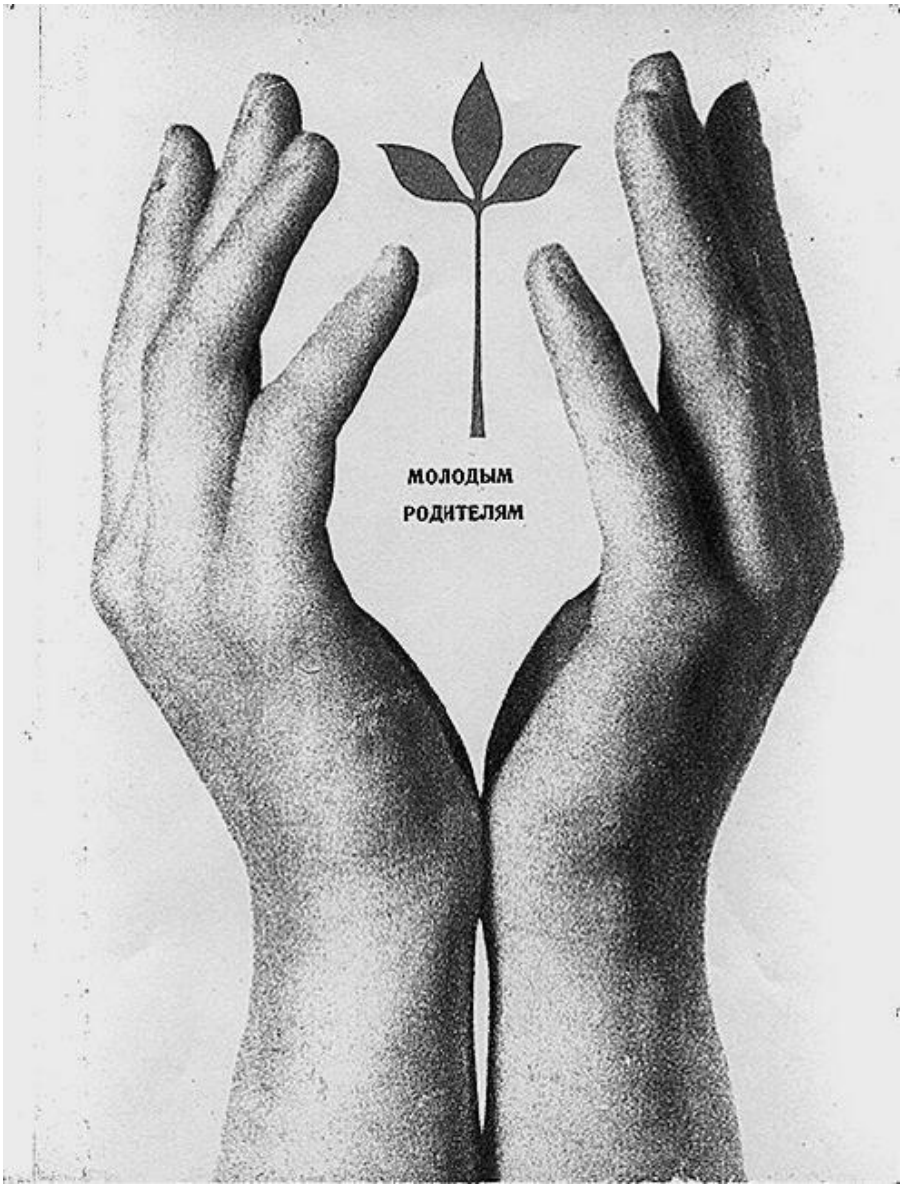
Мазурские озёра. Августов, 1963.

С женой Маргаритой Амелиной (справа). 1966.

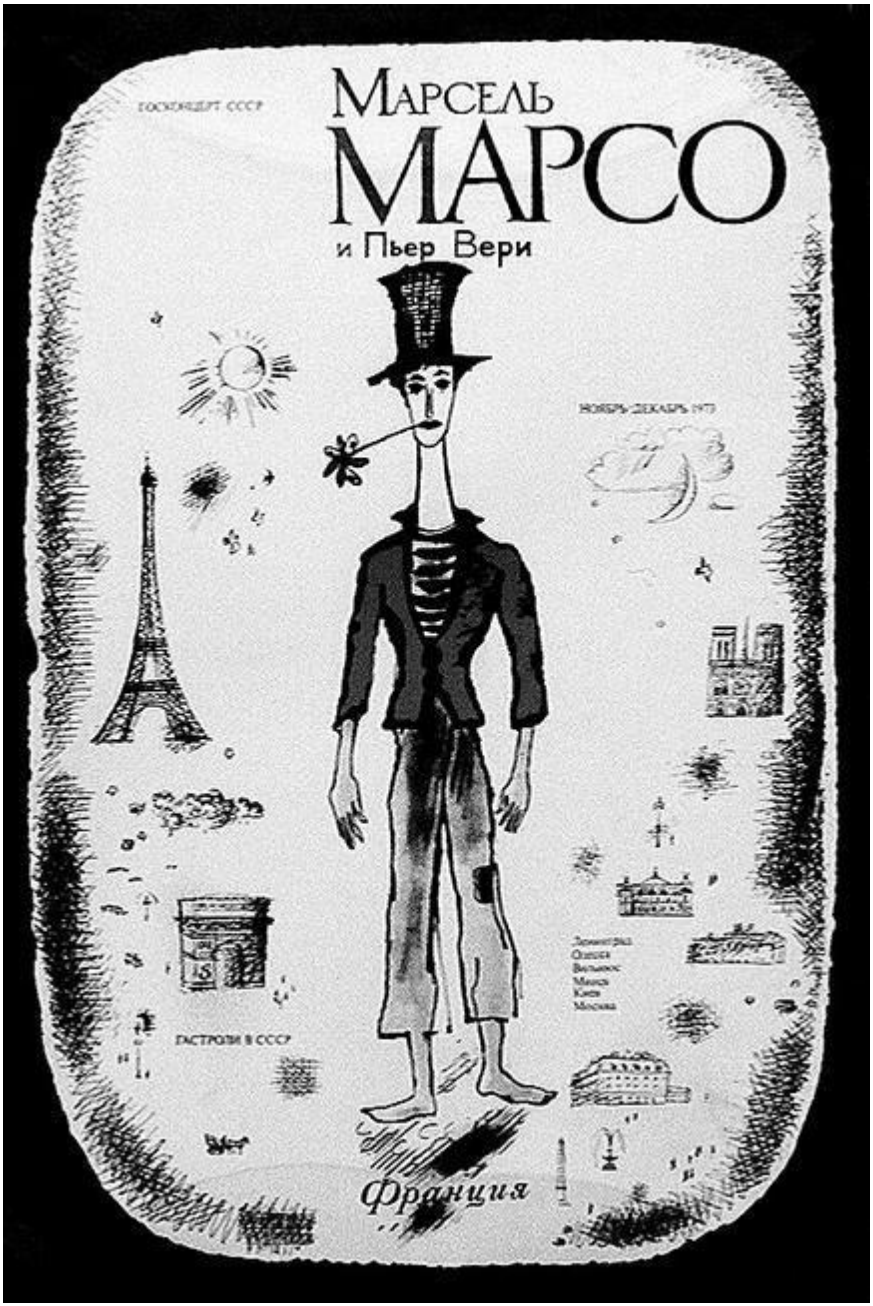
Дочке Маше 7 лет. Теперь она архитектор и художник.



Первый плакат гастролей Марселя Марсо в СССР. 1966.



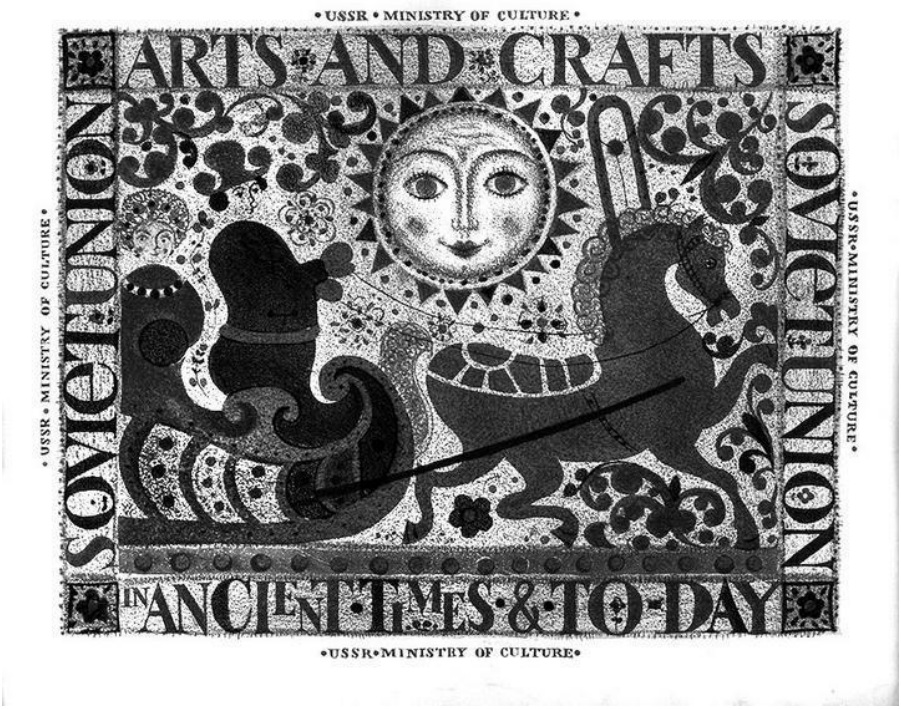
Обложка книги “Молодым родителям”. Изд-во “Медицина”, 1968.



Плакат следующих гастролей Марселя Марсо. 1973.

Драматический театр ТАЛИЯ Гамбург, ФРГ
Фридрих Шиллер
МАРИЯ СТЮАРТ
Трагедия
ГОСКОНЦЕРТ СССР

Плакаты гастролей зарубежных театров в Советском Союзе. 1970-е.



Сувенирный плакат для выставки в США. 1972.

ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА

ГЛАВНЫЙ РЕЖИССЕР ТЕАТРА –
НАРОДНЫЙ АРТИСТ СССР, ЛАУРЕАТ
ЛЕНИНСКОЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕМИЙ СССР
ГЕРОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА

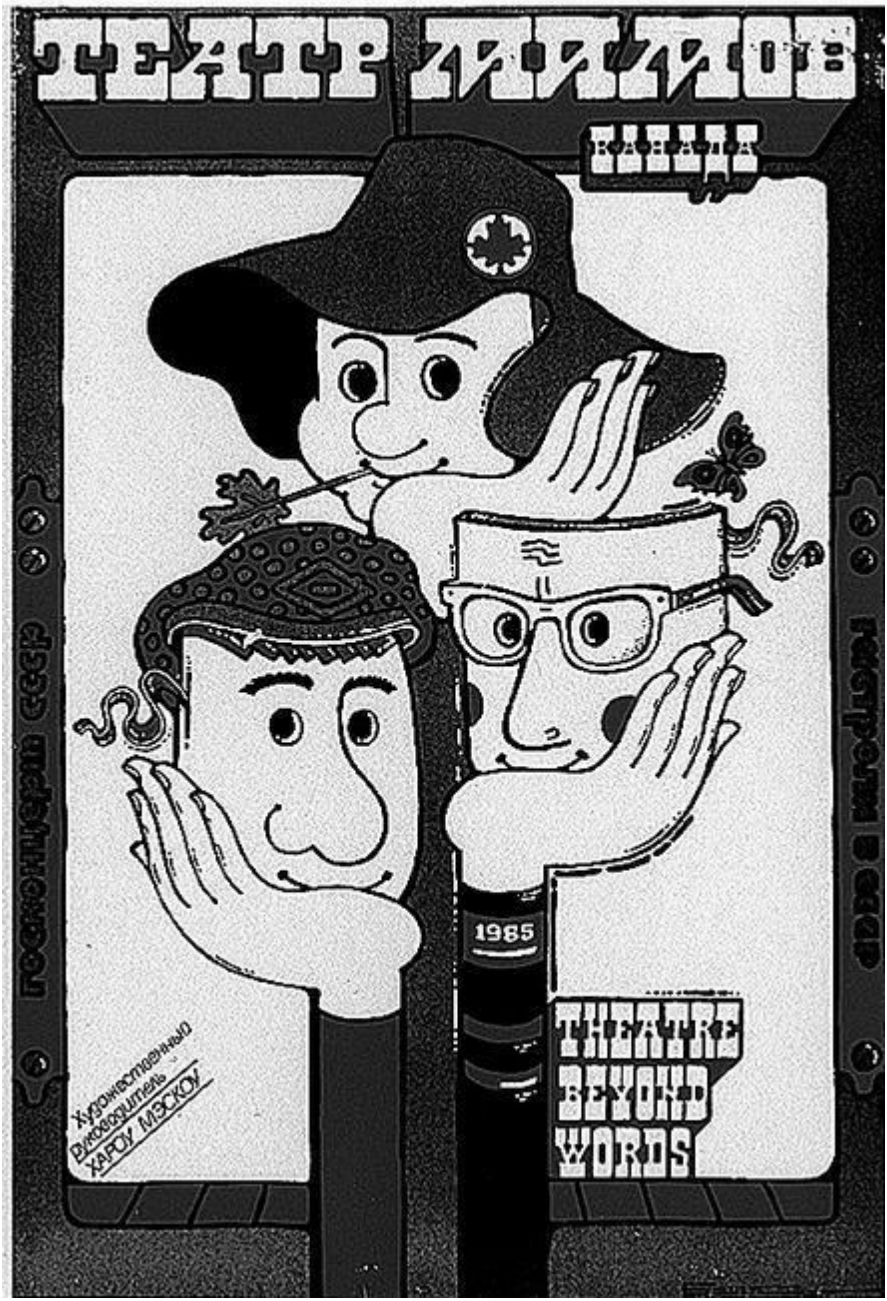
Ю.А.ЗАВАДСКИЙ

Буклет спектакля для Театра им. Моссовета. 1973.

Жена Татьяна. Варшава, 1975.

Москва, 1997.

Севастополь, 2009. У памятника отцу Тани, вице-адмиралу И. С. Рудневу.



Гастрольный плакат канадского Театра мимов. 1981.

1985. Новый плакат гастролей Марсо – реплика плаката 1966 г.

Плакат Одесского украинского музыкально-драматического театра. 1986.

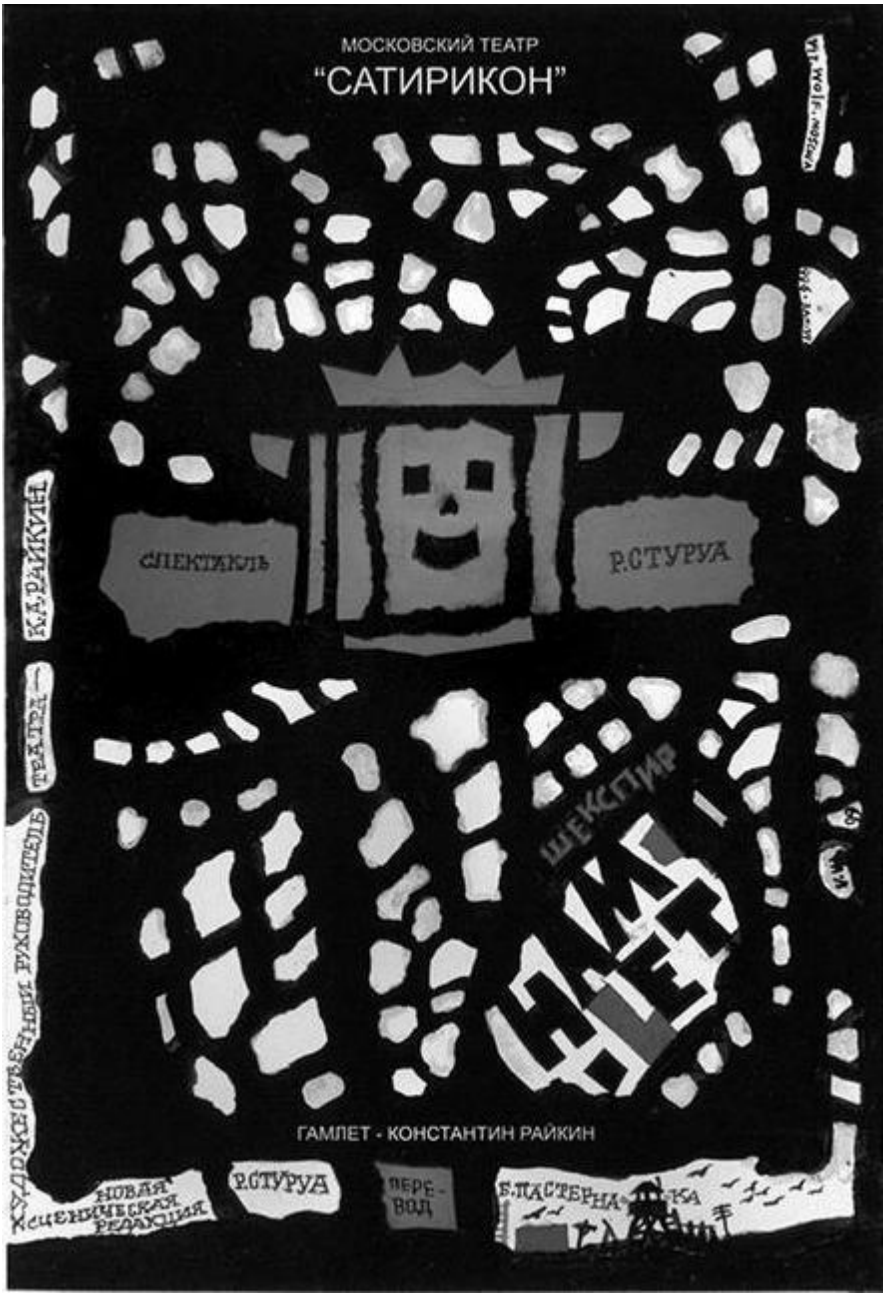
Плакат фильма Романа Балаяна. 1987.

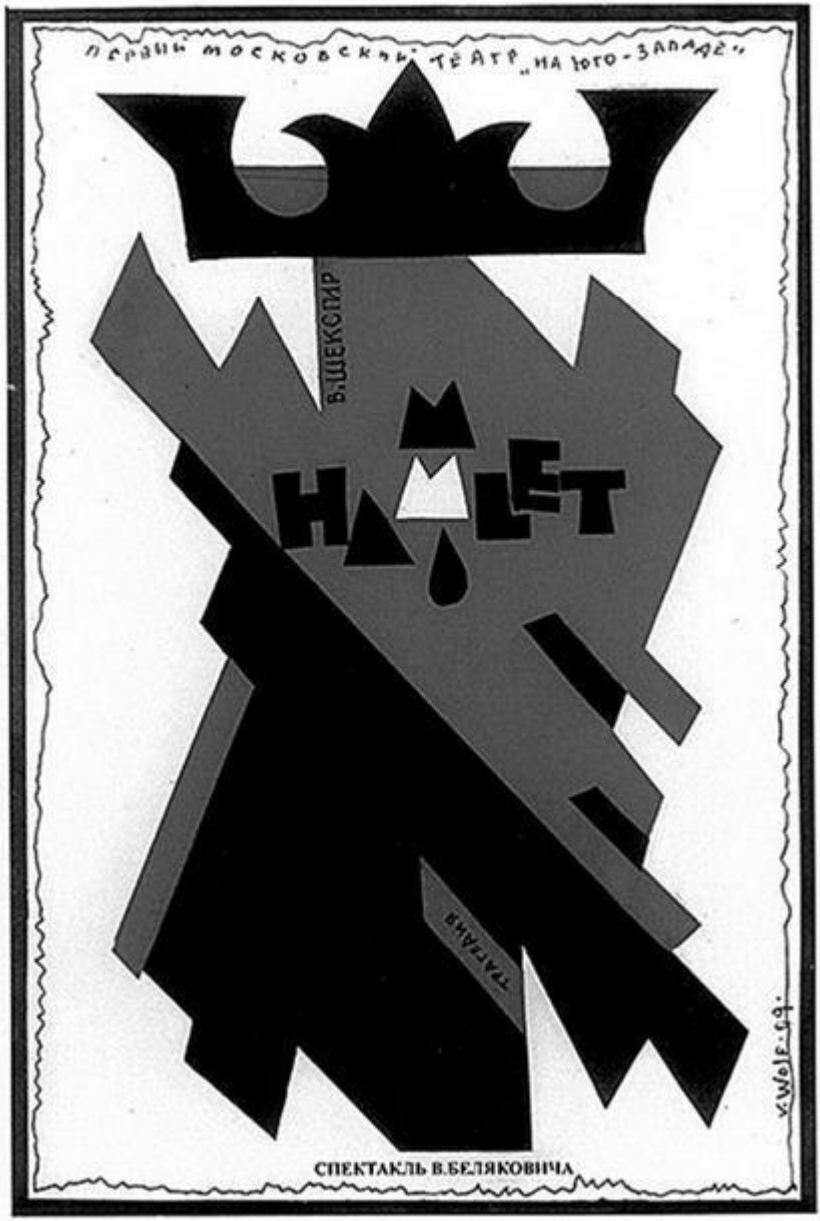
В мастерской. 1986.

1987.

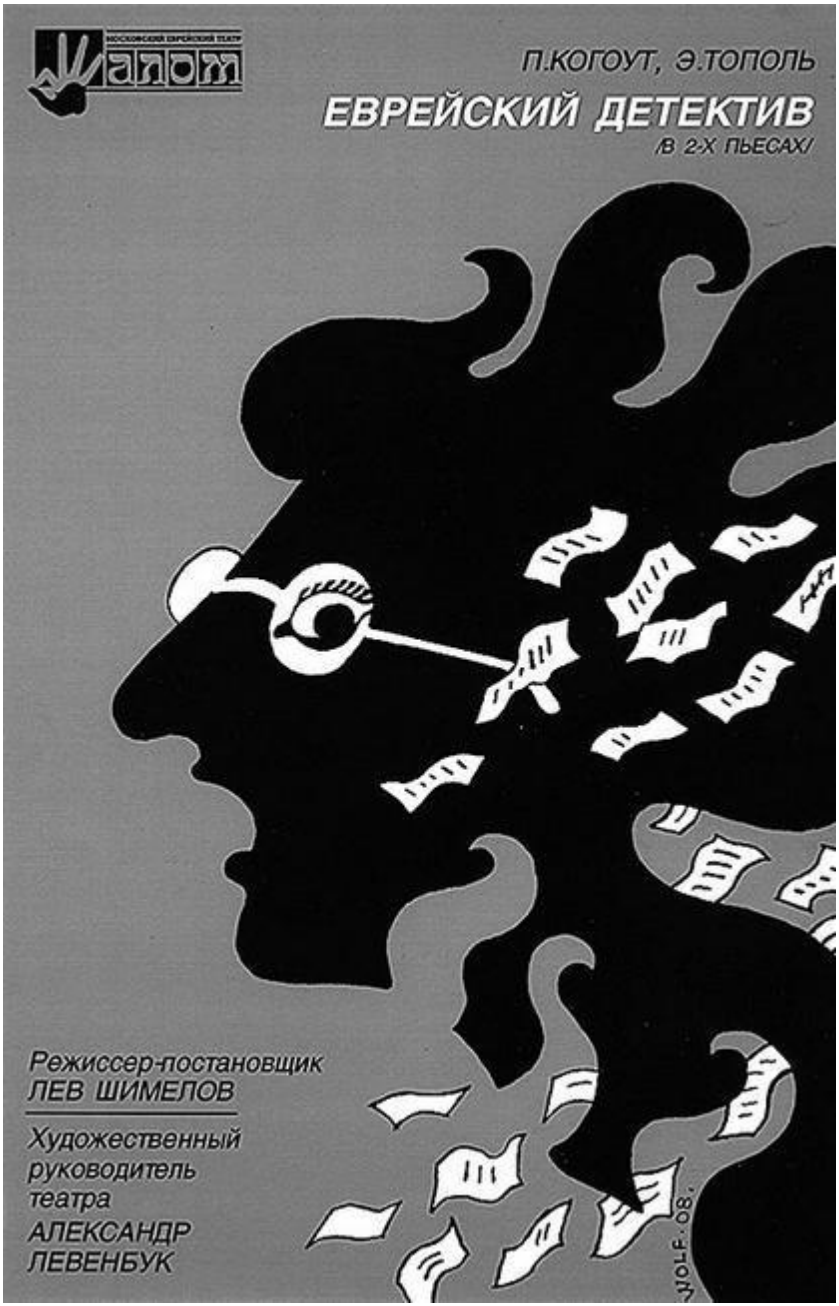
Плакат фильма Геннадия Полоки “Интервенция”, снятого и положенного на полку в 1968 г., показанного только в 1987

Плакат фильма Геннадия Полоки “Возвращение броненосца”. 1995.


МОСКОВСКИЙ ТЕАТР
"САТИРИКОН"
СПЕКТАКЛЬ
Р.СТУРУА
ШЕКСПИР
ГАМЛЕТ - КОНСТАНТИН РАЙКИН
НОВАЯ СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕДАКЦИЯ
Р.СТУРУА
ПЕРЕ-ВОД
Б.ПАСТЕРНАК



Два “Гамлета” – Р. Стуруа и В. Беляковича, 1998 и 2009.



Плакат театра “Шалом”. 2009.

На этом плакате “настоящий” Валерий Харламов, а не актер Данила Козловский. 2013.

Открытие выставки плаката. Москва, Кузнецкий Мост, 20. 2009.

На персональной выставке в Российской государственной библиотеке. Москва, 2012.